

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2016 * Том 15 * № 2

**RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW**

2016 * Volume 15 * Issue 2

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2016
Том 15. № 2

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Петровка, д. 12, оф. 402, Москва 107031

Тел.: +7-(495)-621-36-59

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Крость

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2016
Volume 15. Issue 2

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: 12 Petrovka str., Room 402, Moscow, Russian Federation 107031 Phone: +7-(495)-621-36-59

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Karine Schadilova

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshayn (RANEPa, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СТАТЬИ

- Organizing War and the Military in Society: A Systemic Perspective 9
Nicolas Hayoz
- Defining the Russian Diasporic Home and Its Atmospheres: Theoretical
Challenges and the Methodological Implications 26
Anna Pechurina
- «Вместе мы можем оставить коррупцию в прошлом»: стратегии
и оппозиции антикоррупционного дискурса 42
Марина Макарова
- Политическая риторика как квазисимволизация? 66
Глеб Мусихин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Фома Аквинский и европейская традиция трактатов о правлении 87
Александр Марей
- О королевской власти к королю Кипра, или О правлении князей 96
Фома Аквинский

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ И КОНВЕРС-АНАЛИЗ

- Видеосоциология: теоретические и методологические основания 129
Светлана Баньковская
- Игровая концепция повседневности И. Гофмана: между символическим
интеракционизмом и этнометодологией 167
Константин Глазков

ÉTUDES RICŒURIENNES

- Прощение как опыт возможного: подходы Х. Арендт и П. Рикёра 192
Мария Сидорова

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Восстание культурных механизмов: протест как языковая игра 208
Алексей Титков

РЕЦЕНЗИИ

Хроника последних лет Императорского Московского университета	234
<i>Андрей Тесля</i>	
Диалоги памяти	240
<i>Александрина Ваньке</i>	
Энциклопедия правосудия	246
<i>Александр Кондаков</i>	
Всегда актуальная классика: об истории социологических идей, профессионализме в социологии и главных проблемах социологической теории	250
<i>Ольга Симонова</i>	
Между демоном и гегемоном: о нелегкой судьбе понятия «демократия»	259
<i>Мария Юрлова</i>	

Contents

ARTICLES

- Organizing War and the Military in Society: A Systemic Perspective 9
Nicolas Hayoz
- Defining the Russian Diasporic Home and Its Atmospheres: Theoretical
Challenges and the Methodological Implications 26
Anna Pechurina
- “Together, We Can Make Corruption a Thing of the Past”: Strategies of
and Oppositions to the Anticorruption Discourse 42
Marina Makarova
- Political Rhetoric as a Quasi-Symbolization? 66
Gleb Musikhin

POLITICAL PHILOSOPHY

- Thomas Aquinas and the European Tradition of Treatises on the Government 87
Alexander V. Marey
- On Kingship to the King of Cyprus; or, On the Government of Princes 96
Thomas Aquinas

ETHNOMETHODOLOGY AND CONVERSATION ANALYSIS

- Video-Sociology: Theoretical and Methodological Foundations 129
Svetlana Bankovskaya
- Erving Goffman’s Gaming Concept of Everyday Life: Between Symbolic
Interactionism and Ethnomethodology 167
Konstantin Glazkov

ÉTUDES RICŒURIENNES

- Forgiveness as a Possibility: The Approaches of H. Arendt and P. Ricoeur 192
Maria Sidorova

REFLECTIONS ON THE BOOK

- Culture Mechanisms in Rebellion: Protest as a Language Game 208
Alexey Titkov

BOOK REVIEWS

The Chronicle of Last Years of the Imperial Moscow University	234
<i>Andrey Teslya</i>	
Dialogues of Memory	240
<i>Alexandrina Vanke</i>	
The Encyclopaedia of Justice	246
<i>Alexander Kondakov</i>	
Always Timely Classics: The History of Sociological Ideas, Professionalism in Sociology, and the Major Problems of Sociological Theory	250
<i>Olga Simonova</i>	
Between Demon and Hegemon: On the Hard Fate of the Notion of “Democracy” . .	259
<i>Maria Yurlova</i>	

Organizing War and the Military in Society: A Systemic Perspective

Nicolas Hayoz

Associate Professor of Political Science,
Director of the Interdisciplinary Institute of Central and Eastern Europe,
University of Fribourg (Switzerland)
Address: Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, Switzerland
E-mail: nicolas.hayoz@unifr.ch

Sociology can analyze war and warfare under different aspects, for example, as a problem of collective violence. It has rather neglected another important aspect of war, as in the fact that war is also always an organizational phenomenon. In the last few years, several studies on war have been focusing on this aspect by using or referring to Niklas Luhmann's system theory. This paper looks at some of these aspects by critically asking how these sociological studies use Luhmann's theory in their analysis of war or war-related social structures. Luhmann's theory, particularly the theory of society based on the principle of functional differentiation, has a powerful explicative potential, particularly for the analysis of war and warfare. However, only a few studies are actually using Luhmann's theory in an adequate way by situating the concepts at the correct analytical level. War and "military systems" should be analyzed as organizational structures in society which are managed, first of all, by the political system, a function system of society, and which by no means excludes a multiplicity of interdependencies with other systems. A systemic perspective should also take regional "expressions" of society such as "military systems" in specific states or groups of states into account.

Keywords: war, organization, system theory, Niklas Luhmann, military systems, war society, militarization, functional differentiation

I

The semantics of war is being used more than ever in an inflammatory manner in society, particularly by politicians and journalists who can be sure to get the public's attention when referring to a war discourse and the exceptional state of affairs indicated by the affirmation that "we are in a state of war." Moreover, one can see how certain events such as terrorist attacks, usually handled by the judiciary system as criminal acts, are presented in the public space as warlike acts and can be used by the political system to justify specific measures such as declaring a state of emergency, or mobilizing national and international support and unity for the fight against real or imagined enemies. However, today one can also expect the public getting used to publicized declarations that governments have to win a "war against terrorism," or that a "propaganda war" is going on between states.

Could this be the starting point for a sociological analysis of war? Not really. However, the dialogues on war show that war is also about the circulation of the war semantic in

public opinion. Of course, there are also real wars in the sense of collective violence between two groups a long way from here, that is, at the periphery of the “pacified” centers of modernity. Nevertheless, big powers are usually at war somewhere on the globe and can use war, particularly war rhetoric, to achieve diverse goals which may also include a distraction from internal problems. There is a sociology of war looking at war, particularly violence, as a phenomenon per se; there is another one focusing rather on the implications of war for military organization, state, and other social structures (Malešević, 2010: 45ff.). This paper positions itself rather along this second strand of research on warfare. It is not looking at a so-called ‘bellicose tradition’, or at collective violence. Rather, it is focused on specific aspects of war, particularly the organizational aspects, through the lens of systems theory, aiming at exploring the position of war in the architecture of Luhmann’s theory of society.

It is rather trivial to say that war is also a social phenomenon. Sociological analysis has to go beyond this and use adequate concepts to describe war in its social meanings. This paper tries to do so by first outlining and presenting key concepts of Luhmann’s system theory and his theory of society. These concepts are important for the understanding of the systemic aspects of a sociology of war. It goes without saying that Luhmann’s theory is one of the most powerful theories with a high explicative potential for the analysis of modern society, its components and structures. Not surprisingly, in recent years, systemic analysis has been used in the studies of war. Several studies have been researching such topics as the organizational aspects of war, the idea of self-referential “military system” (Harste, 2004, 2009), the idea of a modernity described in terms of “war society” (Kruse, 2009, 2015), and finally, the relationship between war and the theory of functional differentiation, including the role of soldiers and inclusion (Kuchler, 2013a, 2013b). These sociological studies use Luhmann’s system theory directly or indirectly as a theoretical framework in their studies on war. This paper will scrutinize several of them by looking at their theoretical aspects, and by asking how these sociological studies use Luhmann’s theory of society in their analysis of war or war-related social structure. It is to say that this paper is an exercise in observing systemic observations by using the same theoretical framework. Then, we would like to put these approaches or studies in perspective by answering the question how two different levels of system formation, particularly in the case of war organizations and functional differentiation, can and should be understood and combined.

II

According to Luhmann, modern society and, as it is nowadays, world society, is based on communication (Luhmann, 1997a: 145ff., 2012: 83ff., 1997b, 1990). Communication is always communication within society. Describing society is necessarily a description of society where it can be contested by other descriptions. World communication, such as information technologies structures for example, cannot only be observed under technical aspects by the way they extend or circulate, for they are also differentiated in certain

parts. In its attempt to identify the dominant social structure, sociology has always been focused on the way social differentiation is being organized. Modern society is based on functional communication, with communication following the logic of self-referential function systems such as the legal system, politics, the economy, science, art or education, and therefore, its dominant structure can be presented as functional differentiation. Since these systems are functional communication systems, they are seen in a particular perspective in society. To the extent that they are communicating about different things, they are distinguishing and differentiating themselves from societal communication based on their own principles. As basic components of modern society, they are reproducing world society as a unique global social system (Luhmann 1990, 1984: 557, 585). If functional differentiation is the dominant structure of world society, then it does not make sense to say that systems like the economic, scientific, or educational have not yet reached specific regions of the world. However, it may make sense to state that whole regions of the world have no chance or are not willing to realize functional differentiation, reaching out to modernity in the sense it is realized, for example, in the autonomy of scientific, economic, or political systems.

Without a doubt, world communication is continuously facilitated technically. Society and its events are present everywhere on the globe at any time. The more this is the case, the more one can see what is the case elsewhere, that is, what is being offered through the entire world's functions systems. Comparisons, and therefore also competition, between states and regions are made possible. On the other hand, when looking at the communicative side of society, and at the technological side of communication in modern society, one can easily see that the possibility to participate in, use, or produce modern communication technology is unevenly distributed worldwide.

This is also what can be expected in modern society where the dominant structure of functional differentiation allows and produces many regional experiments. For example, here one may think of the organization of political systems on a national level (states), or of the question as to how political decision-making should be organized (democracy), or to what extent states should control the production of goods and capital on their territory, or to what extent states can create the technological conditions to produce the new technologies necessary for "science society." Huge regional variations must be expected in world society in which both the dynamics of specific autonomous systems, such as the economy ("global capitalism"), and states reproduce and continuously create vast differences between countries and regions (Stichweh, 2006, 2000; Luhmann, 1997: 145-171). Given the worldwide disparities in regard to power and wealth, one may expect that the "face" of functional differentiation, that is, the way its components and system levels (society, organizations and interactions) interact with one another, varies considerably from one region of the world to the next. However, if certain countries attempt to counter authoritarianism or even communism against what they call liberal modernity, that does not put them on the side of a different modernity. On the contrary, they are part of the same modern society, even when they pretend to be different from the "West," or when they have another economic and military organization, or are going to war. The

same may be said in regard to the economic integration in a globalized world economy of countries that do not participate in certain organizations, or insist on the coexistence of different forms of capitalism. However, even insisting on differences is communication in the context of globalized world society. Likewise, when states controlling specific territories try to block or control certain achievements of that modernity, such as democracy in the form of political opposition, the legal system with an independent judiciary, or the so-called private sphere with its businesses, organizations, and associations, they do so under the conditions of functional differentiation. In this sense, Niklas Luhmann says “functional differentiation of society also has so strong a hold on world society that it cannot be regionally boycotted by even the most drastic of political and organizational means” (Luhmann, 2012: 92).

The very fact of functional differentiation cannot be “stopped” somewhere at the border. However, it is obvious that the products of function systems, for example, state administrations including armies, companies, banks, universities, civil society organizations, etc., can be controlled by states and their political regimes which control state territories, populations, or resources. The principle of functional differentiation may not be boycotted regionally, but the degree to which it is realized can be controlled by the states of the political world system. States and organized groups of states, for example, are (still) the main spaces where huge organizational capacities are developed to enhance globalization or to control society. These states and organized groups of states can be champions of the free flow of information of goods, persons, and information, as well as policing or even militarizing society in the state territory by closing borders and employing “people control.” It follows that, as holders of state power, the state can use state organs and organizations to control other organizations in the territory of their jurisdiction. The degree to which they are able to do this is obviously also dependent on the more-or-less democratic constitution of political power. The degree of democratization also determines the type of relationships states develop as central organizations of the political system with their internal periphery (other political organizations), and with the organizations of other function systems such as the economy (Luhmann, 2000b: 244, Tacke, 2011: 105). This can be clearly seen in certain peripheral regions where certain political regimes are able to undermine or to instrumentalize functional differentiation by “short-circuiting” their own center-periphery relations, either by controlling or eliminating parties or unions, or by conceiving society as an organized body or a hierarchy to be controlled by the Centre (Putin’s illusionary ambition). Such strategies could also lead to a kind of “self-peripherization” of political regimes in the sense that they do not allow systems to perform the way they could by politicizing markets, science, education, or art. This may be described as parasiting functional differentiation. Less radical forms may be found in different forms of informal structures, coupled with organizations and networks as Neo-patrimonialism, corruption, or patronage¹. However, even situations with “failing states,” “failed states,” “state capture,” or the breakdown of regional economic structures

1. For these aspects see Hayoz (2016).

after a civil war do not imply that functional differentiation would no longer work². De-differentiation processes on a regional level do not question functional differentiation. Regional differences and disparities also imply different conditions for the realization of functional differentiation (Luhmann, 1997a: 811). Regions create favorable or unfavorable conditions for functional differentiation. Countries at the periphery, at war, and/or confronted with multiple crises are obviously less attractive for foreign investments and may have a long way to go before being able to build up performant systems in the spheres of science, education, health, the economy, and so on. For local dictators, it may seem “attractive” to keep their country in a kind of “grey zone” of stagnation with the elites able to “exploit” the peripheral situation of weak institutions while, at the same time, participating in global financial markets (the global economy) and sending their children to the best schools of the world (the global education system). However, such a rationality may backfire when authoritarian structures are breaking down as a result of crisis and protest. Protests against corrupt political structures is a good indicator of a modernity being reclaimed at its periphery.

III

Looking at war and warfare through the lens of Luhmann’s systems theory allows us to consider war and the military as part of the communications structure of society. Additionally, in a very basic sense, war as a social construction is always about or starts with communication. It is, particularly nowadays, a matter of communication technologies providing opportunities for informational and electronic deception. It is also a matter of how the electronic media and the Internet transport and present images of war to and in the public space. Consequently, it is also about how states and their regimes communicate about war and peace, presenting events in a way that requires specific political, military, and non-military answers. When used as war propaganda or as an “ideological war,” political communication about war is usually being used by a state to mobilize support for specific political objectives, and more generally, to “legitimize” the established power structure. In that sense, war tells us also about how powerful states manipulate information, create enemies, and suppress alternative presentations of political realities.

However, war as communication is also about the social use of the binary distinction of war and peace, and, therefore, about organizations which have to keep and organize the differences between war and peace, the transition from one state to another, and from war to peace or vice versa. This use of the distinction of war and peace established in the political system is obviously regulated by the legal system, especially by the international legal order. With regard to the basic communicative aspect of the distinction, Gorm Harste observes that “War emerged as a codified form of communication. A certain kind of communication emerged as a communication codified according to the central code of war/peace” (Harste, 2004: 161). This raises the question whether and to what extent

2. A point not taken into consideration by certain authors, for example Holzinger (2014: 464f.).

such a communication can be at the origin of a social system, a so called self-referential warfare or military system (Ibid.: 167). It may be that the military system emerged in the wake of the modern state building as a “sovereign” self-referential system (Ibid.: 175). The code of war and peace of such a system including a historically increasing legal coding could be understood everywhere in Europe. Harste (2009: 4ff.) postulates that even the existence of a war system presented as a function system similar to others such as politics or economy reproduces itself according to its own criteria and is guided by its own semantic forms of self-descriptions (for example, the writings of Clausewitz). The author also underlines the distinction of military systems “as organizational systems, and systems of war and warfare as functional systems” (Ibid.: 5). He is correct in presenting military systems as hierarchically structured organization systems. One can also follow him in his analysis of the supply side of war, the fact that, in the context of European State building, war had to be more and more organized and planned rationally, by involving other social systems in the task. It is no longer simply about counting soldiers, but about the mobilization of the necessary resources and social conditions, including legal ones, to build up efficient military systems. This is what he calls “the sub-differentiation between the systems of financial, legal, material, bureaucratic, political, scientific, educational and cultural supplies for the military system” (Harste, 2004: 158). However, the author is wrong by identifying a war system on the functional level. What would be the societal function of such a system? Which societal problem would be solved on the sole base of the war code of peace/war. In the perspective of systems theory, it does not make sense to put the warfare system on the level of a functional system, where systems are differentiated to fulfill a function for the whole society. The “military form of society” may be coupled to several systems, but this does not mean that a military system could pretend to manage the distinction of war and peace in society. Military systems are organization systems, or combinations of diverse organizations dealing with war and peace. As such, they are serving the function of the political system, which is about adopting collectively binding decisions. As Barbara Kuchler correctly states, the socio-structural place of war is moving to the political system after the passage from stratified society to society differentiated in function systems (Kuchler, 2013a: 508, 2013b: 60). Since politics is about adopting decisions and controlling the monopoly of violence, war, focusing on deciding the issue of conflicts by violence necessarily becomes a political event, with the military a part of a hierarchically organized subsystem of the political system. Under modern conditions of functional differentiation, nation-states are managing the public’s degree of inclusion in the function systems which are, in theory accessible to everybody³. The inclusion of the public in the political system works through roles such as the citizen-voter who can participate in the election of political personnel, and the citizen-soldier, who has to serve (at least for a period) in the armed forces on the basis of compulsory military service. Such roles can be restricted, extended, or manipulated by the states controlling the population living under its territorial sovereignty. In non-democracies, the meaning-

3. For the inclusion of the soldier role see the analysis of Kuchler (2013b).

less participation of the public in the political system may be compensated for by other roles such as economic, a privileged access to jobs and services, the soldier role, or even nationalism.

On the other hand, this concentration of the military in the political system also implies considerable interdependencies between the political system responsible for warfare and other function systems, such as the economy or the scientific system. The monopolization of violence combined with the disarmament of the aristocracy by the State also means that war as collective violence is becoming a prerogative of the State (Luhmann, 2000b: 55, 49)⁴. War is no longer conducted by aristocrats, but by a State whose power is based internally on superior violence, which delegitimizes private violence. Externally, state power has to prove its superiority by conducting war against other powers or nations in order to keep its control over its territory, to expand its territory, or to conquer new resources.

Historically, this was the role the classical Leviathans, the States, have always been playing by imposing peace internally and externally through war or the threat of war, and maintaining peace through military means. Moreover, there is much evidence showing how war has historically made the world more peaceful, confirming the Roman proverb “*Si vis pacem para bellum*” (Morris, 2014: 393). War can be considered as a powerful catalyst for social and political change, particularly for the formation of the European state nation system (Knöbl, Schmidt, 2000: 16, Sheehan, 2011: 220; Malešević, 2010; Holzinger, 2014). War and military power can be considered as components of the system of modern nation states, and are simply the other side of the successful internal monopolization of legitimate physical violence by the State (Haferkamp, 2000: 103). For Ian Morris (2014), war brought peace through the building up of ever-increasing societies and states, successfully reducing violence. In successfully imposing their monopoly of violence, states and their bureaucracies were the pacifiers guaranteeing peace and order on their territory, making war almost obsolete.

Another aspect of the dialectics between war and peace can be observed in the cooperative aspect of war, or the “military dimension of war” observed by Michel Foucault, pointing to the fact that war always involves cooperative activities on a large scale and complex coordination of organizations. Michael Sheehan reformulates this interdependency of war and society paradoxically: “A state at war is also a state at peace” (Sheehan, 2011: 219). This is to say that war is unthinkable without organizations. War is about organizing States and societies, “a highly organized and a highly organizing phenomenon” (Sheehan, 2011: 219). The question is not so much about how to prepare or organize war with all the corresponding discourses and political theories about necessary and just wars. It is much more about how to organize society, particularly politics and the economy, in order to be able to make or to avoid war. Organizations are, of course, social systems, as are hierarchically-based communication systems, at least if one looks at society as seen through the concepts of Niklas Luhmann’s system theory, as this paper tries to do.

4. Such a perspective is in line with studies of historians and historic sociology on the relationship between state building and war. See Tilly (1990) or Morris (2014).

To sum up this perspective, we can conclude that “military systems” follow the dominant pattern of society, functional differentiation, and particularly, the development of an autonomous political system. It’s states and state-systems control (or trying to control) borders, spaces, and regions, including regional economies that are part of the world economy and finance the ambitions of political regimes with regard to their “military systems.” One should also add the importance of the legal system (treaties), and other functional systems such as the education system in regard to war and warfare. War and “military systems” are organizational structures in society which are managed first of all by the political system, which by no means excludes a multiplicity of interdependencies and dependencies from the economy, education, science, or legal system. Forms of self-descriptions of military systems are not excluded. Even if one wants to identify a kind of “supersystem” in the form of a “military-industrial complex,” this would not mean that this would be something which could be put on a societal level. Such an organization at the intersection of organizations of several function systems (the economy, politics, or science, including technology sectors, etc.) could be described as a multiplicity of coordinated organizations and network structures. However, the evocation of a kind of “military-industrial complex” typically evokes the fear and/or the suspicion that “military systems” are too autonomous in society, and are beyond any (democratic) control. However, this could be said of many public and private organizations which have to take the perspectives of several systems into account.

IV

The most famous theories of modern society had always had a blind spot with regard to the sociological analysis of war. Despite the fact that war was and is an important reality worldwide, it was never really on the screens of the observations of Luhmann, Habermas, Parsons, or Bourdieu⁵. Attempts to revisit the classical “bellicose” tradition of sociology are rather rare. Volker Kruse’s study on modernity as war society can be considered as one of these. In the tradition of Spencer’s distinction of industrial and military society, the author thinks that modernity should not only be understood as civic society, but also as war society (Kruse, 2009: 199). As a matter of fact, he comes up with the rather surprising idea that modern society cannot be based only on one type of society; it should take into account several types of society (Kruse, 2015: 27ff.). That would mean, and Kruse makes this conclusion, that we have to speak of a double modernity; civic society “face” of modern society, and war society “face.” The civic type of society is usually in the focus of sociologists, whereas war society type is rather absent in sociological analysis. For Kruse, war societies can be observed since the French Revolution, reaching their most radical form during the two World Wars, and afterwards in a certain number of countries, particularly socialist ones such as the Soviet Union or China in their experimenting with specific variants of state socialism. According to Kruse, war societies are

5. A fact analyzed particularly by Malešević (2010).

entities organized by states which are about to prepare for or conducting total war. Big, long, total wars are at the origin of social transformations leading to war societies which develop after the war “return” to civic society type. This is the basic argument in Kruse’s approach: despite organized collective violence, the dynamics of big wars creates new structures and orders. A space conditioned by such a dynamic can be called the modernity of war societies (Ibid.: 247).

Kruse’s approach is interesting, particularly when looking at the mobilization potential of wars. However, somehow similarly to the already-mentioned case of Harste’s description of war, Kruse misunderstands the perspective of a systemic theory of society and the idea of modern society, particularly when this is reduced to the level of a nation or a state mobilizing its resources and organizations against another nation. As a matter of fact, it mixes up organizational and societal levels of system building. Speaking of two types of society as Kruse does make sense precisely on a national and organizational level, but not on the level of society. However, even when identifying “modern civil societies” and “war societies” on the level of a nation, one would have to explain why functional differentiation is seen as being realized in the first, whereas in war societies, a hierarchic mode of differentiation is seen as the main mode of differentiation (Kruse, 2009: 200). By presenting the main features of the military type of society as following the pattern of a military organization, Kruse implicitly admits that we are in the face of “organized society.” However, organizations can by no means characterize the main mode of differentiation of modern society. Modern society cannot be reduced to an organizational level. Modern economy cannot be reduced to a bank, law does not exist only in the courts, and politics cannot be reduced to a bureaucracy (although this may be a wish of many dictators!). No single organization can represent the function of the whole function system, or attract all the operations of the system (Luhmann, 1997a: 841). Participation in society cannot be conditioned by membership as it is in the case with organizations. So-called socialist societies may have had the obsession to include the entire population as “members” of the party and its affiliated structures. However, modern society is based on the inclusion of all, whereas organizations imply membership, which means they can discriminate and exclude.

Moreover, it cannot be seen how modern society or modernity could be “doubled” by another type of society. Such errors related to typologies of society have already been made at the time of the Cold War when scholars thought that a different organization of the relationship between capital and labor justified speaking of a “socialist type of society” confronting a “capitalist type of society.” Modern society is the reality of functional differentiation, a multiplicity of mutually irreducible differences and orders, and function systems. If this is so, Kruse’s question about what happens with functional differentiation in the case of a big war such as the first world is based on a misunderstanding of the very communicative logic of function systems (Kruse, 2009: 204). Apart from the question of the consequences of a total collapse of the world economy, for example, or the more or less total destruction of the planet by nuclear war, it can be seen that even in “war societies” or totalitarian regimes, the reproduction of power, money, law, education, art or

religion has to be organized, even in “diminished” forms such as politicized structures, or restricted areas controlled by censorship, watchdogs, police and so on.

It follows that when asking, from the perspective of political sociology, how or to what extent the idea of functional differentiation is being “realized,” “controlled,” “questioned,” or even “undermined” on a regional level, one would point first to the states of the political world system. At that regional level, it makes sense to speak of organized societies which are controlled regionally by states (Hayoz, 2007). States and organized groups of states are (still) the main spaces where huge organizational capacities are developed, for example, in order to enhance globalization or to control society. As holders of state power, they can use state organs and organizations to control other organizations in the territory of their jurisdiction. Through certain organizations, more specifically through state bureaucracies, states try to control social order or other social spheres in their territory, using law and money as the main means of communication. States use organizational power to control other organizations such as companies, universities, NGOs, etc., or to control the effects of globalization on their territory. States also need organizational power if they want to control the Internet within the borders of the state territory. As a matter of fact, in many parts of the world, political regimes and their states instrumentalize functional differentiation for political ends. This does not mean that they are able to create something new, or an alternative form of social differentiation through organizational power. States may present themselves as “organized societies” and, in extreme cases, as societies to be “revolutionized” under the guidance of a single party-organization (Luhmann, 2000a: 384). The degree to which they are able to control and mobilize organizations for the objectives of the established regime is obviously also dependent on the more or less democratic constitution of political power. The degree of democratization also determines the type of relationship states develop as central organizations of the political system with their internal periphery (other political organizations), and with organizations of other functional systems such as the economy (Luhmann, 2000b: 244, Tacke, 2011: 105).

It is also at the territorial level where states can establish themselves as “war societies” or mobilize military organizations. In fact, their armies or security forces may start a war against an army in another country, to fight against internal enemies in a civil war, or simply to underline their “power projection” on the international scene. Moreover, in a political science perspective, so-called “war societies” can be described as totalitarian or authoritarian regimes. Spencer’s military type of society to which Kruse is referring to shows the typical elements of an “organized” or even of a totalitarian state (Kruse, 2009: 200, 2015: 38 ff.). Such a state is based on hierarchy, which is the core of organization systems. Furthermore, it is characterized by a strong despotic state, central control, repression, the absence of individual freedoms, and military virtues. On the other hand, the inverse type of society would correspond well to liberal, liberalizing or democratizing regimes and states based on individual freedoms, the absence of repression, a high degree of professional differentiation, contracts, and individualism. A combination of these Spencerian ideal types should be expected. As a matter of fact, one typically may find

them in authoritarian regimes. In Kruse's perspective, the competition in mobilization is central for war societies. This competition in mobilization defines war and its issues, as World Wars One and Two have shown. The militarization of society is the necessary correlate of such a mobilization of all resources in society. As Kruse correctly states, the reverse of such a mobilization can provoke a dilemma in the sense that mobilization in war society can, if not complete, end up in a military disaster and defeat, or it results in revolutions or breakdown of entire countries through privation and starving of the population (Kruse, 2015: 160ff.)

Of interest here is Kruse's analysis of Stalinism as a renewed variant of total "war society" focusing on modernization, mobilization, and, in the end, war. As a matter of fact, many scholars had already observed the military character of organized society Soviet Union decades ago. In the Soviet Union, forced modernization disguised as industrialization has been used to build up a military or a garrison state based on the militancy of an aggressive ideology, and oriented towards imperial expansion⁶. Other authors have seen a consubstantial aspect of the Soviet empire in the "military statism" (Malia, 1980: 220; Morin, 1983: 193; Kennedy, 1987). Hobsbawm also observed that "the structure of the Soviet system and its modus operandi were essentially military" (Hobsbawm, 1994: 481). The military state points to the objectives of the regime as well as to the instrumentalization of organized society. In supporting this argument, Skidelsky adds that

The most perfectly planned society is an army, and planned societies "whether fascist, communist, or state capitalist all tend to approximate the pattern of military organization: a general staff to do the planning, a hierarchy to command, a rank and file under strict discipline." It is easy to idealize such an order: the civilian is transformed into a civic soldier and endowed with nobler qualities of the military life; he would work not for profit but for the service of the state; he would not indulge the vagaries of the individual mind but think high common thoughts; he would be secure in his status, and 'the whole of which he was a part would be secure because it was disciplined and could therefore be directed without the confusion of debate, of divided opinion, of private ambition, and of private greed. (Skidelsky, 1995: 66)

Such a description corresponds quite well to Kruse's "war society" which, in the case of Soviet Union, could outlast World War Two and continue almost until the breakdown of the Soviet empire. A strange "war society" existed in the "Cold War" period, with actual war not being possible except in the heads of the elites and in the self-description of the Soviet system. However, militancy is not a receipt for regime stability. All exceptional regimes end up in the normality of trivial conflicts of interests and power. Order produces disorder, unity produces conflict. Indeed, the reasons of the breakdown of the Soviet Union have also to be found in the fact that the socialist "war society" and "garrison state" could in the long term not be immunized against external influence or the dynamics of globalization and world society. Three decades ago, certain regions of the world still had reasons to believe that the political and social order built up under the name of

6. For the notion of "garrison state" coming from Spencer, see Janos (1991: 93ff., 97).

the Soviet empire could last forever. However, the communist “variant of differentiation” based on the communist Ideology, its military power, and the organizational capacities of a single party did not fail simply because it was not able to solve the problems by means of planning and control. It is perhaps a cunning of society that the collapse of the Soviet experiment coincided with the new realities of a globalized world undergoing rapid technological, economic and scientific change, the most visible parts of world society already functionally differentiated. Resisting functional differentiation by isolating whole regions through closing borders and organizing society through hierarchy and people-control could only work as long and insofar as socialist society could be presented and seen as being without an alternative⁷. Decades ago, Luhmann pointed to the legitimation effects of building the Berlin Wall by the Eastern German communist regime in order to deprive citizens of the possibility of emigrating and contributing to the acceptance of the regime (Luhmann, 2007: 64, N19, and 2009: 217, N14). This would explain partly also why an exceptionally-totalitarian garrison regime such as North Korean can still survive today; a militarized regime based on still-powerful revolutionary war rhetoric can isolate backward society, and avoid the risk of collapse by playing with the risk of war. It is also a reminder of the meanings of the so-called “Cold War.” Its alternatives, the risk of destabilization, change, and the very artificial nature of the Soviet variants of differentiation could be made “invisible” by the “Iron Curtain” with the clear message of the permanent risk of war. The Soviet variant of socialism was certainly one of the last political experiments attempting to realize society based on control by one single-party organization. Society cannot not be “organized,” even less so from the top of a party structure.

Interestingly enough, a kind of a “military statism” *sui generis* can also be found in today’s Russia. An authoritarian political regime seems to be aiming at again building up elements of a “garrison state,” and propagate the image of a “besieged fortress” having to defend its “extensible walls,” particularly after Russia’s aggression against Ukraine. This goes together with Putin’s reconsolidated state order of the last fifteen years, which, to a certain extent, reproduces Soviet-like organizational structures, and a state capitalism in a globalized context. The ‘system of power’ established by Putin is a new attempt to control Russian society, its media, its economy, its civil society, and its dynamics by political means, the bureaucracy, and the courts. This corresponds to Russia’s ambitions of power as observed in the last decade. The corresponding militarization of society and of the territorial conflicts with or in its “near abroad,” particularly in regard to the multiples crises in the Southern Caucasus and the Ukraine, provides the image of society at war in which the semantics of war and the mobilization of patriotism is circulating as necessary parts in the reconstruction of Russia’s grandeur⁸.

7. See with this regard Moser (2015) and Hayoz (2007, 1997, 1995).

8. With regard to Russia’s imperial ambitions see for example Van Herpen (2015). With regard to the aspect of militarisation see for example Melvin (2014). See also Bouchet (2016).

V

Let's face it: despite all of the "peace-enforcing" or "peace-keeping" intentions of the world or regional security organizations, one may simply look at the daily news to conclude that war, including its new forms, is a reality that includes corresponding "military systems," and a permanent risk in a world political system differentiated in states (and only states). It may be that wars as large scale armed conflicts between nations, states, organizations, etc., are in decline in the more-or-less democratized regions of the world, but wars can also come "back" in many different and new forms. This is particularly true at the European periphery, or in third world countries, where one may point to conflicts between different ethnic groups, between national and sub-national entities called quasi-states, to conflicts around disputed territories or borders, to state failure, and so on⁹. Moreover, it seems that ideological borders between war and not-war, or war and other forms of armed conflicts such as civil war are becoming blurred. This is also expressed in the new formula of "hybrid war," referring to the fact that non-military aspects such as an "intelligence war" and an "information war," also called a propaganda war, are becoming important tools in the hand of countries such as Russia which are trying to achieve their geopolitical objectives while avoiding the risk of an open-armed conflict¹⁰. Such aspects have to be considered in the context of a change of warfare resulting from global changes, particularly on the level of communication technologies, which extend the battlefields of the past to the battlespace and cyberspace (Sheehan, 2011: 217). It remains to be seen to what extent such developments, including new forms of war and warfare or the "war" against terrorism, will be able to blur the borders between war and peace, the military sphere and the civil sphere, or between war and crimes (Holzinger, 2014: 471).

However, such considerations are already going beyond the aim of this paper, which strongly supports Luhmann's theory of society, particularly in the demonstration of its explicative potential through the discussion of several studies using elements of Luhmann's theory for the study of war. However, the results of this exploration are rather mixed, not because the theory does not offer adequate conceptual tools, but due to the fact that the studies taken into account do not use the full potential of Luhmann's theory. We have observed this critically, particularly with regard to the essential difference between the level of society, where function systems have to be "situated," and the level of organizations (hierarchy, membership) which is also the "social place" of "military systems." This could also be said of some of the critics of the theory of functional differentiation who do not seem to understand that the systemic perspective offers a multiplicity of concepts, types, and analytical levels for the description not only for world society, but also its regional "expressions" or a phenomenon like wars and "military systems" in specific states or groups of states¹¹. Such a confusion can also be partly explained by the fact

9. See on the question of declining number of wars and the rise of new forms of conflicts Tertrais (2010), Morris (2014), Münkler (2015), English (2013).

10. A point particularly relevant and underlined by Marc Galeotti (2015) in the case of Russia's covert intervention or adventure in Eastern Ukraine. See also Münkler (2015) and particularly IISS (2015).

11. See Holzinger (2015) for example and his inadequate critics of Kuchler's study of war.

that mainstream sociology continues to think of society in terms of a national or regional society. In such a perspective, the example of the “socialist experiment” of the 20th century is considered as being something different and is not being analyzed as a distorted variant of modernity, where modernity is understood as world society with functional differentiation and based on specific coupling of function systems and organizations, particularly those party organizations attempting to control society. A deep understanding of Luhmann’s theory of society allows one to distinguish the communicative reality of society with its different levels, and the spatial realities of regional developments where function systems have to be accepted or perhaps undermined. In addition, one may point to the case of China shedding its peripheral status, and soon becoming an economic and political world power. China is certainly an excellent example of an efficient and powerful combination of the use of universal functions systems and regional peculiarities with a communist party trying to control the dynamics of the function systems. It is also a good example of an authoritarian regime trying to block certain social developments (human rights), and a rising military regime building up “military systems” which are about to be perceived as a threat to its neighbors.

Finally, taking into account the worldwide realization of functional differentiation and the fact that states are the dominant structure dividing the world territory in bigger or smaller segments with protected borders, it can be seen how regional political systems are using organizations and their resources to build up specific “military systems.” With this process, these political regimes organizing political power in a democratic or non-democratic way are also reproducing corresponding semantics and discourses (including “war memories,” “ideological wars,” enemies, etc.) which may or may not be used as both part of a legitimation strategy and to strengthen national identity. Complex “military systems” would not be possible without such organizations, particularly state bureaucracies and affiliated organizations.

References

- Bouchet N. (2016) Russia’s “Militarization” of Colour Revolutions. *Policy Perspectives*, vol. 4, no 2. <https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/PP4-2.pdf> (accessed 6 May 2016).
- English R. (2013) *Modern War: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Galeotti M. (2015) “Hybrid War” and “Little Green Men”: How It Works, and How It Doesn’t. *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives* (eds. A. Pikulicka-Wilczewska, R. Sakwa), Bristol: E-International Relations, pp. 156–164.
- Haferkamp H. (2000) Kriegsfolgen und gesellschaftliche Wandlungsprozesse. *Die Gegenwart des Krieges* (Hrsg. W. Knöbl, G. Schmidt), Frankfurt am Main: Fischer, S. 102–124.

- Harste G. (2004) Society's War: The Evolution of a Self-Referential Military System. *Observing International Relations: Niklas Luhmann and World Politics* (eds. M. Albert, L. Hilkermeier), London: Routledge, S. 157–176.
- Harste G. (2009) Linking Political Systems and War Systems: Systemic Risks, Paradoxes and Blind Spots. *Forum on Public Policy*, no 1. Available at: <http://forumonpublicpolicy.com/spring09papers/archivespro9/harste.pdf> (accessed 20 March 2016).
- Hayoz N. (1995) Dédifférenciations régionales et différences fonctionnelles universelles. *Soziale Systeme*, no 2, pp. 261–282.
- Hayoz N. (1997) *L'Étreinte soviétique*, Genève: Droz.
- Hayoz N. (2007) Regionale "organisierte Gesellschaften" und ihre Schwierigkeiten mit der Realität der funktionalen Differenzierung. *Soziale Systeme*, Jg. 13, Heft 1-2, S. 160–172.
- Hayoz N. (2016) Informal Networks of Power and Control of Deviation in Post-Soviet Non-Democracies. *International Relations and Diplomacy*, vol. 4, no 1, pp. 60–69.
- Hobsbawm E. J. (1994) *Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991*, London: Michael Joseph.
- Holzinger M. (2014) Niklas Luhmanns Systemtheorie und Kriege. *Zeitschrift für Soziologie*, Jg. 43, Heft 6, S. 458–475.
- IISS (2015) *The Military Balance 2015*, London: Routledge
- Janos A. C. (1986) *Politics and Paradigms: Changing Theories of Change in Social Science*, Stanford: Stanford University Press
- Kennedy P. (1987) *The Rise and Fall of the Great Powers*, New York: Random House.
- Knöbl W., Schmidt G. (2000) Einleitung: Warum brauchen wir eine Soziologie des Krieges? *Die Gegenwart des Krieges* (Hrsg. W. Knöbl, G. Schmidt), Frankfurt am Main: Fischer, S. 7–24.
- Kruse V. (2009) Mobilisierung und kriegsgesellschaftliches Dilemma: Beobachtungen zur kriegsgesellschaftlichen Moderne. *Zeitschrift für Soziologie*, Jg. 38, Heft 3, S. 198–214.
- Kruse V. (2015) *Kriegsgesellschaftliche Moderne*, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Kuchler B. (2013a) Krieg und gesellschaftliche Differenzierung. *Zeitschrift für Soziologie*, Jg. 42, Heft 6, S. 502–520.
- Kuchler B. (2013b) *Kriege: Eine Gesellschaftstheorie gewaltsamer Konflikte*, Frankfurt am Main: Campus.
- Luhmann N. (1990) *Essays on Self-Reference*, New York: Columbia University Press.
- Luhmann N. (1982) *The Differentiation of Society*, New York: Columbia University Press.
- Luhmann N. (1984) *Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt: Suhrkamp.
- Luhmann N. (1997a) *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann N. (1997b) Globalization or World Society: How to Conceive of Modern Society? *International Review of Sociology*, vol. 7, no 1, p. 67–79.
- Luhmann N. (2000a) *Organisation und Entscheidung*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann N. (2000b) *Die Politik der Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Luhmann N. (2007) *Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung*, Wiesbaden: VS.
- Luhmann N. (2009) *Soziologische Aufklärung 1: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*, Wiesbaden: VS.
- Luhmann N. (2012) *Theory of Society, Vol. 1*, Stanford: Stanford University Press.
- Luhmann N. (2013) *Theory of Society, Vol. 2*, Stanford: Stanford University Press.
- Malia M. (1980) *Comprendre la Révolution Russe*, Paris: Seuil.
- Malešević S. (2010) *The Sociology of War and Violence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Melvin N. (2014) The Galloping Militarisation of Eurasia. *openDemocracy*, 16 June 2014. Available at: <https://www.opendemocracy.net/od-russia/neil-melvin/galloping-militarisation-of-eurasia> (accessed 8 May 2016).
- Morin E. (1983) *De la nature de l'URSS*, Paris: Fayard.
- Morris I. (2014) *War: What Is It Good for?* London: Profile Books.
- Moser E. (2015) *Postsowjetische Transformationen in der Weltgesellschaft: Politische Dezentralisierung und wirtschaftliche Differenzierung im ländlichen Russland*, Bielefeld: transcript.
- Münkler H. (2015) Das Chamäleon Krieg und der Kampf um eine neue Weltordnung. *Testfall Ukraine Europa und seine Werte* (Hrsg. K. Raabe, M. Sapper), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 177–190.
- Sheehan M. (2011) The Changing Character of War. *The Globalization of World Politics* (eds. J. Baylis, S. Smith, P. Owens), Oxford: Oxford University Press, pp. 214–229.
- Skidelsky R. (1995) *The World after Communism: A Polemic for Our Times*, London: Mac-Millan.
- Stichweh R. (2000) *Die Weltgesellschaft*, Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Stichweh R. (2006) Strukturbildung in der Weltgesellschaft: Die Eigenstrukturen der Weltgesellschaft und die Regionalkulturen der Welt. *Die Vielfalt und Einheit der Moderne* (Hg. Th. Schwinn), Wiesbaden: VS, S. 239–258.
- Tacke V. (2011) Soziale Netzbildungen in Funktionssystemen der Gesellschaft: Vergleichende Perspektiven. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (Hrsg. M. Bommers, V. Tacke), Wiesbaden: VS, S. 89–118.
- Tertrais B. (2014) *La Guerre: Que sais-je?* Paris: PUF.
- Tilly Ch. (1990) *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*, Oxford: Blackwell.
- Van Herpen M. H. (2015) *Putin's Wars: The Rise of Russia's New Imperialism*, New York: Rowman & Littlefield.

Организация войны и военные в обществе: системная перспектива

Николя Айо

Доцент кафедры политологии, директор Междисциплинарного института Центральной и Восточной Европы в Университете Фрибура (Швейцария)

Адрес: Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, Switzerland

E-mail: nicolas.hayoz@unifr.ch

Социология может анализировать войну с различных сторон, например, как проблему коллективного насилия. Достаточно часто игнорировался еще один важный аспект войны — тот факт, что она всегда еще и организационное явление. В последнее время некоторые исследования войны фокусировались на данном аспекте, используя или упоминая системную теорию Н. Лумана. В настоящей статье критически рассматриваются некоторые из этих исследований с точки зрения того, как теория Лумана используется при анализе войны или связанных с войной социальных структур. Теория Лумана, в частности, его теория общества, основанного на принципе функциональной дифференциации, обладает мощным объяснительным потенциалом, в особенности для анализа войны и военных действий. Однако лишь немногие исследования действительно адекватно применяют теорию Лумана, располагая понятиями на должном аналитическом уровне. Война и «военные системы» должны быть проанализированы как организационные структуры общества, управление которыми осуществляется, в первую очередь, политической системой — функциональной системой общества, которая, в свою очередь, никоим образом не исключает множества взаимосвязей с другими системами. Системная перспектива должна также учитывать региональные особенности общества, такие, как «военные системы» в конкретных государствах или объединениях государств.

Ключевые слова: война, организация, теории систем, Никлас Луман, военные системы, военное общество, милитаризация, функциональная дифференциация

Defining the Russian Diasporic Home and Its Atmospheres: Theoretical Challenges and the Methodological Implications

Anna Pechurina

PhD, Senior Lecturer in Sociology, Leeds Beckett University
Address: City Campus, Calverley Building, Room 914, Leeds, LS1 3HE
E-mail: a.pechurina@leedsbeckett.ac.uk

This article discusses the theoretical and methodological challenges in the qualitative research of Russian diasporic homes. Its key argument is that a sense of ethnic atmosphere and domestic aesthetics is co-created by the researcher and the participant through their shared perceptions of place in a process that has both advantages and limitations. Specifically, the article looks into the idea of “Russianness,” which is defined as a collection of material and sensory elements that make one feel “at home.” More importantly, this feeling of being “at (a Russian) home” and the atmospheres related to it can not only be experienced by those who live there, but also by its visitors who intuitively recognize the elements and objects of decor, and the domestic environment as being part of Russian culture. The interview situation helps to both reveal and to limit the meanings of the objects and of the stories which then constitute part of the existing atmosphere. Using examples from the previous study of Russian migrants’ homes and complemented by the researcher’s self-reflection, this article will explore the problematic nature of sensory dimension of home, and the challenges in approaching it both theoretically and methodologically. The article’s enquiry is aligned with the argument of the importance of combining different ways of learning and knowing in sociological research (Smart, 2011), and aims to engage with the research context more critically and creatively.

Keywords: home, atmosphere, material culture, migration, diaspora, Russianness

Introduction

In this article, my experience of studying and visiting homes¹ will be used to address several issues related to the conceptual and methodological understanding of domestic

© Pichurina A., 2016

© Centre for Fundamental Sociology, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-26-41

1. The interview examples and research material are taken from a study of Russian migrants homes in the UK, conducted between 2006 and 2010. The main methods used were qualitative interviews at the participants’ homes, and complemented by photographic images of material possessions or interior design. Additional ethnographic notes during the fieldwork were collected in the form of notes. The majority (23) of participants came to the UK during the period between 1990 and 2002, and thus belong to the post-Soviet wave of migration. There were also four participants who arrived between 1939 and 1954, and belonged to the first (after the Second World War) and the second migration waves (from the 1950s until the mid 1980s). Seven participants who arrived in the UK post-2002, which means that for the moment of the interview their stay in the UK was no longer than 5 years. The interviews took place during 2007 and 2008, were conducted in interviewees’ homes, and lasted an average of sixty minutes with the majority of the interviews taking place in the North-West of England. For a more detailed account of the study methodology and results, please see Pechurina (2015).

atmospheres where the social and personal worlds of researcher and participant come together within a single space. There has been a growing body of literature on home ethnography, including studies of homes and personal lives that highlight the importance of intangible and sensory dimensions of home, its material culture, and belonging (Hurdley, 2013; Miller, 2010; Pahl, 2012; Pink, 2004, 2006, 2012; Rose, 2012; Tolia-Kelly, 2010; Woodward, 2015). While my research is certainly placed within this framework, I aim to reflect upon how the intangible dimension of domestic space, which I refer to as “home” atmosphere, is connected to the culture and the identity of all of the research participants. Specifically, I look into and critically evaluate the idea of “home” atmospheres, which emerged as one of the defining characteristics of the Russian “Home from Home” and defined as a collection of elements, both material and sensory, that made one feel “at home.” In the words of my research participants, one can speak about the presence of a “Russian spirit” or “Russian flavor” within the house that is linked to the way people defined and perceived their home. More importantly, this feeling of being “at (a Russian) home,” which is also referred as Russianness, can be experienced not only by those who live there, but also by their visitors, who intuitively recognize elements of decor, objects, and the domestic environment as being part of Russian culture.

The method of home-based interviews used in my previous research of home cultures meant that I sometimes get to share my and my participants’ understandings and meanings we attach to domestic artefacts, and to compare my sense of home with theirs. Invariably, listening, understanding, and interpreting the participants’ explanations of domestic materiality is a core element of the ethnography of home. Through this process, one can reveal codes and practices, activities, and objects that can be defined as specific to a certain culture, in this instance, that of Russia. These often include specific and distinct ways of consuming food, looking after the house, or celebrating important national dates. But what contribution does the researcher make in creating and interpreting, and, consequently, defining and situating these meanings? Can the home’s intangible and sensuous aspects be shared by the researcher and the participant alike? How does this enable or hinder definitions of the atmospheres of different cultures within the home in specific terms, in this case, those pertaining to Russian atmospheres? And, finally, how far does the very experience of being in the place determine the description of ethnic domesticity and the sensory response to it?

In the remainder of this paper, I will discuss several theoretical and methodological challenges that arise in the process of researching the home by focusing upon various interactional relationships that emerge between the researcher, the participants, and the materiality of the domestic space. The purpose is to further explore the dialectics of knowledge production in the home-based interview situation by considering the roles and contributions of both the researcher and the participants in the process of attempting to conceptualize otherwise-intangible elements and dimensions of space, such as “home atmosphere” and “Russianness.” I shall start with an overview of the concepts of the “diasporic home” and the “diasporic object,” outlining their problematic natures and the complex connections to culture, and the sense of place and belonging. In the second

part of the article, I will present several reflective examples from my research practice that indicates the problematic and complex nature of a home atmosphere and its related “Russianness.”

The Study of Migrants and Diaspora

The analysis in this article is placed within the wider framework of the study of migrant and diasporic cultures which examines how the experience of moving to a new country affects the strategies of home-making, culture-building, and identity re-construction. Theoretically, I draw on Anderson’s concept of imagined communities (Anderson, 1983). I have linked these strategies to the material culture, and focus on the exploration of the relationships between cultural identity, and the choice of material objects that convey meaning throughout the migrational journey. This means that identity is socially constructed and manifested through everyday activities performed within and around the domestic space. Material possessions function as tangible mediators of intangible ideas, experiences, senses, and cultures.

It should be noted that migration is approached and understood through a narrative of movement that is not limited to crossing borders or spatial movement in general. Regardless of their place of residence, people (and especially migrants) go through various stages in life affecting their notion of “home,” as well as the number and type of material possessions they own, which reflects their current sense of self or personal construction of meaning. Furthermore, I attempt to look at the experience of movement not only in terms of displacement and deterritorialization, but also as a way of getting to new destinations, including both spatial destinations and/or more metaphorical destinations representative of one’s existential awareness. Any kind of movement is meaningful as long as it shapes an experiential reality. This includes visits from friends and relatives that intrude into the home atmosphere and fill it with reminders of “home;” revisiting previous homes; tourism that sparks memories; movements within the country of settlement, and the symbolic repositioning of people and objects in the process of re-identification. These movements are intricately involved in the process of the making, unmaking, and remaking of cultures and identities in diasporic contexts.

Exercising reflexivity and considering my own experience of movement and changing forms of spatial awareness—including the role and representation of objects in the making of identity—can provide an insight into the processes which are at play for the study’s participants when they construct meaning in the diaspora. If we imagine a parallel universe in which, alongside the study’s participants, we have been undergoing a journey of migration that has transformed our perception of “home” and our own identity narrative and modified our relationships with our home country and sense of home, then we can appreciate the transformations at play, and the role of spatial and symbolic movements in the process. For this reason, I am always aware of and take into account my own personal memories that form a part of the collective knowledge of domestic culture and the Russianness informing the analysis that follows.

Researching Homes and Objects

In my research, “home” is perceived as a complex and multidimensional concept. The meanings of its tangible and intangible components, and the relationships between these components are my primary focus. In this approach, I loosely distinguish between three areas of enquiry: the “physical” home, which refers to tangible components, including the building and its objects; the “symbolic” or imagined home, which refers to the idea of home, or of specific symbolisms around it; and the “practiced” home, which refers to the practices of home-making and relationships that maintain a sense of home within a physical space (Blunt, 2005; Mason, 1989). In relation to the non-tangible aspects of domesticity comes the understanding of “home” as a “sensory totality” (Petridou 2001), where the main emphasis is placed on the sensory elements of home that comprise it, including smells, sounds, and the visual. The important point here is that the areas outlined are not distinct in practice, but rather are in constant interplay. This also means that each field entails a whole range of thematic references. For instance, the “symbolic home” can be conceptualized as “imagined,” where “home” represents a past experience (a home left behind), or a destination (an ideal “home” yet to be found).

The outlined dimensions of homes and material culture have been widely explored in recent studies of migrant communities and cultures (Mehta, Belk, 1991; Miller, 2008; Savas, 2014; Svasek, 2012). Migrant communities present interesting cases for studying domestic cultures, as their homes “move” with them, both geographically and symbolically. Integral to the process of movement is the task of “selecting” the material objects they would take, leave behind, or gradually acquire in the new place. The practical tasks and experiences that migrants encounter on arrival are also influenced by other important socio-cultural factors, including cultural values, stereotypes and expectations of both migrants and local communities, economic conditions, and the scale of globalization within the area which either enables or restricts access to certain products and items. For instance, it is well known that London’s highly globalized economy offers a wider range of ethnic products than other British localities where people may not have access to Russian items. At the same time, the rise of online shopping positively influences migrants’ consumption of their “ethnic”/national items, including food, consumables, and other products. Also, political conflicts and economical factors can encourage “patriotic” consumption or non-consumption of items (Gurova, forthcoming). For instance, the economic sanctions against Russia affected which products migrants would buy to bring back to Russia. The symbolic power of things can work both ways: while some people purchase objects as reminders of places, others avoid them for the same reason. This is because things can remind migrants of homes past too intensely. Overall, external factors and the level of access to resources due to combinations of forms of capital are important to acknowledge when one studies migrant homes.

It is important to reiterate that regardless of the number of possessions one may have, the very idea of “home” remains a strong reference point for diasporic and migrant communities (Rapport, Dawson, 1998; Sigona et al., 2015), often functioning as a site where

identities, cultures, relationships, memories, and ideologies are continuously configured and manifested. By studying “home” as a multi-dimensional concept and not focusing on the material and consumer characteristics of migrants’ domesticity, sociologists have been able to learn not only about migrants’ material cultures, but also about their ways and processes of maintaining cultural identity and a sense of belonging. This means that material objects are studied not only for their functional qualities, but also in terms of learning how these objects are thought of by their owners in ways that include the contextually-specific meanings attached to these objects. This is often achieved by identifying specific practices that help migrants to feel connected to their community, practices through which they recreate the feeling of a “home from home,” or of “a place other than one’s own home where one can be at ease” (Hanks, 1979: 701). The argument that the study of “home” should go beyond simplistic descriptions of possessions and instead focus on the interpretations of their significance and the ways in which objects are used within the domestic context is important for this article, especially when it comes to homes that contain similar ethnic objects. For instance, one person’s home may be full of cultural artefacts but another’s empty; this alone does not make one home more Russian or more “home-ly” than the other (where “home-ly” confers ethnic identification). However, if we add elements of everyday activities to the study, such as cooking or the performance of other family rituals that make use of domestic objects, including birthday celebrations, cleaning the home, spending time with friends and relatives, relationships with the wider community as well as the level of participation in social networks, then it would be possible to arrive at a better understanding of a “feeling at home.” Furthermore, apart from the use of objects in the context of social engagement, it is also productive to study objects and their individual or private uses, such as mnemonic objects (Marcoux, 2001), personal memorabilia or so-called “dormant things” (Woodward, 2015) that are stored for years in the closet, but act as important constituents of the “feeling of home.” This point will be developed later in the article in relation to the “home” atmosphere.

There is a further typology of material objects that emerges when we study migrant homes and communities more closely. Thus, one can identify a group of objects that, along with personal components of identity, acquire additional “cultural” or “diasporic” meanings. In this sense, such objects act as visible references to the migrants’ relationships and attachments to their “native” culture. In other words, “diasporic objects” can be defined as items that are related to stereotypical elements of culture and its rituals, including national or religious symbols, food, and souvenirs. In some instances, these are the same items that many tourists bring back with them from their trips abroad. Alternatively, items related to specific cultural or historical contexts, or to the traditions of a particular region or town, constitute another class of objects that acquires significance and meaning in and for the diaspora. Due to their commonness and to their widespread availability, these items are often among the popular objects brought home, or presented as gifts with the intention of reminding oneself and others of the native culture, while simultaneously affirming the heritage from which they derive. When it comes to the Russian culture, some of the most common examples of diasporic objects are items that

carry national symbolisms (posters, calendars, or badges), traditional folk items (such as *matrioshka* dolls, wooden crockery, or traditional porcelain), and familiar foods (dairy products such as *smetana* or *kefir*).

At the same time, it should be noted that the identification of diasporic objects can be both productive and problematic when it comes to the study of deterritorialized migrant communities. First, we have to acknowledge other important categories of objects that can also be used by migrants, but which do not look stereotypically ethnic. For instance, an object identified as Russian is not necessarily diasporic (it is from Russia). A common Russian souvenir can be an important referent to personal biography or family history as well as to Russian culture (Pechurina, 2011: 104–107). Additionally, some things can be used and kept not only as a way to signify belonging to an imagined community, but also to act as compensation for social exclusion (Ibid.: 104–105). Furthermore, in regards to Russia, one should be aware of the controversy of Soviet/post-Soviet/Russian cultural fields as a result of which the meaning of many symbolic objects have become contested in different contexts. For instance, Soviet symbols can be presented both as kitsch and as a national symbol, which is also an indicator of the socio-cultural background of their owner². A collection of plates from a national producer can be linked to a love of art and aesthetics. “Traditional” food choices can be justified by the interest in the history of one’s country rather than familiarity of taste. The meanings of souvenirs can be reinterpreted and used ironically and playfully (as in “kitsch camp” meanings), as often happens with the symbols of the Soviet era. In other words, such dimensions as age, gender, or class and related categories of taste play their part in providing the further contextualization of the meaning of “diasporic” objects.

All in all, the practice of bringing and using diasporic objects both within the domestic space and in community-building activities surely deserves further investigation. Such practices as transnational shopping, gift-giving, food-sharing, and the reproduction of quasi-cultural activities indicate that diasporic objects play an active part in linking communities and cultures. Furthermore, diasporic objects are often highly visible within the domestic decor and are one of the first things to be noticed by a visitor and, for this reason alone, add a further dimension to the already polysemic notion of home. At the same time, despite their visibility, these objects’ functional meaning is often blurred, and, in many cases, appear merely as a point of reference rather than as a profound identity statement. Finally, the distinctions of taste and class differences affect the construction of the meaning of diasporic objects, and by this, reveal further configurations of how the sense of belonging and the sense of identity can be mutually (i.e., both by the dweller and their visitor) constructed and maintained.

The main implication for a researcher of cultural identity and home-making is that diasporic objects visually produce the effect of native homes, which can both guide the researcher towards significant meanings and insights and mislead them. In my experience as researcher, I have regularly come across homes that contained a visible number

2. Further discussion on post-Soviet kitsch and its symbolism is outlined in Sabonis-Chafee (1999).

of objects that looked Russian or Soviet, and were identified by their owners as such³. However, it was only after talking to the inhabitants that I was able to understand the functionality and significance of those objects to the persons' identities. People were able to distinguish between those items they did not much care about and were there only to fill the space, and those "subjective" items used for the specific purpose of creating a sense of home. In other words, the way in which inhabitants see and present their home is not always evident or self-explanatory to a visitor. Clichéd or hackneyed cultural symbols can be unimportant to the owners, or they may be enriched with meaning. The same logic applies to the study of other intangible dimensions of "home," including the feeling of being at "home," and of a "home" atmosphere.

The Sociological Study of Atmospheres

The concept of atmosphere, although not entirely new to social sciences, has begun to receive more scholarly attention in recent years, especially in connection to the growing interest in the sensory dimensions of place, belonging, and cultural identity. In the studies related to homemaking practices, "atmosphere" is referred to as an intangible characteristic of place that produces a particular sensory or emotional response ("pleasant," "warm," "cozy," "cold," and so forth), or a particular type of sociality (such as "friendship," "family," "kinship," or "intimacy"). At the same time, atmosphere can be linked to the qualities of the material objects located in the home; for instance, certain objects can have an effect on an individual's senses and emotions. Related to this argument, the theoretical conceptualization of atmosphere resides in Bohme's theory of aesthetics (Bohme 1993). According to Bohme, objects manifest their presence to the viewer through their physical qualities radiating outwards to the environment (Bohme, 1993: 121). Bohme defines these qualities as the "ecstasies of the thing," and links them to the visible articulations of the presence of objects in their environment, such as color, smell, shape, or texture, among other qualities. Atmospheres are revealed through such "ecstasies," that is, through the continuous (re)configurations of relationships between human subjects, material objects, and places. Correspondingly, viewers or visitors attune themselves to the space, recognize the ecstasies and, in doing so, participate in the co-production of atmosphere. Some aspects of this theory can be traced to Benjamin's concept of "aura," which he developed in relation to works of art (Benjamin, 2008). The aura is defined as the sensory effect that art objects have on the viewer, the "something" that separates those objects in time and space and makes them unique. In other words, when a viewer encounters a work of art, s/he experiences its aura, which is only possible when a work of art is unique and authentic. Although it is not uncommon to see unique works of art in people's homes, the domestic context is different to the museum or gallery environment that Benjamin mainly referred to in many ways. At the same time, following the discussion in the previous section, it can be argued that even a mass-produced item can have

3. The examples include Russian or Soviet flags, Russian folk souvenirs, Orthodox icons, posters and calendars, china cabinets, objects from hometowns, photographs, books, or food, among others.

unique qualities due to a special significance for the owner. In the same way that art objects to which our access is limited are admired at a distance (Benjamin, 2008: 219–220), the cherished objects of the past are remembered and perceived as more special. A good illustration of this can be seen in the migrants' desires to bring "familiar" objects from their native countries. The very experience of migration means that one has to go back from the here-and-now to the there-and-then to get the object, and, by doing so, helps generate the object's aura. In this context, experiences and memories of the past linked to an object make it more special. When placed in the house, these special objects can affect the sensory perception of place.

At the same time, although in a slightly different way, the continuous practices of domesticity, or of the dwelling itself, enables greater integration with newly acquired objects. Thus, the attachment and emotional response can be established in relation to the relatively new objects as they gradually become integrated into the domestic setting and for its inhabitants and visitors. In this context, Chevalier's study of suburban homes may be effective at elaborating this connection. Chevalier (1999) explores those ways and processes through which a living space can be transformed into the meaningful space of one's "home." In doing this, she focuses on the material culture of the residents of several apartments in the Parisian suburbs. As she notes, the residents develop particular types of relationship with their objects, which she defines as "affinities," that transform the place and make it more meaningful (Chevalier, 1999: 88). Interestingly, once the objects are invested with emotions, even the most common mass-produced items are able to affect perceptions of "home" among their owners. It can be argued that these "affinities" add an extra layer to the residents' identities and to the ways in which they can be expressed. These objects' extra layers of "affinities" are gradually built up over time and by the number of personal references they acquire, such as their connection to the places that one has visited, and/or to significant people and memories. In other words, the objects start to "belong" to a place.

In relation to the concepts outlined above, it is important to mention the empirical studies of "home" atmosphere that focused on exploring how different social, cultural, spatial and sensory dimensions of "home" become (inter)connected in a meaningful way. In his study of "home" atmosphere through systematic qualitative interviews, Pennartz (1986) focused on investigating the types of experience of atmosphere at homes in different contexts, taking into account the relationships between the physical/spatial and social environments. In trying to overcome the conceptual complexity of defining atmosphere, Pennartz operationalized it through the term "pleasantness" (Pennartz, 1986: 138). Thus, to Pennartz, atmosphere is a characteristic of place that derives from the different combinations of spatial and social experiences and situations at home that one defines as "pleasant." Pennartz outlined several themes related to how the non-spatial and spatial characteristics of place indicate the presence of atmosphere at home. One of the conclusions was that the relationships between place, objects, and subjects are fluid and interactive. Furthermore, the spatial or material characteristics of place both produce and are produced by the individuals who inhabit it; "atmosphere manifests itself as a double

sided process: the atmosphere of a room works on an individual, and conversely an individual projects his or her specific mood on the room" (Ibid.: 95).

Olesen's (2010) research develops some of these arguments further in relation to so-called "ethnic objects," that is, hand-made craft objects or furnishings of non-Western origin. Specifically, she questions the popularity of hand-made cloth of Malian origin with a distinctive traditional African pattern which has become popular among middle-class American consumers as home décor and/or furnishings. As Olesen argues, ethnic objects are an interesting case because of their capacity to alter the sensuous perception of "home" for their owners. Thus, items bought with the intention of decorating a home and of bringing some "ethnic" flavor to it appeared as a way of linking "space, material culture and social experience" (Olesen, 2010: 30). Correspondingly, Olesen's participants developed a defined sense of place, or atmosphere, created through the physical qualities such as the color or the pattern of their ethnic objects. In discussing the descriptions of "home" with her informants, Olesen also showed that their understandings of atmosphere were linked to other important cultural distinctions, such as the domestic/public sphere, kinship, sociality, order, and taste, among other things (Ibid.: 38). Essentially, the function of ethnic objects was to embody or "radiate those qualities" (Bohme, 1993), and to display them or project them outwards.

To summarize, it can be argued that the presence of an ethnic atmosphere is linked both to the place and to the objects located within it. Both the participants and the researcher perceive and respond to a place, thus constructing and co-producing its atmosphere. The ability to perceive the place in a specific way (as more-or-less Russian, for instance) depends on factors deeply ingrained into the social and cultural contexts and identity-definers of the interview participants. As a result, the focus should be shifted from identifying the descriptive elements of domesticity and their meanings to the analysis and unpacking of how and in what way sensory responses to place or its atmosphere is constructed by the interview participants, and how attention to certain objects is performed, communicated, and further described by the researcher.⁴

Atmospheres of "Russianness"

In my previous work on Russian migrants' homes (Pechurina, 2015), the notion of atmosphere emerged as a combination of the feeling of being at home and a linked sense of "Russianness." While the latter referred to the sensuous perception of home as "Russian," which might or might not be determined by the presence of diasporic objects, the former related to a more generic experience of place as "a lived home," or "dwelling" (Heidegger, 1993). The combination of the two produced the effect of an atmosphere of "Russian-

4. Similar argument can be found in Filippov's (2008) account of atmosphere. He identifies several elements within the process of manifestation of a sense of place, involving the sensuous anticipation of an observer, a shared sense of place during the observation experience, and the unexpected effects of the environment that disrupt the observer's expectations (Filippov, 2008: 255–258). This approach is relevant as it emphasizes the changeable nature of a sense of atmosphere and enables its different interpretations by different actors.

ness,” or the intangible dimension of a Russian diasporic home that both reveals and constitutes the cultural identity of the inhabitants. In other words, my argument is that an atmosphere of “Russianness” at home is linked to migrants’ cultural identities that are manifested through both the material and sensory environment of the domestic space.

Although the study focused on exploring both tangible and intangible dimensions of diasporic homes from the perspective of the research participants, it is important that the role and impact of the researcher (a home visitor) in producing and experiencing the atmospheres of “Russianness” is acknowledged. As was established in the previous sections, atmosphere has a practiced/dynamic nature, which means that it is continuously produced and reproduced. Beyond this, the interview situation creates conditions in which the atmosphere could be co-produced, or shared by the participant and the researcher alike. In the following paragraphs, I will further discuss the connection between the sensory response to place and the objects and atmosphere of a Russian home. I will also reflect upon what the act of researching domestic spaces brings to the interview encounter, and the researcher’s ability to sense and interpret the atmospheric dimension of a place as Russian or not.

My first example continues the argument of the importance of an emotional investment in the objects and place for the creation of a home atmosphere. Thus, in conducting home-based interviews for my research on Russianness and domesticity, I noticed that participants referred to their senses and emotions to describe and explain their possessions and homes. The situation of investing home possessions with emotions and feelings has been described by other researchers of “home,” including Pink’s notion of the “sensory home” (2009), or Marcoux with that of “mnemonic objects” (2001), among others. However, my argument here is that the presence of objects that stimulates a strong emotional response from their owners also reveals and simulates ethnic atmospheres. Thus, in regard to communities “on the move,” one can see how objects that are linked to past memories and experiences, or that remind one of a certain historical or cultural context could, at least potentially, have a stronger effect or else be more visible in the house. To illustrate this point, I will refer to my own personal experience of visiting my grandmother’s home in a small village in Russia’s Altai region for the first time in ten years. I consider this experience relevant for the purposes of this article for several reasons. The home I stayed at and experienced as a guest represented a “home in movement,” or in flux. The objects and their location reflected the relationships between different contexts and family members. Although the house and many of the objects were familiar to me, I experienced it as a guest due to its natural transformation as a result of transformed family ties. Some of the items had belonged to my parents, while others I remembered from my childhood. The layout of the rooms had changed so that the house looked only somewhat familiar. In this sense, the objects had migrated, both metaphorically and literally. I could see that the small sofa I slept on as a child for at least ten years had found its way into the handmade village bathhouse to serve as a futon. The lights from one of the homes I had lived in with my parents had been moved to my grandmother’s kitchen. There was a familiar kitchen set among the furniture which I remember my parents buy-

ing and, of course, the old TV set was the second color TV owned by the family. In other words, the objects and their meanings were imprinted on my personal biography and inscribed into my understanding of my self. When I saw the objects, I recognized different facts from my and my family's biography, moments in the history of the country, and of the area in which my grandmother lived. The bonds, or "affinities" (Chevalier, 1999), were re-established with the items and revealed themselves through my memories. The very same affinities would enable me to recognize similar objects within private displays at other people's homes, or within various public displays. For me, the coffee cups with classical motifs or particular polka-dot tea bowls would stand out as "Russian" in a shop, restaurant, museum, or somebody's home, not least because of my own experience of owning or using similar objects in the past.

To continue the discussion, it is important to acknowledge that no analysis can fail to take class into account. Therefore, class and class-related notions of taste have been integrated into my research. As the auto-ethnographic example above shows, the material aspects of Russianness reveal not only individual, but also social and cultural dimensions as to what and how certain objects were employed, and the relation of these practices to the status of the owner. The very access to the physical space of home (the ability to rent or own), the legality of migrant status, and the occupation of home-dwellers shaped their potential "expertise" in how to use cultural codes and symbols of Russianness. In the same way, my ability to judge whether I enjoyed the materiality of a space or recognized specific practices as Russian revealed my own constructions of "nativeness" and "otherness." As a result, I had to continuously reflect on my positioning within the group, and how this reflecting affected the collected data (what was being shown to me and what was being seen by me?) (Author, 2014). As a Soviet/Russian-born researcher, I shared a number of cultural codes with my participants which I believe both helped and hindered me in recognizing certain characteristics of home-making strategies. For instance, some symbolic cultural references were more recognizable to me, such as souvenirs from the Soviet era, or crafts from a particular town, or music, literature, art, or other décor that was on display, as well as intangible dimensions such as smells, tastes, and "things that look Russian." This diary note from one of my research visits illustrates this process: "I still remember how strong my impression was . . . When I first visited the house, I could not believe that we were in England; even the wallpaper looked Russian to me, although Olga said that she had bought it in the UK."

Clearly, my perception of Russianness was somewhat predefined and influenced by my social background and class, and by the sense and anticipation of a discovery common to all researchers. The permission to visit the home and share it with me at least implied established mutual trust and recognition. As was shown above, my own personal biography formed my preferences and notions of "special" and/or "Russian" objects. Some of them were simply more familiar to me than others. However, in the same way, participants expressed a variety of presumptions about Russianness as well. To some, it meant the presence of particular folk items in the house ("I don't have any *matrioshkas*"), to others, it was the presence of art objects of Russian origin, but there were those

who did not link it to a material culture at all, but to the social experiences of “home” (gatherings with friends and family, celebrating Russian holidays, etc.). As a result, some home visits presented me with objects and practices that I did not anticipate, while others complemented existing descriptions. In this latter situation, a deeper understanding of atmosphere was not specifically related to how well aligned my and my participants’ perceptions of home were, but rather to how well I was able to recognize different types of relationship that each subject develops with and for that place. Is having a Russian *samovar* an expected diasporic practice? Should there be Russian products in the fridge? Should I expect to be offered to wear slippers at home? Should we conduct the interview in the kitchen or in the living room? Should the home be warm? Will there be many books in Russian on display?

I found a similar argument in Filippov’s *Sociology of Space* (2008), where he states that it is only normal what an observer considers as familiar and close may or may not be a view shared by the participant. In Filippov’s words, “my atmosphere and his/her atmosphere can or cannot be the same” (Filippov, 2008: 208). In other words, what I think is warm, cozy, and welcoming will not necessarily be considered so by someone else, but by comparing our attitudes and sense of place, one can enrich the sociological understanding of place and space. Hence, any attitude and relationship with place that is relevant to a particular research work is valid and important, and thus should be taken into account (Ibid.: 255).

Apart from attempting to grasp the “home” atmosphere empirically, the examples presented also highlight another very important issue related to the construction and presentation of taste. If atmosphere is linked to objects and to the ways these objects are used by their owners (i.e., home-making in a broad sense), it means that it also reveals distinctions in the perceptions and reassurances as to who and what people are or would like to be, and who or what people are not or would not like to be. Olesen shows it very well by emphasizing how normative constructions of domesticity among middle-class white American women informed their choices of ethnic objects, thus both reflecting and constructing the notions of Otherness and class-related taste (Olesen, 2010: 29). Another issue that logically follows is that the role of the researcher as observer and interpreter of domestic qualities is equally important as to how the interpretation of domestic atmosphere in the research situation contributes to the further construction of normative taste and “otherness.” The relational and constructed nature of the concept of “home” means that perceptions of place can vary for different users of that place, and are certainly informed by other characteristics such as class, gender, and age that may or may not match in a particular interview situation. In this sense, the researcher anticipates and constructs the “otherness” of place in the same way as the participants try to present themselves and their homes to the researcher. Hence, the differences in judgements and responses to a place do not mean that one is more correct than the other, but rather that our social determinants come into play. Defining “home” as a fluid and changeable concept rejects the stability of the definition and, in some way, makes the home disappear (as it is constantly changing). However, this also means that we can shift the focus to practiced dimensions

and sensory/atmospheric characteristics, and by this, achieve a more subtle and less essentialist understanding of how people perceive and use their place of living.

Conclusion

In this article, I discuss how the process of researching ethnic home cultures can be analyzed as a process where both the participants and the researcher contribute to and co-produce the knowledge of the tangible and intangible dimensions of homemaking. The advantage of the presented approach lies in the possibility of linking different social and cultural contexts, and how taking the contribution of researcher(s) and participant(s) into account helps explain both the individual and cultural experiences of different generations of migrants.

“Atmosphere,” “spirit,” or “flavor” were often the keys to my participants’ understanding of the level of settlement in their home in Britain, as well as their level of identification with Russian culture. It was evident that atmosphere was not merely about the quality of objects, but also about the people who invested these objects with meaning. Additionally, with further reading and reflection, I emphasized the role of the researcher in the process of the creation of atmosphere and the way s/he can recognize and decode different characteristics of place as Russian or non-Russian.

The chosen way of conceptualizing the domestic “atmosphere” enables researchers to analyze the interview process as a negotiation of different types of knowledge, which in the end, helps us achieve an understanding of cultural identity and a sense of nation-ness from a different, non-trivial angle. In this way, by reflecting on my own perceptions of homes and objects and combining the researcher’s and the migrant’s perspective, I aimed to show how the position of the researcher continuously expands and reshapes before, during, and after the study. The interaction with these places reveals the objects’ biographies, brings them to life, awakens them, and puts them into a logical sequence for both for the researcher and the participants. These revealed stories of the objects give meanings to experiences, and thus become part of the atmosphere. By visiting these homes, the researcher lives in the space—even if only temporarily—simultaneously with the researched.

Acknowledgements

An earlier version of this article was presented at the Atmospheres Conference held at the University of Manchester in 2015. I thank my fellow panelists and audience members for their useful questions and suggestions on the article material. I am grateful to A. Salem and to A. Filippov for their insightful comments and support. I also thank the anonymous journal reviewer for extremely helpful feedback.

References

- Anderson B. (1983) *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Benjamin W. (2008) *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*, London: Penguin.
- Bohme G. (1993) Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics. *Thesis Eleven*, vol. 36, pp. 113–126.
- Blunt A. (2005) Cultural Geography: Cultural Geographies of Home. *Progress in Human Geography*, vol. 29, no 4, pp. 505–515.
- Chevalier S. (1999) The French Two-Home Project: Materialization of Family Identity. *At Home: An Anthropology of Domestic Space* (ed. I. Cieraad), Syracuse: Syracuse University Press, pp. 83–94.
- Filippov A. (2008) *Sotsiologiya prostranstva* [Sociology of Space], Saint Petersburg: Vladimir Dahl.
- Gurova O. (forthcoming) Political Consumerism in Russia after 2011. *Cultural Mechanisms of Political Protest in Russia* (eds. E. Etkind, B. Beumers, S. Turoma, O. Gurova), London: Routledge.
- Hanks P. (ed) (1979) *Collins English Dictionary*, Sydney: William Collins Sons & Co.
- Heidegger M. (1993) Building—Dwelling—Thinking. *Basic Writings* (ed. D. F. Krell), London: Routledge, pp. 343–364.
- Hurdley R. (2013) *Home, Materiality, Memory and Belonging: Keeping Culture*, London: Palgrave Macmillan.
- Marcoux J.-S. (2001) The Refurbishment of Memory. *Home Possessions: Material Culture Behind Closed Doors* (ed. D. Miller), Oxford: Berg, pp. 69–86.
- Mason J. (1989) Reconstructing the Public and the Private. *Home and Family: Creating the Domestic Sphere* (eds. G. Allan, G. Crow), Basingstoke: Macmillan, pp. 102–121.
- Mehta R., Belk R. W. (1991) Artifacts, Identity, and Transition: Favourite Possessions of Indians and Indian Immigrants to the United States. *Journal of Consumer Research*, vol. 17, no 4, pp. 398–411.
- Miller D. (2008) Migration, Material Culture and Tragedy: Four Moments in Caribbean Migration. *Mobilities*, vol. 3, no 3, pp. 397–413.
- Miller D. (2010) *Stuff*, Cambridge: Polity.
- Olesen B. B. (2010) Ethnic Objects in Domestic Interiors: Space, Atmosphere and the Making of Home. *Home Cultures*, vol. 7, no 1, pp. 25–41.
- Pahl K. (2012) Every Object Tells a Story. *Home Cultures*, vol. 9, no 3, pp. 303–327.
- Pechurina A. (2011) Russian Dolls, Icons, and Pushkin: Practicing Cultural Identity Through Material Possessions in Immigration. *Laboratorium*, vol. 3, no 3, pp. 97–117.
- Pechurina A. (2014) Positionality and Ethics in the Qualitative Research of Migrants' Homes. *Sociological Research Online*, vol. 19, no 1. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/19/1/4.html> (accessed 23 May 2016).

- Pechurina A. (2015) *Material Cultures, Migrations, and Identities: What the Eye Cannot See*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Pennartz P. J. J. (1986) Atmosphere at Home: A Qualitative Approach. *Journal of Environmental Psychology*, vol. 6, no 2, pp. 135–153.
- Petridou E. (2001) The Taste of Home. *Home Possessions: Material Culture Behind Closed Doors* (ed. D. Miller), Oxford: Berg, pp. 87–104.
- Pink S. (2004) *Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life*, Oxford: Berg.
- Pink S. (2006) *The Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses*, London: Routledge.
- Pink S. (2009) *Doing Sensory Ethnography*, London: Sage.
- Pink S. (2012) Domestic Time in the Sensory Home: The Textures and Rhythms of Knowing Practice, Memory and Imagination. *Time, Media and Modernity* (ed. E. Keightley), London: Palgrave Macmillan, pp. 184–200.
- Rapport N., Dawson A. (eds.) (1998) *Migrants of Identity: Perceptions of Home in a World of Movement*, Oxford: Berg.
- Rose G. (2012) *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*, London: Sage.
- Sabonis-Chafee T. (1999) Communism as Kitsch: Soviet symbols in Post-Soviet Society. *Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev* (ed. A. M. Barker), Durham: Duke University Press.
- Savas O. (2014) Taste Diaspora: The Aesthetic and Material Practice of Belonging. *Journal of Material Culture*, vol. 19, no 2, pp. 185–208.
- Sigona N., Gamblen A., Liberatore G., Neveu Kringelbach H. (eds.) (2015) *Diasporas Reimagined: Spaces, Practices and Belonging*, Oxford: University of Oxford.
- Smart S. (2011) Ways of Knowing: Crossing Species Boundaries. *Methodological Innovation Online*, vol. 6, no 3, pp. 27–38.
- Svasek M. (ed.) (2012) *Moving Subjects, Moving Objects: Migrant Art, Artefacts and Emotional Agency*, Oxford: Berghahn.
- Tolia-Kelly D. P. (2010) *Landscape, Race and Memory: Material Ecologies of Citizenship*, London: Routledge.
- Woodward S. (2015) Hidden Lives of Dormant Things: Cupboards, Lofts and Shelves. *Intimacies: Critical Consumption and Diverse Economies* (eds. E. Casey, Y. Taylor), London: Palgrave Macmillan, pp. 216–231.

Теоретические и методологические вопросы в изучении и определении русского дома и его атмосферы в контексте миграции

Анна Печурина

Преподаватель социологии, Университет Лидс Беккетт

Адрес: City Campus, Calverley Building, Room 914, Leeds, LS1 3HE

E-mail: a.pechurina@leedsbeckett.ac.uk

В статье рассматривается связь между материальными и чувственными характеристиками пространства дома на примере исследования домов русских мигрантов в Великобритании, дополненных наблюдениями и саморефлексией автора статьи. В частности, особое внимание уделяется атмосфере дома и вопросу насколько ее определение, создание и поддержание связано с этничностью и культурной идентичностью респондентов/хозяев дома и исследователя, их разделяемыми или отличными представлениями о доме и предметах его символизирующих. Совокупность материальных и чувственных характеристик дома, которые способствуют возникновению так называемого чувства дома определяется в статье как «чувство русскости». Важно отметить, что это чувство может возникнуть не только у хозяев дома, но и у временных гостей, которые интуитивно или осознанно распознают значения предметов и элементов декора как часть русского культурного кода. Ситуация интервью одновременно помогает и ограничивает возможность выявления неочевидных значений и описаний предметов в доме и тем самым вносит двоякий вклад в определение домашней атмосферы. В статье рассматриваются примеры, показывающие связь между материальными и чувственными измерениями культурной идентичности мигрантов и их домов и насколько процессы и практики по поддержанию дома создают особый тип «диаспоральной» атмосферы. Статья следует принципу совмещения различных способов изучения и описания предмета социологического наблюдения, подчеркивая преимущества креативного подхода, при котором чувственные оценки как респондентов, так и наблюдателя являются значимыми. Такая стратегия позволяет достичь более критичную и нетривиальную оценку теоретических концепций и исследовательских ситуаций, описанных в статье.

Ключевые слова: домашнее пространство, атмосфера, материальная культура, миграция, диаспора, русскость

«Вместе мы можем оставить коррупцию в прошлом»: стратегии и оппозиции антикоррупционного дискурса*

Марина Макарова

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии
Удмуртского государственного университета
Адрес: ул. Университетская, д. 1, г. Ижевск, Российская Федерация 426034
E-mail: makmar11@mail.ru

В статье рассматриваются способы реализации основных стратегий антикоррупционного дискурса, выявленных с помощью критического дискурс-анализа. В качестве объекта анализа выбраны тексты международных антикоррупционных организаций, главным образом Transparency International. Интертекстуальность и интердискурсивность антикоррупционного дискурса демонстрируют не только все современные тенденции, присущие дискурсу позднего капитализма, но и способствуют формированию нового типа дискурса. Антикоррупционный дискурс представляет собой разновидность неолиберального дискурса, направленного на распространение демократических режимов и принципов свободного рынка на глобальном уровне. Референциальные и предикационные стратегии показывают, что согласно антикоррупционному дискурсу гражданское общество берет на себя лидерскую функцию в борьбе с коррупцией. Аргументационные стратегии и стратегии легитимации демонстрируют, для чего необходимо бороться с коррупцией и как это сделать наиболее эффективно. Топик (основная тема) дискурса отражает характеристики антикоррупционизма, которые образуются по принципу «зеркального ответа»: чтобы борьба с коррупцией была действенной, она должна обладать теми же характеристиками. Другой вид оппозиций включает прямое противопоставление коррупции и антикоррупционизма, выступающих репрезентацией «положительного представления себя (гражданского общества) и отрицательного представления других (коррупции и коррупционеров)».

Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, международные организации, антикоррупционный дискурс, стратегии, критический дискурс-анализ, топик

Антикоррупционное движение приобрело глобальный характер прежде всего в связи с деятельностью международных антикоррупционных организаций, Всемирного банка, Transparency International (TI), Европейской комиссии. В каждой стране активно развивается антикоррупционное законодательство и действует гражданское движение против коррупции. Зародившись в начале 1990-х, антикоррупционное общественное движение во главе с Transparency International активно

© Макарова М. Н., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-42-65

* Статья выполнена в рамках международного исследовательского гранта DAAD. German Academic Exchange service. Bilateral Exchange of Academics 2015 (50015739). Civil society involvement as a tool of anticorruption policy in EU countries (case of Germany).

распространяет идеи противодействия коррупции по всему миру. Отражением и одновременно способом распространения этих идей является антикоррупционный дискурс, представленный в текстах антикоррупционных организаций, выступлениях их лидеров, в материалах веб-сайтов и в различного рода информационных ресурсах, призванных формировать антикоррупционное сознание и учить правильно бороться с коррупцией. Анализ языка этих документов, способов репрезентации ценностей антикоррупционного сообщества позволяет понять, каким образом позиционируются различные субъекты и институты, какие принципы, механизмы и инструменты использует антикоррупционное движение в своей борьбе и какое знание предлагает обществу.

Теоретические предпосылки критического дискурс-анализа (КДА) содержатся в работах М. Фуко, но наиболее развернутые теория и практика этого типа анализа представлены в работах Н. Фейркло, Р. Водак и Т. ван Дейка (Водак, 2011; Wodak, 1995, 2011; Fairclough, 1992, 2001, 2011; van Dijk, 2009, 2001). Дальнейшее развитие их концепции получили в трудах М. Кросравника, К. Харта и др. (Hart, 2010; Krosravnik, 2013). Метод КДА помогает рассмотреть антикоррупционный дискурс с точки зрения репрезентации основных субъектов и отношений власти между ними и понять, каким образом аргументируется и легитимизируется деятельность антикоррупционных организаций. Для изучения антикоррупционных дискурсов многие авторы используют критические методы, которые демонстрируют, что любая критика существующей власти, любые протестные настроения формируют новую систему власти. В частности, примеры такого анализа представлены в статьях С. Сампсона (Sampson, 2012; Sampson, 2010), писавшего об «антикоррупционной индустрии», а также С. Андерссона, М. Буковански, А. Гебель, Б. Кайсиу, Г. Мальте, Дж. Родена, П. Хейвуда и др. (Gebel, 2012; Gephart, 2009; Kajsui, 2014; Krastev, 2001; Bukovansky, 2002). Антикоррупционный дискурс показан ими в тесной связи с дискурсом модернизации и неолиберализма, направленным на культивирование западных, «проамериканских» ценностей по отношению к странам третьего мира. Однако вопрос о существовании антикоррупционного дискурса, о его общих лингвосоциальных характеристиках, а также способах репрезентации основных субъектов антикоррупционного «поля битвы» до сих пор остается малоизученным.

Основным методом нашего исследования стал КДА, объектами которого выступили 32 документа, включающие следующие типы текстов:

- 1) Материалы веб-сайтов, информационные буклеты, брошюры, презентационные материалы общественных организаций, действующих на территории Германии, деятельность которых в той или иной степени связана с антикоррупцией, в частности Transparency International, Pro honore, DZI, Open Knowledge Foundation, EMS, Brot für die Welt, MEZIS.

- 2) Выступления лидеров организаций: программные выступления и статьи П. Эйгена, основателя Transparency International, и Р. ван Брекховена, руководителя международной общественной организации ICFO (International Committee on

Fundraising Organizations), предназначенные в основном для специализированной публики — топ-менеджеров и представителей органов власти.

3) Отчеты о деятельности организаций, содержащие результаты деятельности организации за определенный период, в частности отчеты Transparency International и Brot für die Welt.

4) Информационные материалы, направленные на приобретение знаний и умений в сфере антикоррупционной деятельности. Речь идет о документах Transparency International, которая разработала множество учебных пособий, содержащих основные антикоррупционные инструменты (anticorruption tools) и лучшие практики их применения в различных странах.

Критический дискурс-анализ как методология анализа институционального дискурса

В настоящее время дискурс-анализ приобрел форму междисциплинарного метода, опирающегося на результаты исследований разных наук. Существует множество определений дискурса в зависимости от используемого подхода (когнитивного, социолингвистического, прагматического, психологического и т. д.). Для реализации целей исследования мы будем использовать понимание дискурса, в основе которого лежит взаимосвязь с социальными практиками и социальными институтами.

Существенной в исследовании дискурса стала ориентация на когнитивные и социальные процессы. Дискурс создается в определенном смысловом поле и призван передавать определенные смыслы, нацелен на коммуникативное действие в особой языковой среде. Многообразие дискурсов вызвано тем, что языковые практики конструируются, как правило, для различных целей, аудиторий, ситуаций, происходят в конкретной социальной среде. Как пишут М. В. Йоргенсен и Л. Дж. Филлипс, язык — это не просто канал передачи информации о простых явлениях, фактах или поведении, а механизм, который конструирует социальный мир (Йоргенсен, Филлипс, 2008: 30–31).

Суждение Н. Фейркло в этом отношении еще более радикально, поскольку он определяет дискурс как использование языка в качестве формы социальной практики. Дискурс в его понимании представляется формой действия, посредством которого люди взаимодействуют с окружающим их миром и друг с другом, а также как форма репрезентации (Fairclough, 1992: 63). Эти два компонента являются, на наш взгляд, ключевыми и должны быть взяты за основу дальнейшего анализа.

Ван Дейк определяет КДА как тип дискурс-аналитического исследования, которое преимущественно направлено на изучение способов использования власти, доминирования и неравенства, представленные в тексте и выраженные в социально-политическом контексте (van Dijk, 2001: 352). Р. Водак дает следующее определение: «Критическая лингвистика анализирует как скрытые, так и прозрачные структуры отношений доминирования, дискриминации, власти и контроля, пред-

ставленные в языке. Другими словами, цель КДА — критически исследовать социальное неравенство как отраженное, обозначенное, конституируемое, легитимизированное и т. д. посредством использования языка» (Водак, 2011: 288).

Формирование глобального антикоррупционного проекта на международном уровне стало актуальным после эры холодной войны в связи с развитием международных связей, формированием международных организаций и союзов, в первую очередь в экономической сфере, развитием международных корпораций, совместных предприятий. Основным фактором расцвета антикоррупционной индустрии стало усиление экономических связей Запада, прежде всего США и развитых экономик Западной Европы, со странами третьего мира, коррупция которых имела эндемический характер. Взятничество и нецелевое использование средств на международном уровне существенно подрывали западную экономику и мешали ее активному продвижению в мире.

Антикоррупционный дискурс представляет собой систему, в которой существующие антикоррупционные практики находят свое обоснование, легитимизацию и воспроизводство. Субъектами антикоррупционного дискурса выступают как представители власти, выстраивающие антикоррупционное законодательство на глобальном, национальном и локальном уровнях, так и широкая общественность, представители бизнеса и т. д. На наш взгляд, главным субъектом антикоррупционного дискурса является гражданское общество, то есть антикоррупционные общественные организации, лидером среди которых на глобальной арене является Transparency International, созданная в 1993 году и имеющая филиалы в более чем 100 странах. Ряд исследований применили опыт КДА по отношению к антикоррупционному дискурсу. Учитывая рассмотрение особенностей КДА, представленное в трудах различных исследователей, и те тенденции, которые в нем выделяет Фейркло, попытаемся обосновать возможность применения КДА к антикоррупционному дискурсу (Gebel, 2012; Gephart, 2009; Kajsiu, 2014; Krastev, 2001).

Первая особенность метода КДА состоит в том, что он вращается вокруг социальных проблем, которые актуализируются и интерпретируются. Безусловно, коррупция является сегодня ведущей темой не только в политическом и экономическом дискурсе. Так, П. Эйген подчеркивает, что коррупция не только угрожает международным экономическим отношениям между странами, но и способствует развитию бедности, разрушает национальное богатство, сводит на нет международные и национальные усилия по реализации социальных проектов, включая социальные сервисы, защиту окружающей среды, образование и т. д., более того, угрожает миру и безопасности как на национальном уровне, так и во всем мире (Eigen, 2005: 73–77). Формирование образа врага в лице коррумпированной системы в целом и ее основных субъектов — главная особенность антикоррупционного дискурса, которая должна быть подвергнута критическому анализу.

Другой важной чертой метода КДА является его нацеленность на изучение отношений неравенства и власти. На первый взгляд кажется, что в борьбе с кор-

рупцией «все равны» и все должны мобилизовать усилия в этом направлении — государство, экономика, общество. Однако на этом поле имеются основные и второстепенные игроки. Ведущая роль принадлежит международным антикоррупционным организациям, которые и формируют антикоррупционный дискурс. А. Гебель показывает, каким образом концепция гегемонии может быть применена к анализу дискурса международных антикоррупционных организаций Всемирного банка, ООН и Transparency International. Она приходит к выводу, что дискурс международных антикоррупционных организаций репрезентирует неолиберальный проект и обладает всеми признаками отношений гегемонии. В частности, позиционирование гражданского общества как обладающего знаниями о коррупции и распространяющего его по всему миру уже является признаком гегемонии (Gebel, 2012: 68). Более того, эти организации обладают ресурсом измерения коррупции и его оценки, например, разработанным Transparency International всемирно известным индексом восприятия коррупции, который многие авторы также называют «инструментом контроля и доминирования» (Gephart, 2009: 14). В деятельности антикоррупционных организаций можно обнаружить многообразные формы отношений власти, неравенства, как, например, отношения между антикоррупционерами и их последователями, локальный и региональный уровни. Сложное и напряженное «равновесие» в отношениях между дискурсивными практиками различных групп и классов, о котором писал Н. Фейркло, наблюдается и в отношениях гражданского общества и государства в процессе реализации инструментов антикоррупционной политики.

Анализ антикоррупционного дискурса позволяет не только сконцентрироваться на отношениях неравенства и власти. В современных дискурсах отражены разнонаправленные социальные связи и отношения, которые трудно однозначно оценить как вертикальную иерархию, или отношения власти — подчинения, манипулирования и т. д. Поскольку в антикоррупционной политике участвует множество субъектов, то отношения между ними тоже многообразны, и это отражается и воспроизводится в дискурсе. Наличие институционально организованных акторов — коррупционеров, антикоррупционеров различного уровня и характера, последователей, рядовых граждан, представителей власти и бизнеса с присущими им социальными ролями также делает антикоррупционный дискурс предметом КДА.

Следует сказать и об идеологии, которая необходима представителям гражданского общества для эффективной борьбы с коррупцией. Каждая организация, так или иначе занимающаяся этой борьбой, формирует систему знания, обосновывающего ее деятельность. Например, основные идеологические послышки Transparency International содержатся как в программных речах основателя организации П. Эйгена, так и в различных пособиях, разработанных экспертами этой организации, представляющих собой обоснование и методические аспекты антикоррупционной практики.

Таким образом, антикоррупционный дискурс может выступать в качестве объекта критического дискурс-анализа, поскольку обладает основными признаками, которым должен, по мнению исследователей, соответствовать объект КДА.

Мы будем следовать логике метода критического дискурс-анализа, используемой Р. Водак, которая является основоположником так называемого дискурс-исторического подхода к реализации данного метода. В качестве первого этапа анализа дискурса она предлагает обоснование его целостности, или, иначе говоря, наличия дискурса как такового. В основе анализа на этом этапе лежит выявление «интертекстуальных и интердискурсивных отношений между высказываниями, текстами, жанрами и дискурсами» (Wodak, 2011: 48).

Методология: реализация стратегий в дискурсе

Важное направление в КДА — реализация стратегий дискурса. Между тем они могут использоваться для разных целей и, соответственно, должны иметь определенную взаимосвязь и логику, чтобы в совокупности раскрыть логику дискурса, ту картину мира, которую он представляет, что в КДА равнозначно «позитивной презентации себя и негативной презентации других». *Стратегию* мы будем понимать как концептуальный проект действий, «практик, направленный и адаптированный на достижение политических, социальных или лингвистических целей» (Wodak, 2011: 49). Существует множество подходов к логике КДА, но, на наш взгляд, ключевым является подход, основанный на том, какие социальные акторы присутствуют в дискурсе, как они позиционируются, какова их деятельность и в каком социальном контексте она происходит (Brown, Yule, 1983: 130; Fairclough, 2001: 125). Поскольку антикоррупция — это вид социальной активности, этот подход представляется нам наиболее перспективным для анализа антикоррупционного дискурса. Методологически он представлен в понимании функций дискурса Фейркло. Дискурс формирует:

- социального субъекта или субъектов, социальную идентичность этих субъектов, их социальную позицию (self);
- социальные отношения между людьми и социальное поведение;
- определенную систему знаний, картины мира.

Это соотносится с тремя функциями языка — идентификационной, реляционной и идеациональной. Идентификационная функция относится к тем формам, посредством которых идентичность формируется в дискурсе, реляционная функция показывает, как устанавливаются и развиваются социальные отношения между участниками дискурса; идеациональная функция — способы, которыми текст репрезентирует мир, процессы, явления и отношения (Fairclough, 1992: 64). Подобная структура представлена в работе М. Кросравника (Krosravnik, 2013: 199), который выделяет три ведущих уровня анализа стратегий дискурса: акторы, действия и аргументация. Мы также решили использовать эти три уровня в своем анализе, выбрав для каждого из них определенные стратегии, которые могут встречаться в

текстах антикоррупционного дискурса. Это движение от субъекта к знанию соотносится со многими концепциями дискурс-анализа, в том числе с методом «восхождения к теории», концепцией ван Дейка и др. Воспользуемся типологией стратегий, предложенной Р. Водак и развитой в работах М. Кросравника.

Первый уровень стратегий показывает, какие социальные субъекты представлены (или не представлены) в тексте и какими качествами они наделяются. Для этого уровня очень важны *референтные стратегии* — то есть качества и характеристики, которыми наделяются субъекты. Сюда относят, в частности, презентацию основных акторов, их роли и их контекстуальные определения (van Dijk, 2009: 130).

По отношению к субъектам могут быть использованы и *предикационные стратегии*, то есть оценки, которыми наделяются субъекты, а также идентификация акторов с различными социальными группами, их социальный статус и роль в этих группах, пространственная и временная отнесенность, общие характеристики членов группы (категоризация членства), персонализация (обращение к конкретным представителям группы) (Wodak, 1995: 208).

В случае антикоррупционного дискурса основными акторами будут выступать антикоррупционные организации, власть и бизнес. Между ними могут появляться различные субъекты, в частности последователи антикоррупционеров — те, кто являются «клиентами» антикоррупционных организаций, волонтеры, население и т. д.

В поле «действия акторов» частично включаются *аргументационные стратегии*. Это, как пишет Водак, основание позитивных или негативных установок о субъектах. Они также входят в поле «знание», так как для оценок необходимо формирование определенной картины мира, и здесь особенно важны различные подходы к коррупции, ее причинам, факторам и носителям, разрабатываемые идеологами организаций. Этот раздел анализа позволяет ответить на вопросы «Почему?», «Для чего создается дискурс?», увидеть в нем те или иные скрытые, дискуссионные и вызывающие интерес аспекты (Wood, Kroger, 2000: 92).

Последняя группа стратегий, по мысли Водак, направлена на преувеличение — преуменьшение значимости, т. е. квалификацию эпистемологического статуса тех или иных утверждений путем усиления — ослабления иллокутивной силы высказывания (Wodak, 2011: 49). Мы будем называть их *стратегиями легитимизации*, используя термин М. Кросравника (Krosravnik, 2013: 199), поскольку легитимация включает в себя обоснование действий акторов и формирование моделей поведения, основанных на определенной картине мира. Именно на этом этапе вступают в силу отношения власти, выраженные в дискурсе, и появляется «позитивное определение себя и негативное — других».

Что может быть выявлено в результате анализа? Во-первых, логика дискурса, т. е. определенная взаимосвязь между субъектами, их поведением, в результате чего складывается определенная картина мира, возникает определенное социальное знание, которое, по сути, представляет собой социальный конструкт, концеп-

туализацию социального института, сферы социальной жизни и т. д. Этот тематический конструкт ван Дейка мы будем обозначать как «топик» — картину мира, представленную в стратегиях поведения, в оппозициях и в теме дискурса. На этом этапе важна когезия как взаимосвязь между акторами, их действиями, выраженная лингвистическими средствами в виде различного рода синтаксических и грамматических конструкций. Топики представляют собой взаимосвязанные пропозиции (суждения, высказывания), объединенные в одно смысловое целое (van Dijk, 2009: 185). В некоторых русскоязычных источниках их обозначают так же как «темы» дискурса (Макаров, 2003: 82-83).

На этом этапе важны стратегии аргументации, то есть способы, посредством которых субъекты доказывают необходимость определенной идеологии или определенных стратегий поведения, насколько доказательны утверждения этих субъектов и какие приемы они используют. Полученная модель анализа антикоррупционного дискурса выглядит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Модель анализа антикоррупционного дискурса

Функции языка	Функции дискурса	Компоненты дискурса	Стратегии
Идентификационная	Формирование социальной реальности	Социальные акторы	Референтные
Реляционная	Конституирование социальных отношений	Социальное поведение	Предикационные
Идеационная	Репрезентация картины мира	Социальное знание	Аргументация Легитимизация Топики

Антикоррупционный дискурс как продукт реконтекстуализации

Большинство организаций, тексты которых подверглись анализу, являются международными, соответственно, они действуют в глобальном информационном поле. Как указывает Н. Фейркло, современные выступления лидеров международных организаций, таких как Всемирный банк, ВТО, МВФ, и документы этих организаций представляют собой своеобразный «микст» дискурсов, причем достаточно сложно выделить, какой из дискурсов выходит на первый план. Так, например, анализируя выступления лидеров Всемирного банка и МВФ, он указывает, что в экономическом дискурсе появляются политические черты (Fairclough, 2001: 122).

Неолиберальные идеи свободного конкурентного рынка представлены в документах антикоррупционных организаций как фоновая ситуация, а также как механизм осуществления реформ. В частности, такой инструмент, как «Договор

о сотрудничестве» (Integrity Pact), разработанный и внедренный Transparency International в качестве инструмента контроля над процессами заключения госконтрактов и иных сделок между государственными, муниципальными структурами и частными компаниями, представлен в дискурсе как основанный на конкурентных механизмах и прозрачности, публичности имеющейся информации на разных этапах проведения сделок (Transparency International, 2013: 18). Маркетинговая и коммодификация современных дискурсов, по мысли Фейркло, приводят к тому, что многие элементы экономического дискурса могут включать в себя, например, элементы управленческого и рекламного дискурсов. В частности, Фейркло выделяет два ведущих дискурса, репрезентирующих международные организации, — дискурс экономического развития и политический дискурс (Fairclough, 2011).

Наиболее ярко антикоррупционные ценности отражаются в так называемых выступлениях лидеров организаций, в которых содержатся, в частности, «методология» антикоррупционной борьбы, ее программные идеи и принципы. «Соглашение об отказе от дачи и получения взяток, подписываемое всеми участниками большинства государственных контрактов, предназначено для освобождения свободного бизнеса от дилеммы получить взятку либо быть конкурентоспособным в процессе торгов» (Eigen, 2004: 18). Предоставление возможностей конкуренции, свободный рынок являются одними из условий борьбы с коррупцией и одновременно базовыми компонентами нелиберального дискурса. «Всемирная забота о повышении качества управления никогда не была столь высока», — пишет П. Эйген, демонстрируя, с одной стороны, глобальность антикоррупционного дискурса, а с другой — изменение взгляда на коррупцию и понимание необходимости глобализации самих форм борьбы с ней. «Настрой правительств и частного сектора стремительно меняется», — отметил он в выступлении на форуме, организованном Всемирным банком (Eigen, 2005: 74). Осознание необходимости борьбы с коррупцией с неизбежностью приравнивается к признанию ведущей роли гражданского общества и международных антикоррупционных организаций в этой сфере.

Проанализируем еще одну сентенцию, представленную в Отчете TI 2012 года. Она предваряется заголовком «Назад в 1993 год», то есть предполагается экскурс в тот период, когда организация Transparency International была основана. «В то время как коррупция способствует краже ресурсов у наиболее уязвимых людей во всем мире, даже разговоры о ней являются табу. Наступает время перемен. Несколько самоотверженных людей создают новую организацию с четким сообщением: коррупция должна и может быть остановлена. Так появилась Transparency International» (TI, 2012: 2). Сентенция содержит несколько программных утверждений, которые в той или иной форме представляют собой основные принципы антикоррупционного дискурса и позиционируются как элементы «общего» знания:

- Коррупция приводит к потере ресурсов.
- От коррупции страдают прежде всего наиболее социально уязвимые слои населения.

- Коррупция — социально опасное явление, борьба с ней и даже разговор о ней часто связаны с риском.
- В настоящее время происходят активные изменения, знаменующие осознание необходимости борьбы с коррупцией.
- Коррупция может и должна быть остановлена.
- Т1 сформировано, чтобы бороться с коррупцией.

Высказывание включает глаголы в настоящем времени, хотя речь идет о прошлом. Это создает впечатление непреложной истины. Субъекты, акторы остаются неизвестными, облакаются в некий ореол тайны. Интересен параллелизм фраз, предназначенный для воздействия на читателя как некая догма, которой нужно верить и следовать непреклонно. Между этими высказываниями существует не только временная, но и причинно-следственная, а также ассоциативная связь. Мы наблюдаем здесь явление когезии, то есть «отношения взаимосвязи, устанавливаемые в тексте, с целью связать его воедино» (Brown, Yule, 1983: 191). Однако ван Дейк подчеркивает, что эта взаимосвязь в тексте преследует функцию формирования ментальной модели и картины мира. Он использует термин «когерентность» для обозначения взаимозависимости из взаимосвязи высказываний, формирующей определенную картину мира. Можно утверждать, что приведенные высказывания когерентны, поскольку формируют картину мира, представляющую осознание коррупции как глобальной проблемы, как угрозу, с которой необходимо бороться силами международных общественных организаций.

Фейркло выделяет две основные тенденции формирования неолиберального дискурса — глобализация и новый экономический порядок. Важной чертой современного дискурса он считает репрезентацию социальных изменений. Новый экономический порядок и глобальная трансформация являются непреложными истинами и не подвергаются сомнению. Для иллюстрации этого принципа Фейркло использует высказывание М. Тэтчер «Нет альтернативы» («There is no alternative» — TINA). «Альтернативные пути организации международных отношений, например, в преодолении разницы между богатыми и бедными... исключаются из политических целей посредством этих репрезентаций» (Fairclough, 2001: 129). Принцип TINA прекрасно работает в отношении коррупции и способов борьбы с ней, в особенности это касается необходимости консолидации сил на глобальном уровне по борьбе с коррупцией и признания ведущей роли гражданского общества и, в частности, определенных НКО в этом процессе. Многие авторы находили взаимосвязь коррупционного дискурса с неолиберальным (Andersson, Heywood, 2009; Bukovansky, 2002; Gebel, 2012; Gephart, 2009; Kajsia, 2014).

Документы антикоррупционных организаций содержат основные компоненты неолиберального дискурса, выделенные Фейркло. В них провозглашается приход новой эры как неизбежные социальные изменения, прежде всего касающиеся осознания необходимости и важности борьбы с коррупцией. Изменения позиционируются так же как некая фоновая ситуация, в условиях которой происходит борьба с коррупцией — глобальные изменения и формирование новых

демократий и институтов свободного рынка как необходимых условий успешности антикоррупционной борьбы. Основные положения и высказывания относительно инструментов борьбы с коррупцией, ее субъектов и других особенностей, представляются как неоспоримые истины. Неолиберальный характер антикоррупционного дискурса проявляется и в его языковых особенностях, в частности в использовании настоящего времени и модальности долженствования, а также декларативного характера основных принципов антикоррупционной борьбы.

Субъекты антикоррупционного дискурса: референциальные стратегии

Первый тип стратегий — это стратегии референции, то есть способы, которыми основные субъекты показываются и оцениваются. К ним относятся стратегии самореференции: как антикоррупционные организации позиционируют себя и свои взаимоотношения с другими субъектами. Это можно назвать «мы-концепцией» дискурса, поскольку основное местоимение, которое присутствует в самоописании, — это «мы». «Мы одобряем и поддерживаем эти инициативы» (Eigen, 2004: 21). «Мы нуждаемся в изменении культуры...» (Open Knowledge Foundation, 2015). Тем не менее местоимение «мы» может иметь разное содержание, например, организации позиционируют себя как коллективный субъект: команда или сеть.

Главными субъектами антикоррупционной деятельности, организуемой гражданским обществом, или углами «антикоррупционного треугольника», являются сами антикоррупционные общественные организации (как лидеры антикоррупционного движения), правительства (власть, национальные государства) и бизнес (организации, компании). Если способы самоидентификации антикоррупционных организаций характеризуются общими тенденциями, то их взаимоотношения с другими субъектами на поле антикоррупционной борьбы несколько отличаются в зависимости от типа и функций организации. Посмотрим, как позиционируются органы власти в материалах этих организаций.

С одной стороны, национальные власти демонстрируются как слабые и неспособные самостоятельно справиться с коррупцией: «Правительства не могут в одиночку надеяться на победу над коррупцией» (Transparency International, 2000: 17). «Национальные правительства просто не имеют того охвата, который требуется для регулирования глобальной экономики» (Eigen, 2013: 1290).

Главная причина этого состоит в том, что государство само по себе — основной носитель проблемы коррупции. В документах организаций приводится масса примеров вовлеченности национальных правительств в коррупционные сделки. В первую очередь упоминаются наименее развитые страны Африки и Латинской Америки: «В апреле 2002 года суд выдвинул обвинения против бывшего президента Никарагуа Арнольдо Алемана и нескольких чиновников его правительства за мошенничество, хищение и ненадлежащее использование государственных средств в области телевидения» (Eigen, 2004: 3).

Другая немаловажная причина неспособности государства бороться с коррупцией самостоятельно — недостаточное внимание к гражданскому обществу: «Главный отсутствующий ингредиент — включение гражданского общества [в борьбу с коррупцией]» (Transparency International, 2000: 28).

Государство нуждается в помощи, в поддержке, в создании коалиций с гражданским обществом и частным сектором. В создании коалиций и состоит основной подход Transparency International. В этом отражается напряженное взаимодействие гражданского общества, государства и бизнеса, о котором говорит П. Эйген и которое является принципиально важным для успешности антикоррупционной политики: «Создание коалиций остается одним из ключевых принципов в нашей деятельности — оно требует также сложнейших балансирующих действий, которые TI и другие общественные организации осуществляют ежедневно: как сохранить достаточную дистанцию от политических и коммерческих лидеров и в то же время сотрудничать с ними для успешных изменений» (Transparency International, 2001: 3).

В этом напряженном взаимодействии общественные организации подчеркивают свою лидерскую функцию и особую роль гражданского общества в борьбе с коррупцией. Следует отметить, что доказательства подобной особой функции достаточно скудные. В частности, в документах показано, что и государства, и бизнес сами являются частями коррупционной системы, в то время как гражданское общество — независимым антикоррупционным агентом. «Правительства и частный сектор терпят неудачу в области контроля транснациональной коррупции. Это удается сделать благодаря активности гражданского общества, его способствующего изменениям негодования к коррупционным лидерам и институтам» (Eigen, 2004: 13). Лидирующая роль гражданского общества в документах и докладах Transparency International представлена как данность в виде пресуппозиций, как некое общее знание.

Стратегии аргументации: репрезентация коррупции в дискурсе

Коррупция требует немедленных глобальных решений, поэтому необходимо в начале выявить основные способы ее репрезентации в документах антикоррупционных организаций. Эту задачу берет на себя Transparency International, а многие другие организации уже ссылаются на данные ею определения и классификации коррупции.

Наиболее популярная метафора для изображения коррупции — «раковая опухоль», «рак», который распространяется с катастрофической скоростью (Transparency International, 2000: 11). Также коррупция наделяется признаками опасного скрытого врага, который «разрушает», «угрожает», «ударяет», «деформирует», оставляя за собой множество жертв по всему миру. «Нельзя назвать одну конкретную жертву коррупции. Как правило, все общество страдает от нее, особенно наиболее уязвимые представители... Бич коррупции создает барьеры для

позитивных изменений...» (Eigen, 2004: 2). Еще один аспект коррупции связан с ее моральным аспектом, разложением нравственных принципов и ценностей. «Коррупция как моральная проблема представлена так же, как „истинное зло“» (Transparency International, 2000: 1).

Очень важный момент в определении коррупции отмечен А. Гебель: «Все определения коррупции основываются на различии между публичной и частной сферами» (Gebel, 2012: 127). Это, утверждает она, ключевое различие, характерное для современных западных либеральных систем, восходящих еще к XVI–XVII вв., теорий естественного права и общественного договора, ограничивающих власть государства параллельно с развитием правовой мысли.

Другие предикации коррупции составляют несколько важнейших особенностей, которые необходимо выделить в качестве ключевых ее характеристик. Большинство характеристик представлены в документах TI, так как именно ей принадлежат наиболее развернутые определения коррупции и рассуждения о ее особенностях и последствиях в современном обществе.

1) Глобальный характер коррупции — осознание коррупции как всемирной, глобальной проблемы, которая не знает национальных границ и распространяется во всех странах.

2) Универсальный характер коррупции — она охватывает различные сферы и виды общества, уровни социального развития. Всеохватывающий характер коррупции неоднократно подчеркивается в различных документах TI. Коррупция проникает во все сферы общественной жизни и в разные культуры. «Вызов коррупции по-настоящему универсален» (Transparency International, 2001: 1).

3) Многообразие видов коррупции, представленных в антикоррупционных материалах организаций, прежде всего TI, на сайте которой содержатся учебные пособия, словарь, где подробно описаны основные виды и типы коррупции и подчеркивается множественность ее типов.

4) Опасность проблемы коррупции с точки зрения ее последствий и взаимосвязанности с другими социальными проблемами. В частности, коррупция угрожает развитию свободного рынка, приводит к потере ресурсов.

5) Коррупция часто носит системный характер, особенно в развивающихся странах, где считается нормальной и даже необходимой.

6) Коррупция носит постоянный характер и, несмотря на борьбу с ней, продолжает приобретать все более изощренные формы: «Коррупция в государственных органах власти продолжает процветать» (Transparency International, 2000: 9).

Приведенные характеристики необходимы для того, чтобы подчеркнуть, что коррупция — глобальный вызов современности наряду с терроризмом, бедностью, загрязнением окружающей среды, войнами и т. д. Этот смысл коррупции роднит антикоррупционный дискурс с политическими речами и документами других международных организаций (ООН, Всемирного банка) против терроризма, бедности, загрязнения окружающей среды, политических речей национальных лидеров, создающих образ врага и призывающих к немедленной коллективной

борьбе с ним. «Коррупция — один из величайших вызовов эпохи — вызов, который может и должен быть побежден» (Eigen, 2004: 15).

Коррупция угрожает стабильности и безопасности во всем мире. «Коррупция крадет жизненно важные ресурсы у наиболее уязвимых слоев населения и угрожает национальной стабильности и безопасности» (Transparency International, 2012: 25).

Другое важнейшее последствие коррупции — угроза демократии. «Коррупция представляет собой прямую угрозу демократическим институтам» (Eigen, 2004: 2).

Основная задача подобных утверждений — показать, что с коррупцией можно и нужно бороться. Если понимать коррупцию как продукт культуры, то, во-первых, возможность бороться с ней и мобилизация усилий для этой цели ставится под вопрос, а во-вторых, трудно подобрать более или менее универсальные инструменты для борьбы с ней. Между тем инструменты, предлагаемые ТИ, носят именно универсальный характер. Таким образом, самолегитимация международных антикоррупционных организаций требует подобного универсального подхода. Так, в отчете 2012 года указывается, что инструменты, предложенные ТИ, могут быть полезны и успешны для борьбы с коррупцией во всем мире.

С другой стороны, ТИ постоянно подчеркивает, что коррупция особенно характерна для развивающихся стран третьего мира — Азии, Африки, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, для диктаторских и тоталитарных режимов, а также для бедных стран. Во-первых, страны с «новыми демократиями», находящиеся в ситуации трансформации, формирования новой экономической и политической инфраструктуры, согласно идеологам ТИ, наиболее подвержены риску коррупции. Финансирование этих стран со стороны международных фондов и организаций, таких как Всемирный банк, ЕС и т. д., увеличивается, но в связи с коррупцией большая часть денег не доходит до цели: «Коррупция — наиважнейшая причина неудачи реформ, и поэтому еще большую опасность она представляет в развивающихся странах» (Eigen, Fisman, Githongo, 2008: 3)

Во-вторых, в развивающихся странах, как правило, наблюдаются недостаток политической воли правительств, отсутствие общественной поддержки (poor governance, failing governance), недостаточный уровень доверия к власти и проблемы с имплементацией основных антикоррупционных законов: «во многих странах внедрение реформ терпит неудачу», «общий недостаток общественного доверия» (Eigen, 2004: 2–3).

Легитимизация гражданского общества как субъекта борьбы с коррупцией и оппозиции антикоррупционного дискурса

Наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией, согласно антикоррупционному дискурсу, является организованное гражданское общество, действующее под руководством международных организаций (organized civil society). Именно глобальное управление антикоррупционными процессами силами антикоррупци-

онных общественных организаций, по мысли П. Эйгена, может спасти развивающиеся страны и все мировое сообщество от коррупции (Eigen, 2005: 73).

Необходимость нового глобального управления экономическими и политическими процессами как ответ на новые вызовы глобальных процессов — одна из основных черт неолиберального дискурса, о котором писал Фейркло. Ведущую роль международных антикоррупционных организаций подтверждают «высказывания о новой экономике, представленные категориально как авторитетные и бесспорные истины, как движение от того, что „есть“, к тому, что должно быть и что мы должны делать в ответ на это» (Fairclough, 2001: 131).

Организованное гражданское общество легитимизировано также указанием на поддержку широких слоев населения, которое не желает больше терпеть коррупционные правительства. Как отмечает Харт, конструирование принадлежности к группе может достигаться формированием позитивных эмоций по отношению к «своей» группе (in-group), желания принадлежать к ней, эффекта солидарности, связи, чувства безопасности и психологического комфорта от сознания общности с другими людьми, в особенности со «значимыми другими» (Hart, 2010: 60). Для создания подобной значимости международных организаций используются различные лингвистические приемы, например, антитеза, показывающая, что обычный человек может стать необычным, если будет бороться с коррупцией: «Обычные люди делают необычные вещи, когда встают против коррупции» (Transparency International, 2012: 49).

Рассмотрим вкратце основные инструменты и принципы деятельности анализируемых организаций. Поскольку коррупция глобальна, то и деятельность по борьбе с ней приобретает глобальный характер. Глобализация антикоррупционного дискурса, по мысли И. Крастева, связана с такими тенденциями, как конец холодной войны, развитие тенденций «надлежащего управления» (good governance), рост организованной преступности, усиление влияния глобального рынка и гражданского общества (Krastev, 2001). Однако глобальный характер антикоррупционной повестки дня не исключает национальный и локальный уровни — они все должны работать в комплексе: «Усиление гражданского общества предполагает строить коалиции против коррупции на глобальном, национальном и локальном уровнях» (Eigen, Fisman, Githongo, 2008: 4).

Антикоррупционные инструменты предлагают всеохватность как географическую (глобальный, национальный, локальный уровни), так и социальную («сверху вниз и снизу вверх»): «...мы работаем сверху вниз и снизу вверх, призывая мировых доноров к финансовой прозрачности и подотчетности, и работаем на низовом уровне для понимания и защиты сообществами своих прав» (Transparency International, 2012: 7).

Как коррупция, так и способы борьбы с ней имеют глобальный и универсальный характер, обладают свойствами системности и представлены в многообразных формах. Для того чтобы борьба с коррупцией была эффективной, она должна обладать теми же характеристиками. Подобную оппозицию можно назвать *зер-*

кальной. Это ответ на вызовы, которые предъявляет коррупция мировому обществу. «Ведущие финансовые организации характеризуются глобализованной коррупцией как приемлемым инструментом ведения бизнеса; борьба с коррупцией также должна быть глобализована» (Transparency International, 2000: 10).

Анализ антикоррупционного дискурса показывает также наличие прямой оппозиции между коррупцией и антикоррупционизмом. Подобные антитезы выступают репрезентацией «положительного представления себя (то есть антикоррупционизма и его субъектов) и отрицательного представления других (коррупции и коррупционеров)», являющихся ключевым аспектом в критическом дискурсе-анализе.

По отношению к коррупционерам часто используются слова с негативным оттенком типа «мертвые души», «предатели», «диктаторы», а по отношению к активистам антикоррупционного движения — выражения «выдающиеся, экстраординарные люди», «солдаты демократии», «чемпионы гражданского мужества» и т. д. Налицо также сопоставление коррупции с тоталитарными и диктаторскими режимами, нарушением прав человека, плановой экономикой, а антикоррупции — с демократией. «При тоталитарных режимах коррупция часто напрямую связана с нарушением прав человека» (Transparency International, 2000: 7). «Наши ключевые ценности — прозрачность, подотчетность, честность, солидарность, право и демократия» (Transparency International, 2015: 2). Не вызывает сомнений, что демократические режимы способствуют соблюдению прав человека, развитию честности, прозрачности и качественного управления.

Добиться открытости и прозрачности в принятии властных решений и построить «мосты доверия» между властью, бизнесом и обществом позволит лишь опора на «свободное и бдительное гражданское общество» (a free and vigilant civil society). Антикоррупционизм ассоциируется не только с демократией, но и с безопасностью и устойчивым развитием (security, sustainable world), в то время как коррупция — с отчуждением, войной и терроризмом: «Атмосфера отчаяния и отчуждения служит почвой для конфликта, войны и террора» (Eigen, 2004: 4).

Позитивно окрашенные предикации и референции относительно антикоррупционных субъектов и действий изобилуют метафорами, эпитетами и красочными сравнениями. Одним из популярных является метафоричное изображение отношений гражданского общества с государством и бизнесом как «магического треугольника»: («...», magic triangle“ of state, private sector and civil society») (Eigen, 2004: 23).

Антикоррупционеры строят «мосты доверия» (van Broekhoven, 2013: 175), как Давид, вступают в бой с Голиафом (Transparency International, 2000: 10), поскольку «раковая опухоль» коррупции (Ibid.: 13) продолжает разрастаться в мире, бросая эпохе все новые вызовы. Рассматривая действия, осуществляемые субъектами (коррупционерами и антикоррупционерами), а также соотносящиеся с понятиями «коррупция» и «борьба с коррупцией», следует в первую очередь отметить явно

бросающееся в глаза противопоставление деструктивных и конструктивных стратегий.

Действия коррупции и коррупционеров, как уже отмечалось, связаны с созданием препятствия для развития, с разрушением, разложением и порчей. Между тем действия гражданского общества, всего антикоррупционного движения связаны с конструктивными стратегиями, действиями, с силой и уверенностью. Подобные действия, как правило, осуществляются успешно и эффективно. Инструменты характеризуются такими свойствами, как «беспристрастность», «доверие» и «эффективность». По отношению к коррупционерам гражданское общество использует активные контролирующие и стимулирующие действия, такие как «занесение в черный список», «публичная огласка» (naming and shaming), «давление», «контроль». В соответствии с главным подходом международного антикоррупционного движения, связанным с формированием коалиций и выстраиванием «мостов доверия» между различными субъектами, в действиях антикоррупционеров часто обнаруживаются стратегии «коллективизации», объединения, интеграции: «Вместе мы можем оставить коррупцию в прошлом» (Transparency International, 2012: 14).

Другой немаловажный аспект — трансформирующая активность антикоррупционного движения. Во-первых, в антикоррупционном дискурсе просматривается антитеза старого и нового. «Наша уверенность сейчас сильнее, чем когда-либо» (Transparency International, 2000: 11); «Теперь мы проснулись» (Ibid.: 14); Лидер ISFO определяет политику информационной открытости как «new policy» (van Broekhoven, 2013: 163), а теоретики National Integrity System указывают, что наиболее сложная проблема, с которой сталкиваются лидеры антикоррупционного движения, — изменение ментальности людей (Transparency International, 2001: 24).

Изменения приходят постепенно, поскольку антикоррупционная стратегия предполагает долговременный подход. Фейркло, описывая особенности репрезентации трансформаций в неолиберальном дискурсе, называет это «drip-effect», т. е. постепенное, «капля за каплей», изменение ценностей, установок, поведения средствами массмедиа (Fairclough, 2001: 133). Антитезы, по Фейркло, служат важными признаками политического дискурса, который, однако, в результате реконтекстуализации смешивается с другими дискурсами, жанрами и стилями. Крайней формой противопоставлений, используемых в политическом и медиадискурсах, является моральное противопоставление добра и зла, обладающее наиболее мощной убеждающей силой. Не обошло подобное противопоставление и антикоррупционный дискурс. В нем постоянно подчеркивается, что коррупция — это моральная проблема, которая часто, особенно в высказываниях Эйгена, обозначается как «зло»: «Борьба с коррупцией является моральной, независимо от религий и типов обществ по всему миру» (Transparency International, 2000: 14). «Верхушечная коррупция — одно из зол...», «Зло коррупции растет...» (Eigen, 2004: 17).

Использование антитезы добра и зла можно проиллюстрировать также замечанием ван Брекховена, в котором организация бескорыстной помощи людям, осу-

ществляемая гражданским обществом, противопоставлена аморальной «покупке друзей» коррупционерами, «помогающими» людям за деньги. Сборник материалов Т1 указывает на «пришествие нового глобального просвещения», что наряду с использованием параллелизма роднит подобное высказывание с известными религиозными текстами: «Мы наблюдаем рассвет нового и глобального просвещения. Давайте работать на возрождение идей, которые породили наши демократии и сформировали наши правительства, за наше будущее, которое будет безопасным только путем стойкой приверженности этим же идеалам» (Transparency International, 2000: 13).

Множество других бинарных оппозиций, выделенных нами в антикоррупционных текстах, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оппозиции антикоррупционного дискурса

Коррупция (и ее аналоги)	Антикоррупционизм
диктаторство, тоталитаризм, автократические режимы	демократия, свобода самовыражения, плюрализм
война, конфликт, террор	мир, толерантность
материальная выгода	гражданское участие, общественная активность, социальный капитал
финансовый капитал	истина, честь
ложь	помощь людям
покупка друзей	устойчивый мир, основанный на доверии
нищета, безнадежность	открытое и честное правительство
авторитарные элиты	доверие, ясное взаимопонимание, прозрачность
дискредитация власти, недоверие народа к власти	

Как видим, коррупция и антикоррупционизм противопоставляются в различных ракурсах — политическом, экономическом, моральном. Задача подобных противопоставлений — подтвердить значимость и важность деятельности антикоррупционных организаций, их ведущую роль в борьбе с коррупцией, в достижении прозрачности различных социальных институтов. Понимание коррупции как крайне опасной, глобальной, универсальной социально значимой проблемы с неизбежностью требует столь же универсальных, всеохватывающих и действенных механизмов борьбы с ней. Многие авторы, обнаруживая проблему гегемонии в антикоррупционном дискурсе, указывают, что этот дискурс выступает одним из многочисленных западных международных проектов по формированию демократических институтов в развивающихся странах, навязывания западной рациональности и т. д.

Основные выводы

Антикоррупционный дискурс не только демонстрирует все современные тенденции, присущие дискурсам позднего капитализма, но и способствует формированию нового типа дискурса. Это помогает понять, что антикоррупционный дискурс представляет собой разновидность неolibерального дискурса, направленного на распространение демократических режимов и принципов свободного рынка на глобальном уровне.

Референциальные и предикационные стратегии показывают, что главными субъектами антикоррупционной деятельности, организуемой гражданским обществом, являются антикоррупционные общественные организации (как лидеры антикоррупционного движения), правительства (власть, национальные государства) и бизнес (организации, компании). Гражданское общество, согласно документам международных организаций, берет на себя лидерскую функцию в борьбе с коррупцией, что подчеркивается демонстрацией слабости государства и бизнеса в борьбе с коррупцией и их потребности в поддержке со стороны гражданского общества.

Аргументационные стратегии и стратегии легитимации демонстрируют, почему необходимо бороться с коррупцией и как это делать наиболее эффективно. Коррупция в дискурсе предстает как глобальное, универсальное, сложное и чрезвычайно опасное явление, которое носит системный характер, особенно в развивающихся странах. Она угрожает мировой экономике, безопасности и демократии. Для обоснования тезиса о том, что наиболее эффективный способ борьбы с коррупцией — это деятельность организованного гражданского общества, действующего под руководством международных организаций, подчеркивается, что государства и представители бизнес-сообщества не в состоянии самостоятельно бороться с коррупцией и осознают свою беспомощность, оказавшись во власти «порочного круга» и «дилеммы узника» (Eigen, 2004: 3).

Топик дискурса демонстрирует основные характеристики антикоррупционизма, которые образуются по принципу «зеркального ответа» — глобализм, универсальный характер, системный характер, множественность проявлений. Для того чтобы борьба с коррупцией была эффективной, она должна обладать теми же характеристиками. Зеркальность является ответом на вызовы, которые коррупция предъявляет мировому сообществу. Другой вид оппозиций включает прямое противопоставление коррупции и антикоррупционизма в использовании определенных слов и выражений, которые выступают репрезентацией положительного представления себя (то есть антикоррупционизма и его субъектов) и отрицательного представления других (коррупции и коррупционеров), являющихся ключевым аспектом в критическом дискурс-анализе.

Попытка анализа антикоррупционного дискурса в современной науке далеко не первая. Этот вид дискурса интересует исследователей, с одной стороны, в связи с актуальностью и опасностью самой проблемы коррупции во всем мире и разви-

тием «антикоррупционной индустрии» в ее многообразных дискурсивных проявлениях. С другой стороны, антикоррупционный дискурс демонстрирует общность с другими видами дискурса, которые становятся популярными в последнее время и часто используются для воздействия на общество, и призыва, мотивации к определенным действиям, а также формирования определенных ценностей. Такие дискурсы, как правило, формируются как ответ на глобальные проблемы — войны, терроризма, экологической угрозы и т. д.

Антикоррупционный дискурс подвергается критике и активно обсуждается в первую очередь в рамках критического дискурс-анализа и радикальных течений в социально-политических науках. Главный аргумент состоит в том, что антикоррупционный дискурс представляет собой попытку «поставить лицом к лицу развивающиеся и развитые страны» (Kajsiu, 2014: 41), создать концептуальную «карту мира» в терминах коррупции и заставить не только гражданское общество разных стран, но и правительства и бизнес этих стран действовать в соответствии с этой картой. Мы показали, что неолиберальный дискурс, разновидностью которого является антикоррупционный дискурс, формируется посредством определенных языковых средств, которые в рамках конкретных текстов объединяются в стратегии, помогающие формировать концептуальную схему, основанную на системе знаний, ценностей, схем поведения, обладающих благодаря этим стратегиям потрясающей убеждающей и конструирующей силой.

Литература

- Водак Р. (2011). Критическая лингвистика и критический анализ дискурса / Пер. с англ. В. И. Карасика // Политическая лингвистика. № 4(38). С. 287–291.
- Макаров М. Л. (2003). Основы теории дискурса. М.: Гнозис.
- Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Дж. (2008). Дискурс-анализ: теория и метод / Пер. с англ. А. А. Киселевой. Харьков: Гуманитарный центр.
- Andersson S., Heywood P. (2009). Anti-corruption as a Risk to Democracy: On the Unintended Consequences of International Anti-corruption Campaigns // de Sousa L. (ed.). Governments, NGOs and Anti-corruption: The New Integrity Warriors. New York: Routledge. P. 33–50.
- Brown G., Yule G. (1983). Discourse Analysis. London: Cambridge University Press.
- Bukovansky M. (2002). Corruption Is Bad: Normative Dimensions of the Anti-corruption Movement. Available at: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/40136/3/02-5.pdf> (accessed 16 June 2015).
- Eigen P. (2004). Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Organizations Strengthen Global Governance. Available at: <http://iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf> (accessed 16 June 2016).
- Eigen P. (2005). Transparency International: The Fight against Corruption // Kochendörfer-Lucius G., Pleskovic B. (eds.). Investment Climate, Growth, and Poverty. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. P. 73–76.

- Eigen P.* (2013). International Corruption: Organized Civil Society for Better Global Governance // *Social Research*. Vol. 80. № 4. P. 1287–1308.
- Eigen P., Fisman R., Githongo J.* (2008). Fighting Corruption in Developing Countries. Available at: <http://hdl.handle.net/10419/79084> (accessed 16 June 2015).
- Fairclough N.* (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough N.* (2001). Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research // *Wodak R., Meyer M.* (eds.). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage. P. 121–138.
- Fairclough N.* (2011). Discursive Hybridity and Social Change in Critical Discourse Analysis. Available at: https://www.academia.edu/3776026/Discursive_hybridity_and_social_change_in_Critical_Discourse_Analysis_201 (accessed 3 July 2015).
- Gebel A. C.* (2012). *The Ideal Within: A Discourse and Hegemony Theoretical Analysis of the International Anticorruption Discourse*. Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Department of International Politics. Aberystwyth University.
- Gephart M.* (2009). *Contextualizing Conceptions of Corruption: Challenges for the International Anti-corruption Campaign*. GIGA.
- Hart C.* (2010). *Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: New Perspectives of Immigration Discourse*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kajsiu B.* (2014). *A Discourse Analysis of Corruption: Instituting Neoliberalism Against Corruption in Albania, 1998–2005*. Farnham: Ashgate.
- Krastev I.* (2001). When «Should» Does Not Imply «Can»: The Making of the Washington Consensus on Corruption. Available at: <http://www.colbud.hu/honesty-trust/krastev/pub01.pdf> (accessed 23 September 2015).
- Krosravnik M.* (2013). Actor Descriptions, Actor Attributions, and Argumentation: Toward a Systematization of CDA Analytical Categories in the Representation of Social Groups // *Wodak R.* (ed.) *Critical Discourse Analysis*, Vol. 2. London: Sage. P. 187–209.
- Open Knowledge Foundation. (2015). *Vision and Values*. Available at: <https://okfn.org/about/vision-and-values/> (accessed 11 June 2015).
- Sampson S.* (2012). *A Culture of Compliance: Developing Standards of Fighting Corruption*. Paper delivered at the American Anthropological Association Annual Meeting. (San Francisco, November 2012).
- Sampson S.* (2010). *Integrity Warriors* // *Johnston M.* (ed.). *Public Sector Corruption*. London: Sage. P. 313–349.
- Transparency International. (2000). *The TI Source Book*. Available at: <http://archive.transparency.org/publications/sourcebook/> (accessed 5 June 2015).
- Transparency International. (2001). *The National Integrity System: Concept and Practice*. Available at: https://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_Background_Methodology_EN.pdf (accessed 16 June 2015).

- Transparency International. (2001). Annual Report 2001. Available at: http://archive.transparency.org/publications/publications/annual_reports/annual_report_2001 (accessed 13 July 2015).
- Transparency International. (2012). Annual Report 2012. Available at: http://www.transparency.org/whatwedo/publication/annual_report_2012 (accessed 4 July 2015).
- Transparency International. (2013). Integrity Pact in Public Procurement: An Implementing Guide. Available at: TI http://www.transparency.org/whatwedo/tools/resources_about_integrity_pacts (accessed 16 June 2015).
- Transparency International. (2015). Together Against Corruption: Transparency International Strategy 2020. Available at: www.transparency.org/whatwedo/publication/together_against_corruption (accessed 16 June 2015).
- van Broekhoven R. A.* (2013). The Challenges of Transparency and Accountability // Bridges of Trust: Independent Monitoring of Charities: A Comparative Overview of ICFO Members and Their Monitoring Methodologies. Amsterdam: ICFO. P. 160–176.
- van Dijk T. A.* (2001). Critical Discourse Analysis // *Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H.* (eds.). The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell. P. 352–371.
- van Dijk T. A.* (2009). Society and Discourse: How Society Context Is Influence Text and Talk. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wodak R.* (1995). Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis // *Verschueren J. et al.* (eds.). Handbook of Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins. P. 204–210.
- Wodak R.* (2011). Critical Discourse Analysis // *Hyland K., Paltridge B.* (eds.). Continuum Companion to Discourse Analysis. London: Continuum. P. 38–53.
- Wood L. A., Kroger R. O.* (2000). Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text. London: Sage.

“Together, We Can Make Corruption a Thing of the Past”: Strategies of and Oppositions to the Anticorruption Discourse

Marina Makarova

Professor, Department of Sociology and Philosophy, Udmurt State University

Address: Universitetskaya, 1, Izhevsk, Russian Federation 426034

E-mail: makmar1@mail.ru

The main aim of the research is to discover the ways of the realization of the main strategies of the anticorruption discourse using the method of critical discourse analysis. The sources of the investigation are the texts of international anticorruption organizations, specifically, “Transparency International”. The intertextuality and interdiscursivity of the anticorruption discourse demonstrate not only all of the trends that characterized the discourse of later capitalism, but also led to the creation of a new type of discourse. Anticorruption discourse is the kind of neoliberal discourse oriented to the dissemination of democratic regimes and principles of the free market on the global level. Referential and predicative strategies show that civil society takes the

leadership in global anticorruption activity, emphasized by the demonstration of the weaknesses of governments and business. Both argumentation strategies and strategies of legitimation demonstrate the main aims of fighting corruption and the conditions of its effectiveness. The topoi of anticorruption discourse represent the features of anticorruption-ism that are formed according to the principle of the “mirror answer”; to be efficient, the curbing of corruption should have the same characteristics. Another kind of opposition includes the plain contrast between corruption and anticorruption-ism, which represents the “positive representation of the in-group (anticorruption civil society) and the negative representation of the out-group (corruption and corruptioners)”.

Keywords: corruption, anticorruption of civil society, international organizations, anticorruption discourse, critical discourse analysis, strategies, topoi

References

- Andersson S., Heywood P. (2009). Anti-corruption as a Risk to Democracy: On the Unintended Consequences of International Anti-corruption Campaigns. *Governments, NGOs and Anti-corruption: The New Integrity Warriors* (ed. L. de Sousa), New York: Routledge, pp. 33–50.
- Brown G., Yule G. (1983) *Discourse Analysis*, London: Cambridge University Press.
- Bukovansky M. (2002) Corruption Is Bad: Normative Dimensions of the Anti-corruption Movement. Available at: <https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/40136/3/02-5.pdf> (accessed 16 June 2015).
- Eigen P. (2004) Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Organizations Strengthen Global Governance. Available at: <http://iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf> (accessed 16 June 2016).
- Eigen P. (2005) Transparency International: The Fight against Corruption. *Investment Climate, Growth, and Poverty* (eds. G. Kochendörfer-Lucius, B. Pleskovic), Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, pp. 73–76.
- Eigen P. (2013) International Corruption: Organized Civil Society for Better Global Governance. *Social Research*, vol. 80, no 4, pp. 1287–1308.
- Eigen P., Fisman R., Githongo J. (2008) Fighting Corruption in Developing Countries. Available at: <http://hdl.handle.net/10419/79084> (accessed 16 June 2015).
- Fairclough N. (1992) *Discourse and Social Change*, Cambridge: Polity Press.
- Fairclough N. (2001) Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research. *Methods of Critical Discourse Analysis* (eds. R. Wodak, M. Meyer), London: Sage, pp. 121–138.
- Fairclough N. (2011) Discursive Hybridity and Social Change in Critical Discourse Analysis. Available at: https://www.academia.edu/3776026/Discursive_hybridity_and_social_change_in_Critical_Discourse_Analysis_201 (accessed 3 July 2015).
- Gebel A. C. (2012) *The Ideal Within: A Discourse and Hegemony Theoretical Analysis of the International Anticorruption Discourse*. Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Department of International Politics. Aberystwyth University.
- Gephart M. (2009) *Contextualizing Conceptions of Corruption: Challenges for the International Anti-corruption Campaign*, GIGA.
- Hart C. (2010) *Critical Discourse Analysis and Cognitive Science: New Perspectives of Immigration Discourse*, New York: Palgrave Macmillan.
- Jørgensen M., Phillips L. (2008) *Diskurs-analiz: teorija i metod* [Discourse Analysis as Theory and Method], Kharkiv: Humanitarian Centre.
- Kajsiu B. (2014) *A Discourse Analysis of Corruption: Instituting Neoliberalism Against Corruption in Albania, 1998–2005*, Farnham: Ashgate.
- Krastev I. (2001) When “Should” Does Not Imply “Can”: The Making of the Washington Consensus on Corruption. Available at: <http://www.colbud.hu/honesty-trust/krastev/pub01.pdf> (accessed 23 September 2015).
- Krosravnik M. (2013) Actor Descriptions, Actor Attributions, and Argumentation: Toward a Systematization of CDA Analytical Categories in the Representation of Social Groups. *Critical Discourse Analysis*, Vol. 2 (ed. R. Wodak), London: Sage, pp. 187–209.

- Makarov M. (2003) *Osnovy teorii diskursa* [The Basics of Discourse Theory], Moscow: Gnozis.
- Open Knowledge Foundation (2015) Vision and Values. Available at: <https://okfn.org/about/vision-and-values/> (accessed 11 June 2015).
- Sampson S. (2012) A Culture of Compliance: Developing Standards of Fighting Corruption. Paper delivered at the American Anthropological Association Annual Meeting (San Francisco, November 2012).
- Sampson S. (2010) Integrity Warriors. *Public Sector Corruption* (ed. M. Johnston), London: Sage, pp. 313–349.
- Transparency International (2000) The TI Source Book. Available at: <http://archive.transparency.org/publications/sourcebook/> (accessed 5 June 2015).
- Transparency International (2001) The National Integrity System: Concept and Practice. Available at: https://www.transparency.org/files/content/nis/NIS_Background_Methodology_EN.pdf (accessed 16 June 2015).
- Transparency International (2001) Annual Report 2001. Available at: http://archive.transparency.org/publications/publications/annual_reports/annual_report_2001 (accessed 13 July 2015).
- Transparency International (2012) Annual Report 2012. Available at: http://www.transparency.org/whatwedo/publication/annual_report_2012 (accessed 4 July 2015).
- Transparency International (2013) Integrity Pact in Public Procurement: An Implementing Guide. Available at: TI http://www.transparency.org/whatwedo/tools/resources_about_integrity_pacts (accessed 16 June 2015).
- Transparency International (2015) Together Against Corruption: Transparency International Strategy 2020. Available at: www.transparency.org/whatwedo/publication/together_against_corruption (accessed 16 June 2015).
- van Broekhoven R. A. (2013) The Challenges of Transparency and Accountability. *Bridges of Trust: Independent Monitoring of Charities: A Comparative Overview of ICFO Members and Their Monitoring Methodologies*, Amsterdam: ICFO, pp. 160–176.
- van Dijk T. A. (2001) Critical Discourse Analysis. *The Handbook of Discourse Analysis* (eds. D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton), Oxford: Blackwell, pp. 352–371.
- van Dijk T. A. (2009) *Society and Discourse: How Society Context Is Influence Text and Talk*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wodak R. (1995) Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. *Handbook of Pragmatics* (eds. J. Verschueren et al.), Amsterdam: John Benjamins, pp. 204–210.
- Wodak R. (2011) Kritičeskaja lingvistika i kritičeskij analiz diskursa [Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis]. *Political Linguistics*, no 4(38), pp. 287–291.
- Wodak R. (2011) Critical Discourse Analysis. *Continuum Companion to Discourse Analysis* (eds. K. Hyland, B. Paltridge), London: Continuum, pp. 38–53.
- Wood L. A., Kroger R. O. (2000) *Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text*, London: Sage.

Политическая риторика как квазисимволизация?

Глеб Мусихин

Доктор политических наук, профессор департамента политической науки
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: gmusikhin@hse.ru

В статье риторика рассматривается как основной способ аргументации в контексте политической символизации. Автор исходит из того, что символическое воздействие в политическом контексте предполагает общее знание информации, но не опирается на заранее оговоренную реакцию на данную информацию. Специфическое содержание политической символизации выводится из анализа теории символа, созданной немецким романтизмом. Политическая символизация концептуализируется в статье как множественность заранее неконвенционализированных смыслов коммуникации в политическом контексте. Утверждается, что политическая символизация — плохо поддающееся прогнозированию явление, которое как если бы происходит, но в коллективном восприятии наделяется большей, нежели реальные события, явленностью. Автор показывает, как механизм убеждения превращается в политике в самостоятельную величину, которая является инструментом трансляции идей и может продуцировать новые смыслы. В данном контексте политическая аргументация — это не просто средство продвижения политики, характер аргументации в значительной степени создает политику. В рамках политической риторики «истина» и «ложь» выступают суждениями идеологизированного нормативного языка. Поэтому способность «навязать» общественности собственную идеологическую перспективу как конструкт, состоящий из ценностных и когнитивных элементов, приобретает принципиальное значение. При формировании политической повестки дня владение аргументационными ресурсами становится реальной политической силой. Однако не всякая риторическая апелляция к политическому сообществу может привести к устойчивой и деятельной коллективной самоидентификации, сопровождающейся выработкой новых политических смыслов через коллективные суждения.

Ключевые слова: риторика, политическая аргументация, механизмы убеждения, символ, политическая символизация, немецкий романтизм

Политическая риторика в контексте политической символизации

Для политического контекста принципиально важно не только то, что говорится, но и то, каким образом и для чего это говорится. Как сформулировано политическое послание, какие выбраны аргументы, какому стилю убеждения отдано предпочтение: все это не вторичные элементы по отношению к онтологической составляющей политики, а значимая часть политической реальности. Символическое

пространство¹ политики зачастую возникает как спонтанное неконвенциональное социальное взаимодействие, порождающее устойчивые (и уже конвенциональные) модели отношений. Эти модели не следует отождествлять с процессом политической символизации, поскольку в таком случае будет заблокировано понимание возникновения нового политического качества.

Сразу оговорюсь, что политическая риторика понимается мной в контексте политической символизации². При этом производится концептуальное отделение политической символизации от позитивистского объяснения политики, так как соотношение между тем, кто знает, и тем, что известно, ускользает от позитивистской фиксации политических интересов. С позиций политической символизации политические изменения могут быть не только отражением интересов, но и следствием существования различных когнитивных конструкций. Поэтому вопрос об истине в политике является риторическим, а не содержательным³.

Теоретическим основанием концептуализации политической символизации выступает эстетическая теория символа, созданная немецким романтизмом⁴. Последний перенес акцент символизации с взаимоотношений реальности и символа на взаимодействие автора и создаваемого им символа. Следовательно, символ прекрасен в той мере, в какой он не транзитивен, т. е. (в диалектической логике) целостен. Символу можно уподобиться, но его нельзя разложить на составные элементы и перевести в другую форму. По своему смыслу это завершение диалектической триады означаемое—означающее—символ.

Романтически понятый язык как становление содержит в себе механизм производства нового смысла как приращения нового качества, которого не было в непосредственно произносимых словах. Оно появляется только как результат интерактивного толкования, и этот результат не предопределен. Динамическое понимание языка согласовывалось с динамическим пониманием романтической символизации, которая отличается от обозначения тем, что акцент делается на процессе экспрессии в противовес процессам подражания и репрезентации, т. е. выразительность доминирует над репрезентативностью.

Политическая символизация сопровождается разговором не о том, что невозможно выразить, а об ассоциациях (число которых не предопределено, а потому несогласуемо), вызываемых изначальной идеей или явлением как источником символизации. Имеет место недостаточность конкретного смысла, адекватного логике. Можно сказать, что в процессе символизации означаемое выходит за рамки означающего, только в толкованиях участников коммуникации. Несказуемость

1. Рефлексия политического как социального пространства выходит за рамки данной статьи. О социологии пространства см.: Филиппов, 2007.

2. О политической символизации см.: Мусихин, 2015а: 130–144.

3. Политическая риторика не будет рассматриваться мной в контексте коммуникативной демократии как механизм включения или исключения в процессе делиберации (Young, 2000), меня в первую очередь интересует проблема образования (необразования) нового политического смысла.

4. Подробнее о символической теории немецкого романтизма см.: Тодоров, 1998. О политическом романтизме см.: Шмитт, 2015.

или интуитивность символа в современных терминах можно концептуализировать как *множественность смыслов коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена*. Это и есть *суть процесса политической символизации*. Когда (и если) мы воспринимаем символ, проявляется его косвенный смысл (смыслы), и именно это производит символический эффект, который не предзадан и непредсказуем.

Политические символы разворачиваются *не от значения к значению, а от суждения к суждению*. Обязательным контекстом их возникновения выступает не мыслительный процесс, а актуальная речевая ситуация, которую не следует отождествлять с дискурсом⁵. Политические символы образуются не из связи знака и предмета как обозначения, а из связи говорящего (показывающего, пишущего) и слушающего (смотрящего, читающего). В первом случае мы объясняем значение (принимаемого бюджета, победы на выборах той или иной партии, последствий заключенного соглашения и т. д.), во втором — осуществляем коммуникацию, чреватую возможностью коллективного самоосознания.

Первоочередное значение имеет контекст коммуникации (косвенное толкование), а не значимость логических доводов как таковых, которые лишь *как бы* играют главную роль. В случае символического толкования (восприятие/воздействие) исследователь должен совершить немислимое с точки зрения логического позитивизма, но необходимое для понимания контекста: знаки и означаемые ими предметы нужно противопоставлять только на функциональном, но не субстанциональном уровне. Именно такого функционального противопоставления при игнорировании субстанциональных различий придерживался Геббельс в своей знаменитой пропагандистской формуле: «Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят».

Знаки в политике имеют только прямой смысл, в то время как символическая реальность политики предполагает наличие смысла косвенного, причем последний, как правило, преобладает в процессе символизации. Для политического контекста риторика представляет не совокупность знаков, а целенаправленное действие, цель которого — убедить участников коммуникации. На первый план выходит не правильность и даже не привлекательность политического речевого послания, а его *уместность*.

Злоупотребление формальной стороной политической риторики свидетельствует, что в политическом контексте *не следует смешивать семантику языка со смыслом речи как таковой*. Эти две сферы тесно переплетены, но не тождественны. В реальных политических разговорах мы оперируем политическими смыслами, тогда как семантика сосредоточена на значениях лексикона, и то, что этот лексикон политический, для семантики не принципиально.

5. В данной статье не используется подход школы критического дискурс-анализа Тёна ван Дейка, исследовавшего риторику в политическом дискурсе как конструкторе семантических значений, а не символических суждений (van Dijk, 2008).

Зафиксировав, что для анализа символического содержания политики важное значение имеет смысл, следует разделить последний на прямой и косвенный. Прямой смысл, как правило, не запускает процесс политической символизации, поскольку в большинстве случаев не требует толкования. Иначе говоря, политическая символизация в подавляющем большинстве случаев имеет дело с косвенным смыслом политических разговоров по поводу политических событий, хотя для политической символизации его наличия недостаточно. Точно так же факт разговора о политике еще не означает включения подобного разговора в политическую речевую ситуацию. Толкование, запускающее процесс политической символизации, происходит только тогда, когда одновременно осуществляется производство смысла и выражается несказуемое. При этом принципиальное значение имеют не объекты толкования как таковые, а позиции тех, кто толкует.

Важность политической символизации как деятельности состоит и в том, что она способна создать эффект чувственного (квазиосозаемого) присутствия, так как множественное толкование политических идей через символизацию «сжимает в точку» явления, которые происходили лишь «как бы», но *в коллективном восприятии наделяются большей явленностью, нежели реальные события*. Множественность толкования и потому нетранзитивность политической символизации ведет к тому, что последняя, образно говоря, «не помещается в головах». Эта эпистемологическая ограниченность коллективного опыта порождает коллективное воображение как элемент самоосознания. Фантазия замещает чувственный опыт как таковой.

Способна ли риторика запустить процесс политической символизации? Риторические приемы позволяют использовать в политической коммуникации элементы авторитета, эмоций и аргументов, но возникает ли в этом случае действительный символический синтез⁶ этоса, пафоса и логоса, способствуя неконвенциональной коллективной самоидентификации, порождающей новые смыслы единства и задающей новые нормы?

Ставшее трюизмом выражение «идеи правят миром» не совсем соответствует политической реальности. Правят только идеи, убедительные для того политического сообщества, которое ими пользуется и на них ориентируется. Иными словами, недостаточно сформировать идею, в политическом контексте принципиально, чтобы она была убедительна. Механизм убеждения превращается в политике в самостоятельную величину, которая не просто служит инструментом трансляции идей, сам этот механизм может продуцировать новые смыслы. В рамках политической символизации политическая реальность, помимо политического содержания, обязательно включает себя элементы активного синтеза, форму данного содержания и способ его донесения.

6. О символическом синтезе см.: Мусихин, 2015в: 45–57.

Политические суждения: от значений к аргументам

Если концентрироваться на исследовании *значений* политических идей (в случае устойчивого комплексного упорядочивания они конденсируются и дифференцируются в идеологии), мы оказываемся заложниками парной категории означаемое-означающее. Делая акцент на первом, мы приходим к необходимости анализировать концепты (Freedен, 2005: 117–124), сосредотачиваясь на втором, направляем исследовательский фокус на дискурсы (Laclau, 1990; Norval, 1996; Howarth, Norval, Stavrakakis, 2000). Попытки провести смысловые связи от одного к другому обрачиваются тем, что политическая теория подменяется семантикой, для которой принципиальное значение имеет язык как таковой, а то, язык ли это политики, экономики или чего-то еще, вторично.

Во многом концептуальная и дискурсивная сферы политики не поддаются синтезу. Концептуализация мира политических идей предсказуемо ведет к тому, что на первый план выходят структура тех или иных концептов, соотношение и смысловая иерархия концептуальных компонентов, влияние исторического контекста на логику трансформации концептов. Дискурсивные же практики требуют особого внимания к деятельностной стороне политики. Здесь важную роль начинают играть отслеживание договоренностей о смыслах тех или иных значений, а также конфликты по поводу этих договоренностей. Моментом синтеза может стать акцент на способах обоснования и концепций, и дискурсов, что позволит снять данную оппозицию, сконцентрировавшись на механизмах аргументации, существующих в символическом пространстве политической реальности.

Все сколь-нибудь успешные концептуальные идеологические модусы современности обладают убедительным (для определенных социальных слоев) и эмоционально привлекательным концептуальным ядром. Более того, они способны откликаться на значимые события окружающей жизни и аргументировать, почему объяснение данной идеологии наиболее убедительно (Freedен, 1996: 178). С точки зрения позитивистской *истины* все объяснения будут фантазиями, однако самые убедительные и аргументированные из них окажут очевидное влияние на политическую реальность. Иначе говоря, адаптация политических идей к меняющимся условиям общественной жизни не менее важна, чем концептуальная целостность, а эмоциональная привлекательность интеллектуальных доводов способна сыграть существенную роль в коллективной самоидентификации социальных групп, создавая неконвенциональные толкования общих политических смыслов, где эмоциональность будет содержаться в снятом виде.

Если смотреть на политические идеи с точки зрения дискурсивных взаимодействий, то мы увидим идеологические дискурсы как смысло- и формообразующие элементы общественной жизни, которые путем «поименования» формируют и упорядочивают мир политически должного всех значимых общественных движений. Иногда этот мир называют осовремененными политическими мифами (Laclau, 2007: 109), однако я бы воздержался от такого отождествления, поскольку

наличие мифов как таковых в современном мире — скорее метафора, нежели реальный образ мышления значимых социальных групп (Мусихин, 2015б: 102–117). Здесь же принципиально важно, что процесс принятия или отрицания тех или иных «имен» в качестве эквивалентных или смещенных смыслов можно рассматривать как риторическую организацию социального пространства, задающую логику конструирования политической идентичности. Конденсация и дифференциация общественных интересов происходят, когда люди определенным образом формулируют и выражают эти интересы.

Аргументация как механизм формирования политических смыслов носит в обозначенном контексте универсальный характер. Дело не в том, что она подменяет концептуальную или дискурсивную сферы политики, а в том, что присутствует в обеих сферах, но не является просто инструментальным элементом.

Именно от политики ждут ответов на вызовы меняющегося мира, именно *политика* — «передовой рубеж» выработки новых смыслов человеческого существования.

Политическая аргументация состоит не только из ответов на новые вопросы, она обладает механизмами формулирования таких вопросов, адресуя их обществу, идеологическим оппонентам, политическим сторонникам и т. д. Чаще всего это вопросы *риторические*, которые становятся аргументационным ресурсом убеждения: «Кто виноват?», «Что делать?», «Есть ли альтернатива рынку?» Риторическое содержание подобных вопросов продиктовано тем, что, формулируя их, политические акторы оперируют «когнитивными ярлыками», чаще всего хранящимися в различных идеологиях. С точки зрения аргументации, идеологии являются хранилищами общих смыслов, которые как риторический ресурс могут быть использованы в новой ситуации. Эти риторические конструкции не будут новыми, но они не будут и противостоять новизне из-за своей крайней абстрактности, которая «впитывает» в себя новое содержание.

При этом важно помнить, что абстрактность «когнитивных ярлыков» идеологий не означает их аргументационной универсальности. Скажем, социалисты не смогут, апеллируя к равенству, обосновывать меры жесткой экономии, ведущие к усилению неравенства. Поэтому риторические политические вопросы предполагают определенные ответы. В результате сходные политические мероприятия получат со стороны политических акторов разное обоснование. Социалисты могут прибегнуть к мерам жесткой экономии, но их аргументация будет отличаться от консервативной и скорее всего потребует большей изощренности для оправдания нехарактерных для принципов социальной справедливости методов оздоровления экономики. Подобная аргументация может оказаться более или менее убедительной, однако она вряд ли запустит процесс политической символизации.

В радикальном виде изощренная аргументация может приобрести форму идеологически мотивированного цинизма, и тогда не только цель будет оправдывать средства, но и средства будут предполагать специфический характер целей. Нацисты подожгли Рейхстаг и обвинили в этом коммунистов, но консерваторы-тра-

диционалисты, будучи непримиримы к коммунистам, вряд ли пошли бы на такой шаг.

Что такое политическая риторика: от оценочных объяснений к контекстуальному пониманию

Как ни странно, оценочная нагруженность понятия и слова «риторика» сродни идеологии. Оценочные объяснения связывают риторику с неискренностью, искажением реальности, желанием добиться поддержки не апелляцией к фактам, а через их тенденциозную речевую интерпретацию (Partington, 2003). В политике риторику зачастую противопоставляют фактическому политическому действию (Browne, Dickson, 2010; McCrisken, 2011) или еще шире — политической реальности (Easterly, Williamson, 2011; Hehir, 2011).

Оценочный негативизм во многом является следствием позитивистской интерпретации политики как совокупности эмпирических фактов. Все, что не поддается позитивистской эмпирической фиксации, объявляется не поддающимся научному изучению, а значит, несущественным и в конечном счете нереальным.

Язык в принципе не способен оказывать прямое физическое, а потому насильственное воздействие. Считается, что сила языка состоит в его способности к косвенной манипуляции индивидуальным и коллективным сознанием тех, кто воспринимает речевое воздействие, и что умелые политики-ораторы в состоянии повлиять на предубеждения, амбиции и страхи политического сообщества, в результате чего ложные утверждения могут быть приняты как истинные, а чужие интересы поддержаны даже вопреки собственным (Thomans, Wareing, 1999).

В контексте политической символизации «истина» и «ложь» выступают суждениями идеологизированного нормативного языка. А вот способность «навязать» общественности собственную идеологическую перспективу как конструкт, состоящий из ценностных и когнитивных элементов, действительно приобретает принципиальное значение. Если политические лидеры и значимые социальные группы оказываются вовлеченными в подобный идеологический конструкт, это минимизирует транзакционные издержки восприятия политической информации и общественность быстрее и легче принимает аргументы политической элиты.

Я не случайно употребил слово «навязать» в кавычках. Для того чтобы значимые социальные группы восприняли политическую аргументацию лидеров как свою собственную позицию и основу для коллективного самоотождествления, политикам необходимо использовать те риторические конструкции, которые близки данным группам. Политикам «на словах» нужно действительно быть «с народом». И здесь политические лидеры неминуемо берут на себя идентификационные обязательства, ведь слова и действия не могут расходиться принципиально. Если это все же происходит (что в политике не редкость), такое расхождение тоже нужно аргументированно обосновать, а это, в свою очередь, накладывает на политиков определенные обязательства перед их сторонниками.

Если отойти от позитивистской трактовки политики и рассматривать последнюю как сферу образования специфических смыслов и специфических взаимодействий между индивидами и группами, суждения о риторике будут иметь качественно иной характер как механизм формирования политических смыслов, с тем чтобы сделать коммуникативное взаимодействие между политическими акторами более продуктивным.

Фундаментом риторики как механизма аргументации по-прежнему остаются классические работы Аристотеля (Аристотель, 1978) и Цицерона (Цицерон, 1994: 162–371)⁷. Однако современное развитие медиа совершенно изменило контекст, в котором происходит политическая аргументация (Valentino, Nardis, 2013: 559–590; Черных, 2013). На протяжении столетий публичная аргументация подразумевала наличие классических ораторских качеств: громкий голос, жестикуляция, умение общаться с большой аудиторией лицом к лицу.

В современной политике, когда оратор чаще всего общается с аудиторией опосредованно, через медиаресурс, граница между политическим действием и развлечением размывается (Van Zoanen, 2005). Отправляя политическое послание, автор не знает, что делают его адресаты «по другую сторону» медиа: внимательно смотрят и слушают, едят, готовят на кухне, выясняют семейные отношения и т. д. Это не могло не повлиять на стилистику политической аргументации⁸.

Самое очевидное изменение — переход к *разговорному стилю* общения. Различия словарного набора в политическом и приватном нарративе становятся трудноразличимы, если вообще заметны (Thompson, 2011: 49–70). Поэтому способы выражения политических аргументов приобретают крайнее разнообразие, а прогнозирование массового отклика на такие аргументы становится практически невозможным. Современному политику, чтобы быть услышанным и истолкованным, не нужно быть оратором или златоустом, все большее значение в публичном пространстве получает так называемая «*риторика имиджа*» (Barthes, 1977: 32–51), которой вообще нет в классических трудах по риторике.

Современные медиа привели к тому, что отправители политических посланий не знают, в каком состоянии будут находиться адресаты при получении данного послания. В этом смысле политическая аудитория не только крайне диверсифицирована, она *постоянно пребывает в процессе диверсификации*. Речь идет именно об аудитории, воспринимающей политическое послание и способной истолковать его в виде суждений. Такую аудиторию не следует отождествлять с различными социальными группами. Конstellация политической аудитории может трансформироваться даже в ходе получения политического сообщения по не зависящим от его содержания причинам (кто-то обратил внимание на телевизор, кто-то отвлекся).

Тотальное воздействие современных медиа привело к диалектическому результату: вероятность такого воздействия стала в принципе случайной, а потому

7. О новом этапе развития риторики с середины XX в. см.: Toulmin, 2003.

8. О трансформации стилистики риторической аргументации см.: Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1969.

фрагментарной. В этой ситуации вероятность запуска процессов политической символизации крайне невысока. Поэтому те, кто видит прямые связи между медиапропагандой и поведением аудитории, либо выдают желаемое за действительное, либо проецируют на массовую аудиторию собственные профессиональные страхи и стереотипы людей, в силу своих профессиональных интересов отслеживающих политический медиаконтент.

Благодаря развитию средств передачи информации пространственно-временной континуум политической аргументации сжался до точки «здесь и сейчас», это, в свою очередь, ведет не только к интенсификации политических коммуникаций, но и непредсказуемой трансформации смыслов посылаемых сообщений. Аргументы, высказанные по определенному поводу для определенной аудитории, могут быть по-новому истолкованы в ином контексте (Antaki, Leudar, 1991: 467–488). Достаточно вспомнить громкую историю с «подсмотренным» выступлением М. Ромни во время президентской кампании США в 2012 году. Фраза Ромни о том, что 47 % избирателей не платят подоходный налог и никогда не проголосуют за республиканского кандидата, вполне корректна, однако обретя антураж «подсмотренной/подслушанной», в устах политических оппонентов она стала «доказательством» того, что Ромни не может быть президентом всех американцев. Хотя было известно, что около 40 % избирателей не хотели голосовать за Барака Обаму.

Проблема «новых медиа» связана и с развитием Интернета. Новые медиа отличаются крайне избирательным воздействием политической информации, что влечет за собой неведомую ранее фрагментацию политической аргументации с одной стороны, и потенциальное *снижение непреднамеренного отклика* аудитории на политическую информацию — с другой (в Интернете пользователи чаще всего ищут информацию как оценку и выбирают ее как факт). Интернет является полем для дискуссий уже политически определившихся групп и индивидов, неопределившееся или политически индифферентное большинство, скорее всего, не воспримет политическую аргументацию новых медиа, так как не будет ее искать. А если это так, то «слухи» о скорой смерти традиционных СМИ (прежде всего телевидения) сильно преувеличены. Примечательно, что в последние годы появились эмпирические исследования, скептически оценивающие роль «цифровой революции» в развитии политической аргументации (Jouët, Vedel, Comby, 2011: 361–375; Jansen, Koop, 2005: 613–632; Deacon, Wring, 2011; Van Zoonen, Vis, Mihelj, 2011).

Сжатие пространственно-временного континуума политической аргументации создает опасность фрагментации последней, что стирает границы между различными политическими направлениями. В результате аргументация по типу «здесь и сейчас» становится *неузнаваемой* с точки зрения публики, что может стать убийственным для политических сил, обладающих ядерным электоратом. Стилистика аргументации должна узнаваться идеологическими сторонниками при обсуждении любой значимой политической проблемы. Отсутствие аргументационной стратегии со стороны политических организаций может получить коллективное истолкование оправдания политического неучастия как протеста (Condor, Gibson,

2007). На формальном уровне статистики это можно интерпретировать как подтверждение экономической модели демократии Энтони Даунса, однако контекстуальный механизм такого неучастия будет совершенно другим.

Попытки ключевых политических акторов быть адекватными политическому моменту не ведут к тому, что аргументы политических оппонентов становятся идентичными. Даже если содержательно это так, стилистически они всегда отличаются. Однако протест неучастия вызывает именно стилистика как аргументационная стратегия политической пропаганды, а не обсуждения политического курса. Постоянная «текучесть» и изменчивость аргументации как стилистики символически истолковываются в массовых суждениях определенным образом — «все они одинаковые»: приспособленцы, демагоги, забыли о простых людях.

При анализе политических нарративов важно не концентрироваться только на «модном» поиске и анализе дискурсов. В этом случае будет зафиксирована лишь рефлексия когнитивной активности политических обсуждений, а если такая активность выявлена не будет, последует вывод, что люди в массе своей не интересуются политикой и не разбираются в ней. Между тем люди не интересуются политикой с точки зрения того, как исследователи понимают то, что значит интересоваться политикой. Массовые суждения о политике попросту не приобретут семантического значения политического дискурса в ходе корректного дискурс-анализа.

Политическая риторика: инструмент манипуляции или механизм аргументации?

Античные авторы отводили важную роль риторике именно в публичных политических спорах, поскольку в ходе последних истина может быть вообще недостижима вследствие серьезных аргументов обеих сторон. При этом ситуация, как правило, осложняется нормативной неоднозначностью аргументов, которые не поддаются ранжированию с точки зрения существующего политического порядка (Palonen, 2005: 363; Мусихин, 2007), — достаточно вспомнить «вечный» спор сторонников свободы и равенства или дискуссии о недопустимости для мусульманки делать фото на паспорт без платка. И если спор действительно значим в публичном пространстве политики, т. е. исход дискуссии реально зависит от публики, то необходимость адаптации аргументов к конкретной аудитории становится принципиально важной задачей выработки политического курса, а не просто примитивного манипулирования общественным мнением.

Поэтому при формировании политической повестки дня владение аргументационными ресурсами приобретает смысл реальной политической силы. В этом контексте владение конкретной информацией еще не обеспечивает решающего преимущества в борьбе за влияние на общественное мнение. Это отчасти объясняет, почему профессионалы управленцы неуверенно чувствуют себя в пространстве публичных политических дискуссий. Сами они заявляют, что привыкли за-

ниматься делом, а не разговаривать попусту, однако последнее как раз является примером риторической аргументации.

Риторика представляет собой органическую часть политики как явления, возникшего в рамках европейской цивилизации (Skinner, 1997). Приемами риторической аргументации пользовались выдающиеся представители политической мысли от Макиавелли и Гоббса до Шмитта и Арндт и те, кого сейчас принято называть профессиональными политиками. Парламентская деятельность эпохи Модерна сделала риторику обязательным атрибутом политического процесса вне зависимости от того, нравилось это ключевым политическим акторам или нет. Весьма показательным в этом отношении письмо премьер-министра Великобритании лорда Солсбери королеве Виктории, датированное 1887 годом, где он, в частности, писал: «Этой обязанностью произносить политические речи, осложняющие работу Ваших слуг, мы всецело обязаны мистеру Гладстону» (цит. по: Pugh, 1982: 3). Заметим, что написано это было с расчетом, что широкая общественность никогда не узнает о содержании данного письма.

Институциональное устройство современной политики предполагает наличие риторических механизмов аргументации до такой степени, что их публичное отрицание становится объектом для массовых насмешек. Достаточно вспомнить знаменитый ляп Бориса Грызлова, заявившего, что Государственная дума «не место для дискуссий». Это говорит о том, что современная политика и ее теоретическое осмысление были во многом сформированы риторическими способами аргументации, без понимания которых проблематично понимание политики как таковой.

Изучение риторических способов аргументации в политике важно для понимания политической символизации как неконвенционального образования смыслов, ведущего к коллективной самоидентификации. Политическая символизация вряд ли поддается прогнозированию, но анализ риторической аргументации и контекста ее использования может помочь спрогнозировать возможность или маловероятность условий для «запуска» процессов символизации.

Анализ риторики как способ понимания политики

Особую ценность для понимания аргументационного модуса политической реальности представляют исследования кембриджской школы речевых актов. Сделав акцент на способах концептуализации, которыми пользуются политические теоретики, а также на поиске причин, почему они пользуются именно такими способами в конкретной мыслительной ситуации, К. Скиннер пришел к фактически марксистскому выводу о том, что нормативные акты в политике не являются просто фиксацией должного порядка, они есть инструменты идеологической дискуссии (Skinner, 2002: 176).

Выявленное Скиннером тесное взаимодействие категорий описания и оценки политики и особенно ее морального модуса ведет к формированию нормативно-

го вокабуляра поощряющего/осуждающего конкретные политические действия (Ibid.: 175). Результатом диалектического синтеза данных понятий становится троп *переописания* того или иного политического акта в ином оценочном свете (Рорти, 1996). Так, мужество может быть оценено как безрассудство, щедрость как расточительность, подлость как благоразумие, а упрямство как принципиальность. При этом направление перехода от одного оценочного суждения к другому может меняться в зависимости от контекста, что предполагает измерение механизма аргументации.

Для школы речевых актов апелляция к риторике как способу политической аргументации выглядит вполне предсказуемо. Сходная апелляция (хотя и выраженная в других терминах и с совершенно иных методологических позиций) обнаруживается в исследованиях У. Райкера и его последователей. Райкер установил, что эмпирический факт коллективного политического решения зависит от изменения характера координат, в рамках которых предлагается сделать выбор (Riker, 1986: 147–151; Shepsle, 2003: 309–310).

В ходе второй избирательной кампании Барака Обамы его программа обоснованно критиковалась оппонентами как неэффективная, однако Обаме удалось одержать убедительную победу, апеллируя к тому, что предлагаемый им курс более уместен, поскольку более справедлив. С позитивистской точки зрения (а именно она присутствует в теории общественного выбора) обнаружен факт политической манипуляции общественным сознанием, но в рамках исследования политической аргументации это можно трактовать как делиберативный процесс выработки политического решения как общего толкования смысла политики.

Неслучайно в делиберативной теории демократии (и в коммуникативных подходах к политике вообще) механизму аргументации уделяется особое внимание. Правда, поначалу в рамках коммуникативной теории действия аргументация отождествлялась с рациональным диалогом как таковым, когда побеждал тот аргумент, который нельзя разумно отклонить (Habermas, 1996). Однако такой взгляд не учитывал очевидную политическую реальность: невозможность и неспособность аргументированного несогласия с другой точкой зрения не тождественны, а значит, в ходе рациональной делиберации преимущество получают более информированные (квалифицированные) социальные группы. Поэтому, как это ни покажется странным, признание применимости риторических аргументов «уравнивает шансы» в рамках политической делиберации, делая различные социальные группы сопричастными процессу выработки общих смыслов политики (Dryzek, 2002: 168). Убедительность политической риторики как аргументации выходит за рамки рациональной аргументации как делиберации Хабермаса (менее рациональные аргументы могут быть более убедительны).

Кроме того, риторическая аргументация дает возможность комбинировать различные речевые ситуации, позволяя запускать механизмы интеграции в обществе с «растрескавшейся» субъективностью. Такие интеграционные механизмы могут

быть столь разнообразными, сколь разнообразной может быть риторическая комбинаторика используемых речевых ситуаций (Dryzek, 2010: 327).

Таким образом, для очень разных (зачастую антагонистических) теоретических подходов к политике на сегодняшний день общим является признание важности политической риторики, позволяющей распространять политическую аргументацию в обществе и адаптировать различные формы политического мышления к различной аудитории. Однако такая адаптация во многом технологична и не запускает процесс политической символизации, хотя и может создать для нее условия. Политическая символизация возникает тогда, когда аудитория, находясь под воздействием «риторического театра», сама выбирает себе ту или иную роль в политической «пьесе».

Контекстуальный анализ политической риторики

Важность контекста, в котором разворачивается политическая аргументация, демонстрирует недостаточность семантических аналитических конструкций для понимания смыслов политики. Фиксируя систему языковых значений, семантика не способна заметить институциональные и культурные условия организации политического *обсуждения*. Именно в пространстве политических суждений взаимодействуют участники коллективной делиберации, вне зависимости от того, являются ли они субъектами или объектами аргументации (Finlayson, 2007; Finlayson, Martin, 2008). Тем самым создается пространство «*риторической ситуации*» (Bitzer, 1998). Парламентские дебаты, речи на митингах и политические ток-шоу сильно различаются по характеру используемой аргументации, даже если участники этих мероприятий одни и те же. Контекст аргументации задается как формально зафиксированной регламентацией, так и неформальными ожиданиями аудитории, в основе которых могут лежать устойчивые культурные традиции и ситуативное стечение обстоятельств.

Регламентированный характер политической дискуссии не является непреодолимым препятствием для расширения (или сужения) правил и пределов аргументации. Особенность политических аргументов в том, что они чаще всего носят спорный характер, будучи своего рода «яблоками раздора» делиберации. Поэтому в политической дискуссии зачастую преимущество получает не тот, кто концентрируется на убедительности аргументации, а тот, кто фиксирует свою позицию как принципиально отличную от других. В рамках риторики это состояние описывается теорией стасиса, опирающейся на четыре вида аргументов: предположение (есть ли то, о чем спорить), определение (есть то, о чем следует спорить), качество (о чем спор), уместность (стоит ли об этом спорить).

Можно предположить, что различная ценностная ориентация политических акторов диктует акцент на том или ином виде аргументации. Так, для охранителей, скорее всего, характерен аргумент уместности, приобретающий в политическом контексте апелляцию к необходимости деполитизации обсуждаемых проблем

(бюджетом должны заниматься финансисты, обороной и правопорядком — силовики и т. д.). Тем самым консерваторы заявляют об опасности политизации неподобающих сфер деятельности, но делают это в рамках политической аргументации (Хиршман, 2010: 92–144). Если консерваторы, апеллируя к уместности, пытаются сократить пространство публичного политического обсуждения, то сторонники социализма, напротив, стремятся его расширить, но чаще акцентируют внимание на аргументе определения: бедность — это политическая проблема, рынок — политическое явление и т. д.

Понятно, что представители разных типов идеологической ориентации тяготеют к разным условиям «риторической ситуации». Сторонники левых взглядов склонны апеллировать к массовой аудитории (даже если это происходит заочно в стенах парламента), правые больше ориентированы на конкретного оппонента, неуместность позиции которого они пытаются доказать. Процессы политической символизации более вероятны в рамках апелляции к левым взглядам, так как сторонники последних ищут массового отклика в своем механизме аргументации.

Апелляция как довод политической риторики

То, что политика насыщена риторическими вопросами, не требующими аргументированных ответов, поскольку ответ уже заключен в самом вопросе, трюизм. Однако это не означает отсутствия обоснованных доводов в политической риторике. Более того, акторы-корреспонденты политических посланий всегда озабочены тем, чтобы их сообщения были поняты широкой аудиторией. Поэтому даже самые доктринальные политические послания, как правило, насыщены аргументами, апеллирующими к повседневной жизни людей.

Апелляция к повседневности может восприниматься не только как желание быть понятым, но и как стремление выглядеть честным и искренним. В рамках политической символизации это можно назвать сферой этоса, который складывается из элементов опыта, компетенции, формальных полномочий, репутации и человеческих качеств. Однако соединения этих элементов недостаточно, так как этос, будучи их диалектическим синтезом, образует новое качество целостности, несводимое к сумме частей. Именно этос как признак политической символизации показывает ограниченность политических технологий, с помощью которых формируется политический имидж. Последний есть результат технологической комбинаторики, которая, даже будучи высокопрофессиональной, может оставить широкие социальные слои равнодушными к безупречному, с точки зрения имиджа, политику или партии.

Один из самых распространенных риторических приемов обращения к этосу в политическом контексте — апелляция к авторитету. Если политический режим легитимен, то суждения власти вызывают массовое уважение. Отрицание авторитета также апеллирует к этосу. В этом оспаривается неоспоримое на основании «доводов разума», «из лучших побуждений», «во имя светлого будущего», «ради

общего блага» и т. д. Либерализм апеллирует к авторитету разума (точнее, рационализма), консерватизм — к авторитету традиции, социализм — к авторитету «гласа народа».

Источник или транслятор того или иного авторитета должен восприниматься его сторонниками (потенциальными или актуальными) как «свой человек», заслуживающий доверия, уважения, вызывающий симпатию. Без этого процесс коллективной самоидентификации, вызванной той или иной риторической апелляцией к авторитету, не может быть запущен. Суждения конкретных политических акторов формируют политический стиль апелляции к публике, а множественные толкования последней в случае интеграции формируют определенный стиль мышления (в терминологии Манхейма (Манхейм, 1994). Политики и их сторонники «говорят на одном языке», который «непонятен» идеологическим оппонентам. При этом персоналистская стилистика аргументации может быть типологически разнообразной, ситуативной и не иметь четкой идеологической привязки. «Сильный и надежный лидер», «одиноким искатель правды и справедливости», «защитник маленького человека» — все это может находиться в любой части идеологического спектра.

В стилистике политической аргументации апелляция к этосу тесно переплетена (но не тождественна) с апелляцией к эмоциональному пафосу. С нормативной точки зрения это самая «подозрительная» и ненадежная сфера политической аргументации. Эмоции усиливают остроту восприятия, что нередко воспринимается негативно — как гипертрофия смыслов политических суждений. С одной стороны, это может сверх меры упростить толкование политической реальности, с другой — способно провоцировать массовые фобии, ведущие не столько к коллективной самоидентификации, сколько к массовой агрессивности.

Для политической символизации значимы не все эмоциональные проявления в политическом контексте. Массовое толкование вызывают только те политические послания, которые наряду с сильными эмоциями сопровождаются «высоким смыслом», вызвавшим данные эмоции (отсюда и пафос). Пафос может быть как положительным, так и отрицательным, т. е. пафос может быть окрашен как положительными, так и отрицательными эмоциями, но смыслы, их вызвавшие, не могут быть мелкими.

Пафосные эмоции в политическом контексте, как правило, имеют сильную доктринальную окраску, в основе которой лежат ключевые нормативные политические понятия: «свобода», «справедливость», «отечество» и т. д. Доктринальность очень хорошо поддается риторической технологизации, но для того, чтобы последняя была эффективна, пафос должен опираться на реальные массовые толкования политических суждений, а не на технологически созданную их видимость.

Говоря о риторике как технике убеждения, нельзя не признать принципиальное значение апелляции к «разуму», логике и здравому смыслу, т. е. к тому, что в рядоположенном вокабуляре этоса и пафоса можно назвать логосом. В контексте политической аргументации речь идет скорее о квазилогике, поскольку риториче-

ские приемы в политической делиберации зачастую являются как *бы* логичными, в строгом смысле этого слова оказываясь либо логически неточными, либо целенаправленно ошибочными. Не будем забывать, что аргументация в пространстве политики преследует цель убедить аудиторию, а не найти истину.

Риторический логос — это не законы логики, а средства убеждения, которые как будто бы тождественны законам логики. Последняя оперирует категориями определения, соотношения, разделения, вероятности, очевидности, взаимности, причины и следствия, средства и цели, а риторическая квазилогика *апеллирует* к тому же самому как аргументационному механизму создания общего политического смысла. Политическое сообщество подводят к «очевидному» выводу, который если и требовал доказательств, то только для того, чтобы убедить «ошибающихся» или «разоблачить» оппонентов.

Таким образом, в политической реальности механизмы *аргументации* серьезно отличаются от способов развертывания *экспертного* знания. В публичном политическом пространстве, как правило, не спорят о самом механизме жесткой монетарной политики, например. Линия размежевания проходит по таким темам, как увеличение бедности и рост имущественного неравенства с одной стороны и оздоровление экономики и создание предпосылок для роста деловой активности — с другой. При этом сторонники социальной справедливости не будут апеллировать к тому, что нужно усугубить экономические проблемы и воспрепятствовать росту деловой активности, а защитники свободного рынка не будут настаивать на необходимости роста имущественного неравенства и увеличения бедности. На уровне значений и позитивистски понятых причинно-следственных связей и то и другое будет иметь место, но в контексте политической аргументации формирующиеся нарративы коллективной самоидентификации будут толковаться с использованием нормативно «отфильтрованного» вокабуляра.

Как было показано выше, механизмы подобной «филтрации» имеют комплексный характер риторической апелляции. Однако даже успешное донесение того или иного политического послания до коллективного адресата еще не будет свидетельствовать о запуске процессов политической символизации. Для последней недостаточно, чтобы те или иные социальные группы согласились с предложенным курсом, данный курс должен быть этими социальными группами самостоятельно истолкован, приведя к смысловому «резонансу» формирующейся политики. Это не будет обратная связь в политической системе Истона, т.к. коллективное толкование приведет к формированию новых смыслов, что не укладывается в бихевиористскую логику стимул-реакция, т.к. в ней новое качество в принципе не производится. Именно *новое качество политического смысла* способно перевести *риторический механизм политической аргументации* в *формат коллективного политического действия*.

* * *

Можно сказать, что политическая символизация не существует без риторики как механизма аргументации в определенном контексте. Риторика является неотъемлемой частью политической реальности, к которой разворачивается политическая символизация. Однако при этом не следует преувеличивать роль риторической аргументации в процессе символизации. Не всякая (даже успешная) риторическая апелляция к политическому сообществу способна привести к устойчивой и деятельной коллективной самоидентификации, сопровождающейся выработкой новых политических смыслов через коллективные суждения.

Литература

- Аристотель.* (1978). Риторика / Пер. с древнегреч. Н. Платоновой // *Тахо-Годи А. А.* (ред.). Античные риторики. М.: Лабиринт. С. 15–164.
- Манхейм К.* (1994). Диагноз нашего времени. М.: Юрист.
- Мусихин Г. И.* (2007). Плюрализм политических ценностей или всеобщий императив свободы личности: выбор не predetermined? // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз.* № 3. С. 42–60.
- Мусихин Г. И.* (2015а). Концептуализация политической символизации // *Политические исследования.* № 5. С. 130–144.
- Мусихин Г. И.* (2015б). Политический миф как разновидность политической символизации // *Общественные науки и современность.* № 5. С. 102–117.
- Мусихин Г. И.* (2015в). Символизация как контекстуальный синтез политической онтологии, политической эпистемологии и политического языка // *Общественные науки и современность.* № 6. С. 45–57.
- Рорти Р.* (1996). Случайность, ирония и солидарность / Пер. с англ. И. В. Хестановой и Р. З. Хестанова. М.: Русское феноменологическое общество.
- Тодоров Ц.* (1998). Теории символа / Пер. с фр. Б. Нарумова. М.: Дом интеллектуальной книги.
- Филиппов А. Ф.* (2007). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.
- Хиришман А. О.* (2010). Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ.
- Цицерон.* (1994). Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство.
- Черных А. И.* (2013). Медиа и ритуалы. М., СПб.: Университетская книга.
- Шмитт К.* (2015). Политический романтизм. М.: Праксис.
- Antaki C., Leudar I.* (1991). Recruiting the Record: Using Opponents' Exact Words in Parliamentary Argumentation // *Text.* Vol. 21. № 4. P. 467–488.
- Barthes R.* (1977). Rhetoric of the Image // *Heath S.* (ed.). *Image, Music, Text.* New York: Hill and Wang. P. 32–51.
- Bitzer L.* (1998). The Rhetorical Situation // *Lucaites J., Condit C. M., Caudill S.* (eds.). *Contemporary Rhetorical Theory.* London: Guilford Press. P. 217–226.

- Browne J., Dickson E.* (2010). «We Don't Talk to Terrorists»: On the Rhetoric and Practice of Secret Negotiations // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 54. № 3. P. 379–407.
- Condor S., Gibson S.* (2007). «Everybody's Entitled to Their Own Opinion»: Ideological Dilemmas of Liberal Individualism and Active Citizenship // *Journal of Community and Applied Social Psychology*. Vol. 17. № 2. P. 115–140.
- Deacon D., Wring D.* (2011). Reporting the 2010 General Election: Old Media, New Media — Old Politics, New Politics // *Wring D., Mortimore R.* (eds.). *Political Communication in Britain: The Leader Debates, the Campaign and the Media in the 2010 General Election*. Palgrave: Macmillan. P. 281–303.
- Dryzek J.* (2002). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press.
- Dryzek J.* (2010). Rhetoric in Democracy: A Systemic Appreciation // *Political Theory*. Vol. 38. № 3. P. 319–339.
- Easterly W., Williamson C.* (2011). Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid Agency Practices // *World Development*. Vol. 39. № 11. P. 1930–1949.
- Finlayson A.* (2007). From Beliefs to Arguments: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis // *British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 9. № 4. P. 545–563.
- Finlayson A.* (2008). «It Ain't What You Say...»: British Political Studies and the Analysis of Speech and Rhetoric // *British Politics*. Vol. 3. № 4. P. 445–464.
- Freedon M.* (1996). *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford: Clarendon.
- Freedon M.* (2005). What Should the «Political» in Political Rhetory Explore? // *Journal of Political Philosophy*. Vol. 13. № 2. P. 113–134.
- Habermas J.* (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hehir A.* (2011). *The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Howarth D., Norval A., Stavrakakis Y.* (eds.). (2000). *Discourse Theory and Political Analysis*. Manchester: Manchester University Press.
- Jansen H., Koop R.* (2005). Pundits, Ideologues, and the Ranters: The British Columbia Election Online // *Canadian Journal of Communication*. Vol. 30. № 4. P. 613–632.
- Jouët J., Vedel T., Comby J.-B.* (2011). Political Information and Interpersonal Conversations in a Multimedia Environment // *European Journal of Communication*. Vol. 26. № 4. P. 361–375.
- Laclau E.* (1990). *New Reflections on the Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Laclau E.* (2007). *On Populist Reason*. London: Verso.
- McCrisken T.* (2011). Ten Years On: Obama's War on Terrorism in Rhetoric and Practice // *International Affairs*. Vol. 87. № 4. P. 781–801.
- Norval A.* (1996). *Deconstructing Apartheid Discourse*. London: Verso.
- Palonen K.* (2005). Political Theorizing as a Dimension of Political Life // *European Journal of Political Theory*. Vol. 4. № 4. P. 351–366.

- Partington A.* (2003). *The Linguistics of Political Argument*. London: Routledge.
- Perelman C., Olbrechts-Tyteca L.* (1969). *The New Rhetoric*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Nicholas A. V., Yioryos N.* (2013). *Political Communication: Form and Consequence of the Information Environment // Huddy L., Sears D. O., Levy J. S. (eds.). The Oxford Handbook of Political Psychology*. Oxford: Oxford University Press. P. 559–590.
- Pugh M.* (1982). *The Making of Modern British Politics 1867–1939*. Oxford: Blackwell.
- Riker W. H.* (1986). *The Art of Political Manipulation*. New Haven: Yale University Press.
- Shepsle K. A.* (2003). *Losers in Politics (and How They Sometimes Become Winners): William Riker's Heresthetic // Perspectives on Politics*. Vol. 1. № 2. P. 307–315
- Skinner Q.* (1997). *Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skinner Q.* (2002). *Visions of Politics: Regarding Method*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thomans L., Wareing S.* (1999). *Language, Society and Power*. London: Routledge.
- Thompson J. B.* (2011). *Shifting Boundaries of Public and Private Life // Theory, Culture and Society*. Vol. 28. № 4. P. 49–70.
- Toulmin S. E.* (2003). *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk T.* (2008). *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Van Zoonen L.* (2005). *Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge*. Oxford: Rowman & Littlefield.
- Van Zoonen L., Vis F., Mihelj S.* (2011). *YouTube Interactions Between Agonism, Antagonism and Dialogue: Video Responses to the Anti-Islam Film *Fitna* // New Media and Society*. Vol. 13. № 8. P. 1283–1300.
- Young I. M.* (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.

Political Rhetoric as a Quasi-Symbolization?

Gleb Musikhin

Dr. Sci. (Pol.), Professor, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: gmusikhin@hse.ru

The article considers rhetoric as the main channel of argumentation in the context of political symbolization. The article draws the substance of political symbolization from the theory of the symbol, introduced by German Romantics. Political symbolization is conceptualized in terms of the multiplicity of unstated meanings in communication within a political context. The findings of the article have a significant implication in that political symbolization is an unpredictable phenomenon; it becomes “visible” as if it has been happening in reality. However, in the collective perception due to the dispositions of interpreters, political symbolization is presented as more essential than the viscera of life. The author shows how the mechanism of persuasion may become

an independent, productive source in the sphere of politics. Thus, the mechanism of persuasion cannot be simplified to the translation of the ideas, but it is also capable of producing new meanings. In this framework, political argumentation can be used not only for promoting ideas in the sphere of politics, but might produce politics itself. Arguments that might be marked as “true” or “false” are transformed into judgments of the ideologically normative language. Therefore, the ability “to impose” one’s ideological perspective on the public gains crucial importance as it consists of axiological and cognitive elements. Resources taken from argumentation mechanisms maintain a real political force in the process of agenda-setting. However, not any rhetorical message appealing to a specific political community will lead to the steady and efficient process of collective self-identification, which is always followed by the production of new political meanings through collective judgments.

Keywords: rhetoric, political argumentation, mechanisms of persuasion, symbol, political symbolization, German Romanticism

References

- Antaki C., Leudar I. (1991) Recruiting the Record: Using Opponents’ Exact Words in Parliamentary Argumentation. *Text*, vol. 21, no 4, pp. 467–488.
- Aristotle (1978) *Ritorika* [Rhetorics]. *Antichnye ritoriki* [Ancient Rhetoricians], Moscow: Labirint, pp. 15–164.
- Barthes R. (1977) Rhetoric of the Image. *Image, Music, Text* (ed. S. Heath), New York: Hill and Wang, pp. 32–51.
- Bitzer L. (1998) The Rhetorical Situation. *Contemporary Rhetorical Theory* (eds. J. Lucaites, C. M. Condit, S. Caudill), London: Guilford Press, pp. 217–226.
- Browne J., Dickson E. (2010) “We Don’t Talk to Terrorists”: On the Rhetoric and Practice of Secret Negotiations. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 54, no 3, pp. 379–407.
- Chernykh A. (2013) *Media i ritualy* [Media and Rituals], Moscow, Saint Petersburg: University Book.
- Cicero (1994) *Jestetika: Traktaty. Rechi. Pis'ma* [Aesthetics: Treatises, Speeches, Letters], Moscow: Iskustvo.
- Condor S., Gibson S. (2007) “Everybody’s Entitled to Their Own Opinion”: Ideological Dilemmas of Liberal Individualism and Active Citizenship. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, vol. 17, no 2, pp. 115–140.
- Deacon D., Wring D. (2011) Reporting the 2010 General Election: Old Media, New Media — Old Politics, New Politics. *Political Communication in Britain: The Leader Debates, the Campaign and the Media in the 2010 General Election* (eds. D. Wring, R. Mortimore), Palgrave: Macmillan, pp. 281–303.
- Dryzek J. (2002) *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*, Oxford: Oxford University Press.
- Dryzek J. (2010) Rhetoric in Democracy: A Systemic Appreciation. *Political Theory*, vol. 38, no 3, pp. 319–339.
- Easterly W., Williamson C. (2011) Rhetoric versus Reality: The Best and Worst of Aid Agency Practices. *World Development*, vol. 39, no 11, pp. 1930–1949.
- Filippov A. (2007) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space], Moscow: Vladimir Dal.
- Finlayson A. (2007) From Beliefs to Arguments: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis. *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 9, no 4, pp. 545–563.
- Finlayson A. (2008) “It Ain’t What You Say...”: British Political Studies and the Analysis of Speech and Rhetoric. *British Politics*, vol. 3, no 4, pp. 445–464.
- Freeden M. (1996) *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*, Oxford: Clarendon.
- Freeden M. (2005) What Should the “Political” in Political Rhetory Explore? *Journal of Political Philosophy*, vol. 13, no 2, pp. 113–134.
- Habermas J. (1996) *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press.
- Hehir A. (2011) *The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention*, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Hirshman A. (2010) *Ritorika reakcii: izvrashhenie, tshhetnost', opasnost'* [The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy], Moscow: HSE.

- Howarth D., Norval A., Stavrakakis Y. (eds.) (2000) *Discourse Theory and Political Analysis*, Manchester: Manchester University Press.
- Jansen H., Koop R. (2005) Pundits, Ideologues, and the Ranters: The British Columbia Election Online. *Canadian Journal of Communication*, vol. 30, no 4, pp. 613–632.
- Jouët J., Vedel T., Comby J.-B. (2011) Political Information and Interpersonal Conversations in a Multimedia Environment. *European Journal of Communication*, vol. 26, no 4, pp. 361–375.
- Laclau E. (1990) *New Reflections on the Revolution of Our Time*, London: Verso.
- Laclau E. (2007) *On Populist Reason*, London: Verso.
- Mannheim K. (1994) *Diagnoz nashego vremeni* [Diagnosis of Our Time], Moscow: Jurist.
- McCrisken T. (2011) Ten Years On: Obama's War on Terrorism in Rhetoric and Practice. *International Affairs*, vol. 87, no 4, pp. 781–801.
- Musikhin G. (2007) Pljuralizm politicheskikh cennostej ili vseobshhij imperativ svobody lichnosti: vybor ne predopredelen? [Pluralism of Political Values or Universal Imperative for Personal Freedom: Does the Choice Predestine?]. *Politija: Analiz. Hronika. Prognoz*, no 3, pp. 42–60.
- Musikhin G. (2015) Konceptualizacija politicheskoj simvolizacii [The Conceptualization of Political Symbolization]. *Political Studies*, no 5, pp. 130–144.
- Musikhin G. (2015) Politicheskij mif kak raznovidnost' politicheskoj simvolizacii [The Political Myth as a Kind of Political Symbolization]. *Obshhestvennye nauki i sovremennost'*, no 5, pp. 102–117.
- Musikhin G. (2015) Simvolizacija kak kontekstual'nyj sintez politicheskoj ontologii, politicheskoj jepistemologii i politicheskogo jazyka [Symbolization as a Contextual Synthesis of Political Ontology, Political Epistemology, and Political Language]. *Obshhestvennye nauki i sovremennost'*, no 6, pp. 45–57.
- Norval A. (1996) *Deconstructing Apartheid Discourse*, London: Verso.
- Palonen K. (2005) Political Theorizing as a Dimension of Political Life. *European Journal of Political Theory*, vol. 4, no 4, pp. 351–366.
- Partington A. (2003) *The Linguistics of Political Argument*, London: Routledge.
- Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. (1969) *The New Rhetoric*, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Nicholas A. V., Yioryos N. (2013) Political Communication: Form and Consequence of the Information Environment. *The Oxford Handbook of Political Psychology* (eds. L. Huddy, D. O. Sears, J. S. Levy), Oxford: Oxford University Press, pp. 559–590.
- Pugh M. (1982) *The Making of Modern British Politics 1867–1939*, Oxford: Blackwell.
- Riker W. H. (1986) *The Art of Political Manipulation*, New Haven: Yale University Press.
- Rorty R. (1996) *Sluchajnost', ironija i solidarnost'* [Contingency, Irony, and Solidarity], Moscow: Russian Phenomenological Society.
- Shepsle K. A. (2003) Losers in Politics (and How They Sometimes Become Winners): William Riker's Heresthetic. *Perspectives on Politics*, vol. 1, no 2, pp. 307–315
- Skinner Q. (1997) *Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Skinner Q. (2002) *Visions of Politics: Regarding Method*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Thomans L., Wareing S. (1999) *Language, Society and Power*, London: Routledge.
- Thompson J. B. (2011) Shifting Boundaries of Public and Private Life. *Theory, Culture and Society*, vol. 28, no 4, pp. 49–70.
- Todorov C. (1998) *Teorii simvola* [Theories of the Symbol], Moscow: Dom intellektual'noj knigi.
- Toulmin S. E. (2003) *The Uses of Argument*, Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk T. (2008) *Discourse and Power*, New York: Palgrave Macmillan.
- Van Zoonen L. (2005) *Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge*, Oxford: Rowman & Littlefield.
- Van Zoonen L., Vis F., Mihelj S. (2011) YouTube Interactions Between Agonism, Antagonism and Dialogue: Video Responses to the Anti-Islam Film Fitna. *New Media and Society*, vol. 13, no. 8, pp. 1283–1300.
- Young I. M. (2000) *Inclusion and Democracy*, Oxford: Oxford University Press.

Фома Аквинский и европейская традиция трактатов о правлении

Александр Марей

Кандидат юридических наук, доцент школы философии факультета гуманитарных наук,
ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: amarey@hse.ru

Статья представляет собой введение к переводу на русский язык первой книги трактата «De regimine principum». В ней рассматривается место трактата в традиции «зерцал правителей», проводится краткий анализ проблем авторства и датировки трактата. В рамках европейской традиции зерцал правителей сочинение Фомы Аквинского «О правлении князей» занимает особое место. Безусловно, не первый в традиции, этот текст стал одним из самых известных в этом жанре. По его модели были написаны одноименные трактаты Птолемея Луккского и Эгидия Римского. В дискуссии о датировке автор придерживается мнения, что трактат писался в 1271–1273 годах, и адресатом его был король Кипра Уго III Лузиньян. Отдельное место в статье посвящено дискуссии о принципах перевода, центрирующейся вокруг подходов к переводу основных категорий политической философии Аквината, прежде всего — *princeps*. Высказывается мнение о невозможности переводить его русским понятием «государь» и дискутируется возможность перевода его словами «князь» и «правитель».

Ключевые слова: Аквинат, «О правлении», авторство, датировка, государь, князь

Фома Аквинский и традиция трактатов «О правлении»

В ряду трактатов, обычно называемых «зерцалами правителей»¹, небольшой текст Фомы Аквинского (1225–1274)² «De regimine principum» имеет особое значение. Разумеется, подобного рода наставления составляли важную часть политической культуры Западной Европы, как минимум со времен становления так называемых «варварских» королевств, и с этой точки зрения трактат Аквината прекрасно вписывается в традицию, являясь ее органичной частью. С другой стороны, есть несколько важных моментов, отличающих этот текст от предшествующих ему произведений того же жанра.

© Марей А. В., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-87-95

1. О жанре «зерцал правителей» и роли этих текстов в формировании политической культуры европейского Средневековья см.: Anton, 2006; Bagge, 1987; Darricau, 1979; De Benedictis, Pisapia, 1999.

2. Фома представляется слишком известной фигурой, чтобы описывать здесь его биографию. Позволю себе сослаться на несколько фундаментальных работ, в которых можно прочесть подробный очерк его жизни и творчества: Finnis, 1998; Стамп, 2012; Стецюра, 2010.

Во-первых, Аквинат не просто обновил, но коренным образом изменил аппарат, с помощью которого анализировались привычные проблемы королевской власти. В отличие от предыдущих «зерцал», построенных, как правило, на тщательной экзегезе Священного Писания и святоотеческой традиции, Фома выстроил свой текст, взяв за основу прежде всего аристотелевскую теорию политики. Разумеется, и Ветхим, и Новым Заветом он владел свободно, и материал, представленный в Библии, в полной мере нашел свое отражение в его трактате. Однако даже привычные библейские аргументы, рассмотренные в свете аристотелевской логики, уже смотрелись по-другому. В этом плане Фому следует признать новатором и, можно даже сказать, родоначальником новой традиции «зерцал» — «трактатов о правлении». Практически все последующие авторы, среди которых можно вспомнить Птолема Луккского, Эгидия Римского, Данте Алигьери, Марсилиа Падуанского и др., уже использовали в своих произведениях исследовательскую оптику, разработанную Фомой.

Во-вторых, рассматриваемый трактат писался Аквинатом уже в очень зрелом возрасте, ближе к концу его жизни, когда здоровье великого теолога оставляло желать много лучшего. Возможно, следствием этих обстоятельств стал, с одной стороны, размер трактата — даже будь он закончен самим Фомой, он вряд ли превысил бы 40–45 глав, сгруппированных в 4 книги, а с другой — плотность изложения материала. Сконцентрировав свое внимание прежде всего на проблеме тирании и ее отличия от праведного королевского правления, Аквинат, по сути, суммировал в этом небольшом трактате все те наблюдения, которые были щедро рассыпаны им по нескольким его большим сочинениям («Сумма против язычников», «Сумма теологии», «Комментарии к Сентенциям» прежде всего). В отличие, например, от одноименного трактата Эгидия Римского, в размышлениях Фомы Аквинского нет ни слова о том, как следует воспитывать короля, как ему одеваться, что и сколько пить за столом и т.д. Там совсем нет повседневных рекомендаций правителю, напротив, Аквинат отвлечен и достаточно абстрактен. Это, скорее, не наставление королю, в собственном смысле этого слова, но размышления о сути и форме королевской власти, записанные вроде бы простым, но в то же время очень плотным языком, требующим спокойного, вдумчивого, медленного чтения.

Возможно, именно эта особенность стала причиной относительно небольшой популярности трактата «О правлении князей» в Средние века. Например, упомянутый выше одноименный трактат Эгидия Римского, несмотря на его огромный размер, был гораздо шире распространен и почти сразу после написания переведен на несколько европейских языков. Трактат же Фомы сохранился в 10 основных рукописях (Aquinas, 1979: 448) и, в отличие от его «Сумм», цитировался средневековыми авторами достаточно редко. Однако та же краткость и теоретичность изложения, наряду с личностью автора, к тому времени канонизированного, и выдвинули этот трактат на одно из первых мест в раннее Новое время, когда он стал буквально настольной книгой всякого, кто задумывался о проблемах королевской власти и тирании. Наконец, именно эта черта текста Фомы делает этот трактат

одним из наиболее интересных и сложных объектов для переводчика. Однако прежде чем говорить о переводе трактата, нужно вкратце разобрать вопросы, связанные с его авторством и проблемой датировки. С последним вопросом неразрывно связан и еще один, меньшего масштаба, но тоже важный — вопрос об адресате трактата, том самом короле Кипра, по просьбе которого Фома писал этот текст.

Авторство, датировка и адресат

Активные исследования философии Фомы Аквинского начались в Европе с конца 70-х годов XIX века, после энциклики «Aeterni Patris», в которой Папа Лев XIII призвал к изучению христианской философии, и прежде всего философии Фомы. Однако до трактата «О правлении князей» исследователи всерьез добрались лишь к 20-м годам XX столетия. Одними из первых к вопросам авторства и датировки трактата обратились итальянский исследователь Э. Фьори и англичанин М. Браун (Browne, 1926; Fiore, 1924). Поставив под сомнение то, что Фома выступил автором всего трактата, они инициировали дискуссию, в которой несколько позже принял участие и А. О'Рахилли (O'Rahilly, 1929a, 1929b), высказавший мнение о том, что текст, начиная с 4-й главы 2-й книги трактата был написан учеником и секретарем Фомы Аквинского — Птолемеем Луккским. Это же утверждение было подтверждено — казалось, окончательно — Мартином Грабманном в его монументальной работе «Труды святого Фомы Аквинского» (Grabmann, 1931).

Начиная с этого времени мнение о том, что Аквинат написал первую книгу трактата и 4 первых главы второй книги, приобрело статус доказанного факта и оставалось таковым практически без исключений вплоть до 1979 года. В этом году немецкий исследователь Вальтер Мор в своих «Заметках о трактате „De regimine“» подверг сомнению авторство Фомы Аквинского и предположил, что автором трактата выступил кто-то другой, оставшийся нам неизвестным (Mohr, 1974). Его позиция, подробно разобранный Дж. Блайтом в его предисловии к переводу «De regimine» (Blythe, 1997: 3–5), на сегодняшний день практически не имеет сторонников, за исключением разве что Э. Блэка (Black, 1992). Впрочем, как замечает все тот же Блайт, в отсутствие исчерпывающего кодикологического и палеографического исследования всех рукописей трактата этот вопрос все еще остается открытым.

Со своей стороны, признавая важность аргументов Мора и Блайта, я примыкаю к тем исследователям, которые однозначно приписывают первую часть трактата «О правлении князей» (De regimine, I–II.4) Фоме Аквинскому. Два наиболее ярких аргумента, касающихся, во-первых, серьезных стилистических различий, существующих между этим трактатом и «Суммами» Аквината, и, во-вторых, изменений в политической позиции автора (в «Сумме теологии» Аквинат высказывается в пользу смешанной конституции, тогда как в «De regimine» однозначно утверждает наилучшим типом правления монархию), могут быть парированы следующим образом. Стилистические различия могут быть объяснены разницей в жанрах — если «Суммы» представляли собой, по сути, конспекты университет-

ских лекций Фомы, то трактат «О правлении» был, скорее, консультацией, ответом на частный вопрос, исходивший от одного из европейских монархов. Что же касается идеологических различий, то, как совершенно верно отметил Леопольд Женико, это могло стать результатом эволюции политических взглядов Фомы на протяжении его жизни (Genicot, 1976). Впрочем, как уже говорилось выше, окончательный ответ на вопросы как авторства, так и датировки, способно дать лишь современное критическое издание памятника.

По поводу датировки трактата существует две основных версии. Сторонники первой из них датируют трактат 1266 годом, называя в качестве его адресата юного короля Кипра Уго II Лузиньяна (1253–1267). Прекращение работы над трактатом, в рамках этой гипотезы, связывается со смертью короля, последовавшей в конце 1267 года (Browne, 1926; Grabmann, 1931; O’Rahilly, 1929a; Срединская, 1990; Aquinas, Dyson, 2002).

Вторая версия, которая гораздо ближе мне, принадлежит известному немецкому историку, автору немецкого перевода «Монархии» Данте Кристофу Флюэлеру. В своей книге, посвященной средневековой рецепции «Политики» Аристотеля, Флюэлер обращает внимание на то, что в тексте рассматриваемого трактата Фомы присутствуют ссылки практически на все книги «Политики». Это, в свою очередь, предполагает, что Фоме был знаком полный текст «Политики», переведенный на латынь Вильгельмом из Мёрбеке только в 1267–1268 гг. Следовательно, датировка трактата смещается на несколько лет, к 1271–1273 гг. (Flüeler, 1993: 27–29), адресатом его становится следующий по порядку король Кипра — Уго III Лузиньян (1267–1284), а причиной прекращения работы над трактатом — смерть Фомы.

Заметки о переводе. Контекст

На сегодняшний день уверенное лидерство в количестве переводов рассматриваемого трактата держит англосаксонская наука — мне известно о существовании шести англоязычных версий «De regimine». Поскольку некоторые из них стали мне доступны благодаря любезной помощи А. А. Фисуна только при подготовке этой статьи к печати, то в ходе работы над моим переводом я пользовался тремя из них, подготовленными Дж. Б. Феланом, Дж. Блайтом и Р. В. Дайсоном (Blythe, 1997; Aquinas, Dyson, 2002; Aquinas, Phelan, 1949). Практически все они отличаются повышенным вниманием к источникам, использованным Аквином, и в то же время не уделяют достаточно места и сил концептуализации основных понятий политической философии Фомы. Во многом это обусловлено языковой близостью — достаточно большое количество терминов перешло в английский из латыни и практически не требует перевода.

То же самое можно сказать и о существующих переводах «De regimine» на французский и испанский языки. Они использовались мной эпизодически и, к сожалению, оказались почти бесполезны — практика калькирования терминологии, по моему глубокому убеждению, влечет за собой ее «расколдовывание», пре-

вращение из терминов в обычные слова обиходного языка. Так они становятся, безусловно, понятнее, но теряют изрядную долю своего исходного смысла. То же самое, к сожалению, можно сказать и о переводе трактата на немецкий язык, подготовленном Фр. Шрайфоглем (Aquin, Schreyvogel, 1975). Он отличается достаточно слабым вниманием переводчика к терминологии перевода. Особенно это видно, когда Шрайфогль обращается к таким многослойным понятиям, как, например, «королевское служение» (*officium regis*) и т.д.

Наконец, при подготовке своего перевода я постоянно консультировался с единственным существующим переводом трактата «О правлении князей» на русский язык. Этот перевод был осуществлен Н. Б. Срединской и частично опубликован в 1990 году в хрестоматии по истории феодального общества (Срединская, 1990). При публикации он был жестоко искалечен — из него были вырезаны практически все фрагменты, имеющие теологическое содержание, а оставлена лишь рецепция аристотелевской мысли. Вместе с тем очевидно, что Аквинат в первую очередь был богословом, и его политическая теория тоже прежде всего теория богословская. Не учитывая этого, в том числе и при переводе некоторых ключевых терминов трактата, можно потерять весь его смысл. К моему сожалению, полная рукопись перевода Н.Б. Срединской на сегодняшний день осталась мне недоступна, а ее автор в личном разговоре высказала опасение в том, что она утрачена окончательно. В некоторых случаях я счел возможным следовать переводу Срединской, в иных же, специально оговоренных, расходился с ней. Все случаи моего расхождения в трактовке тех или иных понятий с иными переводами трактата везде указаны в подстрочных примечаниях к переводу.

Заметки о переводе. Терминология

Несколько слов о принципах, которыми я руководствовался при переводе трактата Фомы на русский язык. Основную трудность для меня представлял слабо разработанный словарь отечественной политической философии, из-за чего перевод многих терминов в тексте следует считать сугубо конвенциональным и подлежащим дальнейшему обсуждению и корректировке.

Тематическая специфика трактата обусловила большую долю в нем терминологии, связанной с управлением. Особое же место, как это видно даже из заглавия, занимает в нем фигура *princeps*'а. В русском переводе Н. Б. Срединской *princeps*, в полном соответствии с отечественной традицией, превращается в *государя*, что мне кажется совершенно неприемлемым.

Если коротко, то мои аргументы против такого перевода можно суммировать в трех пунктах. Во-первых, *princeps* подразумевает отношения первенства (этим словом в Риме называли первого сенатора), в то время как *государь* маркирует отношения господства. Собственно говоря, этимологически и смыслово словом *государь* может быть переведено только латинское *dominus*. Во-вторых, там, где есть *государь*, подразумевается наличие государства в понимании этого слова,

свойственном европейскому Новому времени, тогда как связи между *princeps*'ом и государством в целом не существует. Фома Аквинский, как известно, жил в безгосударственную эпоху — можно спорить, существовало ли государство, скажем, в Риме, но не с тем, что феодализм как тип общественных отношений абсолютно противоположен любой государственности. Там, где есть феодализм, то есть там, где царит правовой и политический плюрализм, где нет единой власти, единого правового пространства, государства нет и быть не может. Наконец, в-третьих, понятие *государь* подразумевает абсолютную, полную и нераздельную власть. Словосочетание «ограниченный государь» вызывает в лучшем случае усмешку, в худшем же просто непонимание. Аквинату же само представление о неограниченной, абсолютной власти в отношении какого бы то ни было светского владыки было чуждо.

Princeps требует иного перевода. Исходя из того, что Фома опирался, с одной стороны, на римскую традицию, восходящую через Августина к Цицерону, а с другой — на богословскую традицию, идущую через того же Августина к Священному Писанию, полагаю, что искать адекватный перевод для понятия *princeps* нужно именно в русле этих традиций. Этим во многом объясняется то, что я предлагаю в качестве основного эквивалента для этого понятия использовать русское слово *князь*, разумея под этим не удельного властителя, но, максимально обобщенно, человека, обладающего властью и доступом к управлению. Это слово имеет серьезные корни в нашей политической истории, но оно же активно используется и в русле библейской традиции, для перевода греческих понятий *archontes* и *basileus* (отмечу, что слово *государь* оказывается зарезервировано там для греческого понятия *kurios*, латинским эквивалентом которого является как раз *dominus*). Вторым вариантом перевода латинского *princeps* я вижу простое *правитель*. Взять его в качестве основного мне мешает то, что тем же словом — *правитель* — в моем переводе передаются латинское *rector*, а однокоренным к нему словом *правлящий* — латинские же *regens* и *presidens*.

Остальная политическая лексика, использованная Фомой в трактате, практически не вызывает вопросов. Так, словами «кормчий» и «управитель», в зависимости от контекста, передается латинское понятие *gubernator*; словами «король» или «царь» — *rex*. Слово *власть* используется для перевода понятия *potestas*, и иногда *dominium*. Впрочем, последнее, как правило, переводится понятием *владычество*, как и однокоренное ему *dominatio*. Латинское *regnum*, пока это возможно, передается либо как королевство, либо как королевская или царская власть. *Regimen*, в свою очередь, переводится как правление, так же как и *principatus*; в случае если эти два термина идут в качестве однородных (как, например, в начале 4-й главы трактата), первый переводится как правление, второй же как господство.

Разбору лексики, используемой Аквинатом для описания социальной реальности, я посвящу отдельное исследование, которое выйдет в следующем номере журнала. Поэтому здесь я ограничусь кратким перечнем слов с вариантами их перевода, встречающимися в трактате. Ключевым понятием для социальной фи-

лософии Фомы является *multitudo*, которое я, по крайней мере, пока, перевожу как *совокупность*. Словом *общность* в тексте передается латинское *communitas*, а словом *общение* — *societas*. Здесь необходимо оговориться, что за понятием *societas* для Фомы стоит не некий субъект или объект общественных отношений, не некая совокупность людей, но сам процесс их единения, коммуникации, общения, что и обуславливает выбор слова для перевода. Понятием *народ* передается традиционно латинское *populus*, словом *город* — *civitas*.

Цитаты из Священного Писания в переводе приводятся по Синодальному тексту Библии, за исключением нескольких, отдельно оговоренных в сносках фрагментов, когда Фома вольно или невольно искажал библейский текст или когда перевод Иеронима особенно сильно расходится с современной традицией. «Сумма теологии» Аквината дается в переводе А. В. Апполонова. Цицерон и Саллюстий цитируются в переводе В. О. Горенштейна, Тит Ливий — в переводе М. Е. Сергеенко. Цитаты из Аристотеля приводятся по переводам Н. В. Брагинской («Никомахова этика») и С. А. Жебелева («Политика»).

Литература

- Срединская Н. Б. (1990). Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI–XVII вв.). Ленинград: Наука. С. 217–243.
- Стамн Э. (2012). Аквинат / Пер. с англ. Г. В. Вдовиной. М.: Языки славянских культур.
- Стецюра Т. Д. (2010). Хозяйственная этика Фомы Аквинского. М.: РОССПЭН.
- Anton H. H. (2006). Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters: Speculum principum ineuntis et progredientis medii aevi. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Aquin T. von, Schreyvogel F. (1975). Über die Herrschaft der Fürsten (De regimine principum). Stuttgart: Reclam.
- Aquinas Th. (1979). Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita. T. XLII. Roma: Commissio Leonina.
- Aquinas Th., Dyson R. W. (2002). Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aquinas Th., Phelan G. B. (1949). De regno ad regem Cypri. Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
- Bagge S. (1987). The Political Thought of the King's Mirror. Odense: Odense University Press.
- Black A. (1992). Political Thought in Europe, 1250–1450. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blythe J. M. (1997). On the Government of Rulers / De regimine principum; with portions attributed to Thomas Aquinas. Philadelphia: Pennsylvania State University Press.

- Browne M.* (1926). *An sit authenticum opusculum S. Thomae «De regimine principum» // Angelicum*. Vol. 3. P. 300–303.
- Darricau R.* (1979). *Miroirs des princes // Dictionnaire de spiritualité: ascétique et mystique, doctrine et histoire*. Vol. IV. Paris: Beauchesne. P. 1025–1632.
- De Benedictis A., Pisapia A.* (eds.). (1999). *Specula principum*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Finnis J.* (1998). *Aquinas: Moral, Political and Legal Theory*. New York: Oxford University Press.
- Fiori E.* (1924). *Il trattato De regimine principum e le dottrine politiche di S. Tommaso d'Aquino // La Scuola Cattolica*. Ser. 7. P. 134–169.
- Flüeler C.* (1993). *Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten Mittelalter*. Bohum: B. R. Grüner.
- Genicot L.* (1976). *Le De regno: Speculation ou réalisme? // Verbeke G., Verhelst D.* (eds.). *Aquinas and Problems of His Time*. Louvain: Leuven University Press. P. 3–17.
- Grabmann M.* (1931). *Die Werke des Hl. Thomas von Aquin*. Münster: Aschendorff.
- Mohr W.* (1974). *Bemerkungen zur Verfasserschaft von De regimine principum // Möller J., Kohlenberger H.* (eds.). *Virtus politica*. Stuttgart: Frommann. S. 127–145.
- O'Rahilly A.* (1929a). *Notes on St Thomas. IV: De regimine principum // Irish Ecclesiastical Record*. Vol. 31. P. 396–410.
- O'Rahilly A.* (1929b). *Notes on St Thomas. V: Tholomeo of Lucca, Continuator of the De regimine principum // Irish Ecclesiastical Record*. Vol. 31. P. 606–614.

Thomas Aquinas and the European Tradition of Treatises on the Government

Alexander V. Marey

Associate Professor, Faculty of Humanities,
 Leading Researcher, Centre for Fundamental Sociology,
 National Research University Higher School of Economics
 Address: Myasnitskaya str. 20, 101000 Moscow, Russian Federation
 E-mail: amarey@hse.ru

This article is an introduction to the Russian translation of the first book of Thomas Aquinas' treatise "De regimine principum." The author considers the place of the text within the framework of the European tradition of the Mirrors of Princes, while describing, in brief, the problems of the authorship and the dating of the treatise. Among the European Mirrors of the Princes, the work of Thomas Aquinas, *On Kingship; or, On the Government of Princes*, has a special place. Thanks to its author's reputation, this text became one of the most famous influences in both European Late Medieval Philosophy and Modern Political Philosophy. Additionally, this treatise has become a model for two famous works of the same name, *On the Government of Princes*, written by Ptolemy of Lucca, and Egidio Colonna. In the discussion of the dating of Aquinas' book, the author holds the opinion that this work was composed between 1271 and 1273, and was addressed to Hugh III

Lusignan, the king of Cyprus. The special place in this article is occupied by a small terminological discussion of the Russian translation of the Latin word "princeps." The author affirms that the existing translation of this word as "Lord" (gosudar) is impossible and quite incorrect. In the author's opinion, the correct translation is "the ruler," or "the Prince."

Keywords: Aquinas, De regimine, authorship, dating, Lord, Prince, ruler

References

- Anton H. H. (2006) *Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters: Specula principum ineuntis et progredientis medii aevi*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Aquin T. von, Schreyvogel F. (1975) *Über die Herrschaft der Fürsten (De regimine principum)*, Stuttgart: Reclam.
- Aquinas Th. (1979) *Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita. T. XLII*, Roma: Commissio Leonina.
- Aquinas Th., Dyson R. W. (2002) *Political Writings*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Aquinas Th., Phelan G. B. (1949) *De regno ad regem Cypri*, Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
- Bagge S. (1987) *The Political Thought of the King's Mirror*, Odense: Odense University Press.
- Black A. (1992) *Political Thought in Europe, 1250–1450*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Blythe J. M. (1997) *On the Government of Rulers / De regimine principum; with portions attributed to Thomas Aquinas*, Philadelphia: Pennsylvania State University Press.
- Browne M. (1926) An sit authenticum opusculum S. Thomae "De regimine principum". *Angelicum*, vol. 3, pp. 300–303.
- Darricau R. (1979) *Miroirs des princes. Dictionnaire de spiritualité: ascétique et mystique, doctrine et histoire. Vol. IV*, Paris: Beauchesne, pp. 1025–1632.
- De Benedictis A., Pisapia A. (eds.) (1999) *Specula principum*, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Finnis J. (1998) *Aquinas: Moral, Political and Legal Theory*, New York: Oxford University Press.
- Fiori E. (1924) Il trattato De regimine principum e le dottrine politiche di S. Tommaso d'Aquino. *La Scuola Cattolica*, ser. 7, pp. 134–169.
- Flüeler C. (1993) *Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten Mittelalter*, Bohum: B. R. Grüner.
- Genicot L. (1976) Le De regno: Speculation ou réalisme? *Aquinas and Problems of His Time* (eds. G. Verbeke, D. Verhelst), Louvain: Leuven University Press, pp. 3–17.
- Grabmann M. (1931) *Die Werke des Hl. Thomas von Aquin*, Münster: Aschendorff.
- Mohr W. (1974) Bemerkungen zur Verfasserschaft von De regimine principum. *Virtus politica* (eds. J. Möller, H. Kohlenberger), Stuttgart: Frommann, S. 127–145.
- O'Rahilly A. (1929) Notes on St Thomas. IV: De regimine principum. *Irish Ecclesiastical Record*, vol. 31, pp. 396–410.
- O'Rahilly A. (1929) Notes on St Thomas. V: Tholomeo of Lucca, Continuator of the De regimine principum. *Irish Ecclesiastical Record*, vol. 31, pp. 606–614.
- Sredinskaya N. (1990) Foma Akvinskij. O pravlenii gosudarej [Thomas Aquinas. On the Government of Princes]. *Politicheskie struktury jepohi feodalizma v Zapadnoj Evrope (VI–XVII vv.)*, Leningrad: Nauka, pp. 217–243.
- Stump E. (2012) *Akvinat* [Aquinas], Moscow: Jazyki slavjanskikh kul'tur.
- Stetsura T. (2010) *Hozjajstvennaja jetika Fomy Akvinskogo* [The Economic Ethics of Thomas Aquinas], Moscow: ROSSPEN.

О королевской власти к королю Кипра, или О правлении князей^{*1}

Фома Аквинский

Александр Марей

(переводчик, автор комментариев)

Кандидат юридических наук, доцент школы философии факультета гуманитарных наук,
ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: amarey@hse.ru

В рамках европейской традиции зеркал правителей сочинение Фомы Аквинского «О правлении князей» занимает особое место. Безусловно, не первый в традиции, этот текст стал одним из самых известных в этом жанре. По его модели были написаны одноименные трактаты Птолемея Луккского и Эгидия Римского. Мысли Аквината, изложенные в этом трактате, легли в основу новоевропейской теории тирании, наряду со знаменитым трактатом «О тиране», написанным Бартоло да Сассоферрато. Впервые на русском языке публикуется полный комментированный перевод первой книги трактата «О правлении», где рассматриваются образы короля и тирана, обсуждается наилучшая форма правления и дискутируется проблема восстания против тирана. Важное место в переводе занимает комментарий к нему, в котором устанавливаются источники приведенных Фомой цитат и предлагаются варианты перевода ключевых терминов томистской политической философии на русский язык. В частности, в комментарии рассматривается проблема трактовки термина *multitudo*, играющего ключевую роль для всей политической и социальной философии Средних веков и Нового времени.

Ключевые слова: Фома Аквинский, «О правлении», монархия, тирания, политическая философия, перевод

Пролог

Мне, размышляющему о том, что бы преподнести королевскому высочеству достойного моего рода занятий и соответствующего занимаемому мною положению, представилось наиболее подходящим, чтобы я написал королю книгу о королевской власти (*regno*), в которой, согласно авторитету Божественного Писания, положениям философов и примерам правителей, достойных похвалы, тщательно изложил бы и происхождение королевской власти, и то, что относится к служению

© Марей А. В. (перевод, комментарии), 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-95-128

* Исследование проведено при поддержке проекта НИУ ВШЭ 16-01-0059 «„Зеркала правителей“ в политико-правовой культуре королевства Кастилии XIII — первой половины XIV веков».

1. Перевод произведен по изданию: *Sancti Thomae de Aquino. (1979). Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita. T. XLII. Roma: Editori di San Tommaso.*

короля², в соответствии со способностью собственного разума, ожидая и в начале, и в ходе, и при завершении работы помощи от того, кто есть *Царь царствующих и Господь господствующих*³, через кого правят короли, Бог, *великий господин и великий царь над всеми богами*⁴.

КНИГА 1

Глава 1. О том, что означает слово «король»

Начать же наш труд следует с объяснения того, что следует понимать под словом «король». Ведь во всех вещах, направленных к какой-либо цели и продвигающихся к ней, так или иначе, необходимо какое-либо руководство, посредством которого будет достигнута необходимая цель. Ведь корабль, которому случается двигаться то в ту, то в другую сторону, под напором разных ветров, не пришел бы к намеченной цели, если бы не направлялся к гавани трудами кормчего. И у человека также есть какая-либо цель, к которой направляется вся его жизнь и деятельность, так как он действует с помощью разума, которому, очевидно, свойственно служить достижению цели⁵. С другой стороны, людям случается продвигаться к намеченной цели различными путями, как показывает само различие челове-

2. В тексте — *officium regis*. В переводе и, как следствие, в трактовке данного понятия я расхожусь со всеми известными мне переводами данного трактата. В этом месте, как и в 7-й главе, Дж. Фелан и Дж. Блайт передают его с помощью английской кальки латинского словосочетания: *the office of a king* и, что характерно, не приводят к нему никакого пояснения. В заглавии 13-й главы трактата, полностью посвященной рассмотрению сути *officium regis*, Фелан переводит это понятие как *the duties of the king*, тогда как Блайт оставляет перевод *the king's office*. Фр. Шрайфогль при переводе *officium regis* использует как синонимы словосочетания *Beruf eines König* и *Pflicht eines König*. Все сказанное достаточно ярко свидетельствует о слабой концептуализации рассматриваемого понятия. Дополнительно на это указывает и отсутствие упоминания *officium regis* в фундаментальном «Лексиконе св. Фомы», составленном Л. Шютцем в конце XIX века (*Schütz L. [1895]. Thomas-Lexikon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in sämtlichen Werken des hl. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche. Paderborn*). Если, учитывая все сказанное выше, все же попытаться определить понимание цитированными авторами концепта *officium regis* в тексте Фомы, то окажется, что они трактуют его в «цицеронианской» парадигме как «обязанности короля», что представляется совершенно неверным.

Понятие *officium regis* было, по всей видимости, разработано непосредственно Фомой ближе к концу его жизни. На это указывает то, что оно использовалось Аквинатом практически только в рассматриваемом трактате. За пределами «О правлении князей» *officium regis* встречается один раз в «Сумме теологии» (II^a II^e.50 ad 2), один раз в «Вопросах о чем угодно» (Quodlibet III, q. 6 a. 3 arg. 2) и еще один раз в подборке комментариев к Апостольскому символу (Symb. a.7. co). Остальные 18 случаев употребления приходятся на данный трактат. Интересно, что Аквинат никогда не использовал этого понятия во множественном числе — *officia regis*, что также мешает возводить его к традиции, заложенной Цицероном.

3. Ср.: 1 Тим. 6:15; Откр. 19:16.

4. Пс. 95:3: *ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами*.

5. Аристотель. «Этика». I:7 (1098a5): Остается, таким образом, какая-то деятельная жизнь обладающего суждением [существа]. (Причем одна его [часть] послушна суждению, а другая обладает им и мыслит.) Хотя и эта [жизнь, жизнь разумного существа] определяется двояко, следует полагать ее [именно] деятельностью, потому что это значение, видимо, главнее.

ских склонностей и действий. Следовательно, человек нуждается в чем-либо, направляющем его к цели.

Ведь каждому человеку присущ от природы свет рассудка, которым он в своих действиях направляется к цели. И если бы человеку, как многим животным, подходила бы жизнь отдельно от других, он не нуждался бы ни в чем более для направления к цели, но каждый был бы королем самому себе под Богом — высшим царем, к которому он сам бы направлял себя в своих действиях посредством света рассудка, божественным образом данного ему. Для человека же, более чем для любого другого животного, естественно быть животным общественным и политическим, живущим в *совокупности*⁶, что объясняется природной необходимостью⁷. Ведь для прочих животных природа приготовила еду, волосяные покровы, защиту, как, например, зубы, рога и когти, либо, на крайний случай, быстроту в бегстве. Человек же устроен так, что у него нет от природы ничего из этого. Вместо всего ему дан рассудок, посредством которого он мог бы приготовить себе это все с помощью своих рук, но для того, чтобы все это сделать, недостаточно одного человека. Следовательно, один человек не смог бы вести самодостаточную жизнь, и, следовательно, для человека естественно жить в *общении* многих.

Более того: у прочих животных есть врожденное умение различать все, что для них полезно или вредно, как, например, овца от природы видит в волке врага. Также некоторые животные обладают природным умением распознавать некие це-

6. В тексте: *in multitudine vivens*; понятие *multitudo* представляет собой серьезную проблему для перевода его на русский язык. Н. Б. Срединская переводит его дословно, как «множество» (*Срединская Н. Б. [1990]. Фома Аквинский. О правлении государей // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе [VI–XVII вв.]. Ленинград: Наука. С. 217–243*); А. В. Аполлонов в своем переводе «Суммы теологии» передает это понятие словом «народ». Первый вариант мне кажется неподходящим по причине сильных математических коннотаций, связанных с этим словом; второй же и вовсе представляется неверным и неточным. Традиция перевода этого слова в данном трактате Аквината на различные языки достаточно однообразна. Одним из наиболее оригинальных переводчиков выступает Р. В. Дэйсон, передающий это слово с помощью английских понятий *community*, *section of the community* и *class* (*Aquinas Th. [2002]. Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press*); Дж. Б. Фелан, переведший этот же трактат за 50 лет до Дэйсона, уходит от проблемы, передавая *multitudo* то как *group*, то как *multitude* (*Aquinas T. Phelan G. B. [1949]. De regno ad regem Cypri. Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies*). В немецком переводе, подготовленном Фр. Шрайфоглем, выражение *in multitudine* в этом контексте передано как *in Gesellschaft mit vielen* (*Aquin T. Von, Schreyvogel F. [1975]. Über die Herrschaft der Fürsten [De regimine principum]. Stuttgart: Reclam*), т. е. «в общении со многими», тогда как в других местах этого же трактата Шрайфогль прибегает и к использованию кальки с *multitudo*, т. е. *Vielheit*. Во французском переводе 1946 г., равно как и в недавно вышедшей работе Фр. Даре (*Dague F. [2015]. Du politique chez Thomas d'Aquin. Paris: Vrin*) калька — слово *multitude*. Я использую слово совокупность для того, чтобы передать основную, как мне кажется, идею, лежащую за этим словом: *multitudo* представляет собой неопределенное множество людей, проживающих вместе, но — и это важно! — не составляющих общество; совокупность не субъектна, в чем она противоположна, в частности, народу (ср. выражение Августина в трактате «О граде Божьем», кн. 19, гл. 24).

7. В данном фрагменте Фома дает отсылку к знаменитому пассажиру из «Политики» Аристотеля (Pol. I.2, 1253a), в котором Аристотель называет человека «существом политическим» (пер. С. А. Желбелева). Вильгельм из Мёрбеке переводит это место как *homo natura civile animal est*. В данном случае Аквинат соединяет формулу Аристотеля с высказыванием Сенеки (De clem. III.2); та же самая формула повторяется Фомой еще дважды: Summa I–II, 72, 4; In Periherm. I, 2.

лебные и необходимые для их жизни травы. Человек же лишь в общем обладает естественным знанием о том, что необходимо для его жизни, как бы для того, чтобы, имея это знание, с помощью рассудка прийти от всеобщих начал к познанию единичных вещей, необходимых для человеческой жизни. Но невозможно, чтобы один человек постиг все такого рода своим рассудком. Следовательно, человеку необходимо жить в совокупности [себе подобных], чтобы один помогал бы другому, и каждый отдавался бы рассудком чему-нибудь одному, например, один медицине, второй — другому, третий — чему-нибудь еще.

Это очевиднейшим образом доказывается тем, что для человека свойственно пользоваться речью, посредством которой один человек может в полной мере изъяснить другим свое понимание. Прочие же животные так же, в общем, выражают свои страсти, как, например, собака выражает гнев лаем, и остальные звери по-разному выражают свои страсти. Но человек более склонен к общению с другим, чем какое-либо иное животное из тех, что зовутся стадными, как, например, журавль, муравей и пчела. И Соломон, рассуждая об этом, говорит: *Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение во взаимном общении*⁸.

Следовательно, если человеку свойственно жить в обществе многих, то необходимо, чтобы в людях было бы нечто, чем управлялась бы совокупность. Ведь если бы существовало много людей, и каждый из них пекся бы лишь о том, что нужно ему, то вся совокупность рассыпалась бы на части, если бы также не было бы кого-либо, заботящегося о том, что относится к благу совокупности. Так и тело человека, как и любого животного, распалось бы, если бы не было в нем какой-либо общей управляющей силы, стремящейся к общему благу всех членов. Размышляя об этом, Соломон говорит: *Где нет правителя, рассыпается народ*⁹.

Это же согласуется и с доводами рассудка, ведь собственное и общее не есть одно и то же: сообразно собственному вещи различаются, сообразно же общему — объединяются. У разных вещей и причины различны. Следовательно, добавляет, чтобы помимо того, что подвигает каждого к его личному благу, было бы что-то, что подвигало бы к общему благу многих. По этой же причине, когда все вещи объединяются воедино, находится нечто, управляющее остальными. Ведь в целокупности¹⁰ тел все прочие тела управляются первым, то есть небесным телом по некоему распоряжению Божественного провидения, и все тела управляются разумным созданием. В человеке также душа правит телом, а между частями

8. Несколько искаженная цитата из книги Екклезиаста. Аквинат, цитируя, вероятно, наизусть, изменяет последние слова стиха с *societatis suae* на *tutiae societatis*. В оригинале: Еккл. 4:9: *Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их*.

9. В тексте: *ubi non est gubernator, dissipabitur populus*. Притч. 11:14: *При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует*. Аквинат приводит искаженную цитату, собранную из двух частей: Притч. 11:14 и Притч. 29:18. Причину искажения в данном случае установить сложно. Риску предположить, что звучное латинское *dissipabitur* из Притч. 29:18 в данном контексте понравилось Фоме больше маловыразительного *corruet*, стоящего в Притч. 11:14. Ничем иным это объяснить не получается — как видно из других его трудов, он прекрасно знал обе эти цитаты и, при необходимости, различал их.

10. В тексте: *universitas*.

души — яростная и вожделеющая управляются разумом¹¹. Также и между членов тела есть один главный, который движет всеми, как сердце или голова. Следовательно, подобает и во всякой совокупности быть чему-либо управляющему.

Случается в некоторых вещах, направленных к некоей цели, достигать ее и правильным путем, и неправильным; так и в правлении совокупностью встречается и правильное, и неправильное. Далее: что-либо управляется правильно, когда направляется к подобающей для него цели, неправильно же — когда к неподобающей. Совокупности же свободных и совокупности рабов подобают разные цели. Ведь свободен тот, кто служит причиной самому себе, а раб — тот, кто является тем, кем является, из-за другого¹². Следовательно, если совокупность свободных направляется правящим к общему благу совокупности, это будет правление правильное и праведное, которое и подобает свободным. Если же оно направляется не к общему благу совокупности, а к частному благу правящего, это будет неправедное и извращенное правление, отчего и Господь угрожает таким правителям через книгу Иезекииля, говоря: *горе пастырям, что пасут самих себя* (как бы взыскавая собственной выгоды), *не стада ли должны пасти пастыри?*¹³ Ведь пастыри должны искать блага для стада, а любые правители — блага для подчиненной им совокупности.

Итак, если неправедное правление вершится лишь одним человеком, который преследует в правлении свою выгоду, а не благо подчиненной ему совокупности, то такой правитель называется тираном, имя которого производное от силы, так как он, разумеется, подавляет мощью, а не правит справедливостью; потому и древних могущественные люди звались тиранами¹⁴. Если же неправедное правление вершится не одним, но несколькими, хотя и не многими, это называется олигархией, то есть княжением немногих, когда несколько человек ради богатств подавляют простой народ, лишь множественностью своей отличаясь от тирана. Если же несправедливое правление осуществляется многими, это называется демократией, то есть владычеством народа, когда народ, разумеется, плебеи, мощью совокупности подавляет богатых. Ведь тогда весь народ будет как бы одним тираном.

Равным образом подобает различать и праведное правление. Ведь если оно осуществляется некоей совокупностью, то называется общим именем *политии*,

11. Аквинат апеллирует здесь к трактату Аристотеля «О душе», где Стагирит обсуждает деление души на душу вожделеющую, душу яростную и душу разумную (De anima, III.9, 432a–b).

12. Metaphys, I.2, 982b.

13. Иез. 34:2: *сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасти себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?*

14. Этимология заимствована Фомой у Исидора Севильского, который в «Этимологиях» пишет (Etym. IX.3.19–20): «Тираны — это по-гречески то же, что по-латыни цари. Ведь у древних не было никакого различия между царем и тираном, о чем говорит Вергилий (Virg. Aen. 7, 266). Ведь сильные цари назывались тиранами, от *tiro* — сильный. О них говорит Господь (Притч. 8:15, искаж.): *Мною цари царствуют и тираны Мною держат землю*. После же вошло в обычай звать тиранами наихудших и нечестивейших царей, гнетущих народы жесточайшим угнетением и алчной жадностью». Исидор, в свою очередь, в этой фразе дословно процитировал Августина (De civ. V.19).

например, когда совокупность воинов господствует в городе¹⁵ или провинции. Если же она осуществляется немногими и при этом добродетельными, то такого рода правление будет зваться аристократией, то есть владычеством лучшим или лучших, называемых по этой причине оптиматами. Если же праведное правление будет надлежать лишь одному, то он в полном смысле будет зваться королем, о чем Господь говорит через Иезекииля: *Раб мой Давид будет царем над всеми и пастырем всех их*¹⁶. Из этого ясно видно, что смысл короля в том, чтобы тот, кто будет править, был бы один и чтобы он был пастырем общего блага совокупности, а не взыскующим своей выгоды.

Раз человеку надлежит жить в совокупности, поскольку он не может обеспечить себе все необходимое для жизни, то правильно, чтобы *общение многих*¹⁷ было тем более совершенным, чем более оно будет самодостаточным для удовлетворения жизненных нужд. Ведь некая достаточность для жизни есть в одной семье, проживающей в одном доме, в том, разумеется, что касается естественных актов питания и порождения потомства, и прочего в том же роде; на одной же улице¹⁸ — в том, что относится к одному ремеслу; в *городе* же, который является совершенной *общностью*, — во всем необходимом для жизни; но еще более в пределах одной провинции — для необходимости совместной борьбы и взаимопомощи против врагов¹⁹. Поэтому тот, кто правит совершенной общностью, то есть горо-

15. В тексте — *civitas*. В отличие от Н. Б. Срединской, предлагавшей переводить это слово в данном контексте как *город-государство*, я придерживаюсь более простого и, как представляется, в данном случае более верного перевода *город*.

16. Иез. 37:24: *А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их*.

17. В тексте: *societas multitudinis*. В данном случае слово *общение/societas* стоит в сильной грамматической позиции, в то время как *multitudo* занимает слабую. Это служит причиной для передачи его описательным «многих». В свою очередь, *societas* передается русским *общение* с целью избежать нежелательных коннотаций, возникающих в современном русском языке с понятием *большого общества*.

18. Понятие *vicus* Фома заимствует из латинского перевода «Политики». В трактовке этого понятия как улицы в данном контексте я совпадаю с Дж. Феланом и Н. Б. Срединской. В то же время Р. В. Дайсон переводит это слово английским *locality*, сближая текст Фомы с аристотелевской «Политикой», а Дж. Блайт отдает предпочтение понятию *neighborhood*, отмечая, что оно может относиться как к поселению, так и к городскому кварталу, но подчеркивая при этом, что в данном случае имеется в виду второе значение (Blythe J. [1997]. On the Government of Rulers / De regimine principum; with portions attributed to Thomas Aquinas. Philadelphia.. P. 64, infra 19).

19. В этом пассаже Аквинат воспроизводит схему, предложенную Аристотелем в его «Политике» (Pol. I:2, 1252b), дополняя ее замечанием об уровне провинции. Фелан и следующая за ним в этом вопросе Срединская (Срединская, 1990. С. 235, сноска 12) видят в упоминании Фомой провинции наследие римской имперской культуры, с чем я согласиться не могу. Анализ использования этого слова Фомой в различных его сочинениях показывает, что для него провинция представлялась объединением более крупным, чем город, но, как правило, менее серьезным, чем королевство, более того — его составной частью. На это, в частности, указывает цитата из его «Комментариев к Сентенциям»: «...Одно собрание (congregatio) или общность включает в себя другую, как общность одной провинции включает общность одного города, а общность королевства — общность одной провинции, а общность всего мира — общность отдельного королевства» (Super Sent., lib. 4 d. 24 q. 3 a. 2 q. 3 co). Ни одного контекста в творчестве Аквината, где провинция упоминалась бы совместно с империей, как ее составная часть или как-либо еще, нет. Нет оснований и выстраивать иерархию «совершенных общностей» в концепции Фомы: из его текста представляется очевидным, что любая общность

дом или провинцией, по аналогии называется королем. Тот же, кто правит домом, зовется не королем, но домовладыкой²⁰, но имеет все же некое сходство с королем, по какой причине королей иногда называют отцами народов.

Из сказанного ясно, что король — это тот, кто один правит совокупностью города или провинции ради общего блага; потому и Соломон говорит: *и сверх того, царь повелевает всей землей, служающей ему*²¹.

Глава 2. О том, что более подобает городу или провинции: управляться многими или единым правителем

Сделав такое вступление, надлежит спросить, что больше подходит провинции или городу — управляться многими или одним.

На это можно ответить исходя из самой цели правления. Намерение любого правящего должно быть направлено на то, чтобы он заботился о благе того, что принял под управление. Так, для кормчего это привести корабль в порт спасения невредимым, сберегая его от морских опасностей. Благо же и спасение соединенной совокупности в том, чтобы сохранялось ее единство, называемое миром; если же мир пропадает, то гибнет польза от жизни в общении²², и сама совокупность в состоянии раздора становится обременительной для себя. Итак, вот к чему должен более всего стремиться правитель совокупности, — к тому, чтобы сохранить единство мира; и не должен он принимать решения о том, устраивать ли ему мир в подчиненной ему совокупности, как не должен решать врач, лечить ли ему больного, порученного ему; никто не должен принимать решение о цели, к которой он должен стремиться, но лишь о средствах к этой цели²³. Об этом говорит и апо-

(*communitas*) уровня города или выше имеет статус совершенной (*perfecta*), степень же совершенства значения не имеет (помимо *civitas*, обозначаемой как совершенная общность в достаточно большом количестве фрагментов, встречаются обозначения этим же термином провинции, королевства [Ша-Пае, с. 50 а. 1 со] и даже всего мира).

20. Фома использует здесь игру слов: употребленное им латинское понятие *paterfamilias*, означающее в римском праве домовладыку, может быть дословно (хотя и некорректно) переведено как «отец семейства». Отдельно стоит отметить, что фигура домовладыки вводится Аквином самостоятельно — в тексте Аристотеля, переведенном Вильгельмом из Мёрбеке, говорится, что селение управляется *старейшим* (*senissimus*).

21. Еккл. 8:5. В Синодальном переводе Библии фраза выглядит совсем по-иному: *Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране*, что объясняется тем, что этот текст, как и все современные Библии, существующие на национальных языках, был переведен с греческого, а не с латыни. В латинском тексте Иеронима, которым пользовался Фома, цитируемая фраза выглядит так: *et insuper universae terrae rex imperat servienti*.

22. Словосочетанием «жизнь в общении» я передаю латинское *vita socialis*.

23. Здесь Аквинат практически дословно воспроизводит соответствующий пассаж из «Этики» Аристотеля (EN. III.5, 112b), знакомой ему в переводе Роберта Гроссетеста. Интересный комментарий к этому месту оставил Фелан, отметивший, что Фома оказался введен в заблуждение латинским переводом, в котором словом *pac* (мир) оказалось передано греческое *εὐνομία*, то есть благозаконие (в русском переводе — законность). Между тем ошибка переводчика в данном случае оказывается весьма «говорящей»: для монаха-францисканца, которым был Гроссетест, живущего в реалиях феодального общества, мир был гораздо более значимой ценностью, чем некое, не вполне понятное для него «бла-

стол, восхваляя единство верного народа: *старайтесь сохранять единство духа в союзе мира*²⁴. Итак, чем эффективнее будет правление в деле соблюдения единства мира, тем полезнее будет оно; мы говорим «полезнее» в смысле «будет более соответствовать цели». Также ясно, что единство лучше сможет обеспечить то, что в самом себе едино, нежели то, что множественно, как действеннейшая причина согревания есть то, что само по себе горячо. Следовательно, правление одного полезнее правления нескольких.

Более того, ясно, что несколько людей никоим образом не смогут управлять совокупностью, если будут во всем несогласны; следовательно, для того чтобы эти несколько могли править каким-либо образом, от них требуется некое объединение, так как много людей не приведут корабль в одну сторону, если не будут как-либо соединены. О многих же говорят, что они объединяются, когда они как бы сближаются в одно; итак, лучше правит один, так как они только сближаются, чтобы стать одним.

К тому же то, что происходит согласно природе, устроено наилучшим образом, ведь природа в каждом конкретном случае действует превосходно. Всякое же естественное правление идет от одного: в совокупности членов есть один, который все движет, то есть сердце, а среди частей души есть одна сила, стоящая над другими, то есть разум. И у пчел один царь, и во всей вселенной един Бог творец всего и правитель. И это согласно разуму, ведь всякая совокупность происходит от одного. Потому, если то, что делается искусственно, повторяет то, что делается согласно природе, и произведение искусства тем лучше, чем более достигнуто его подобие с тем, что есть в природе, то необходимо следует, что в человеческой совокупности наилучшим будет то, что будет управляться одним.

Это также ясно и из опыта. Ведь провинции и города, которые не управляются единолично, одолеваемы раздорами и пребывают в волнении, не зная мира, что, думается, нужно дополнить тем, что Господь говорит, жалуясь через пророка: *множество пастухов испортили мой виноградник*²⁵. Напротив, провинции и города, которые управляются одним королем, наслаждаются миром, цветут в справедливости и радуются изобилию вещей. Поэтому Господь и обещает через пророков своему народу как великий дар, что Он поставит ему единого главу и что *единный князь будет среди них*²⁶.

гозаконие». Эпоха феодализма, как это неоднократно отмечалось исследователями, была временем правового плюрализма и сама идея единой системы законов была чужда ей. С другой стороны, как опять-таки неоднократно отмечалось, средневековый социум был «обществом, организованным для войны» (см. например, классическую работу (Lourie E. [1966]. A Society Organized for War: Medieval Spain // Past and Present. Vol. 35. P. 54–76) и понятие мира обладало в нем почти сакральной ценностью.

24. Ефес. 4:3.

25. Иер. 12:10: *Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью.*

26. Иез. 34:24: *И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это; ср. также Иер. 30:21: И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь.*

Глава 3. О том, что правление тирана является наихудшим

Точно так же, как правление короля является наилучшим, правление тирана — наихудшим. Ведь политике противопоставляется демократия, обе же они, как ясно из сказанного, суть правление, осуществляемое многими; аристократии же — олигархия, обе же они осуществляются немногими; королевскому же правлению — тирания, ведь обе они творятся одним человеком. Что правление короля наилучшее, было показано раньше; если же наилучшему противопоставляется наихудшее, то необходимо, чтобы правление тирана было наихудшим.

Кроме того, объединенная *сила* более действительна в достижении результата, чем рассеянная или разделенная: ведь многие, будучи собраны вместе, тянут то, что не может быть сдвинуто ими по отдельности, если разделить это на каждого. Итак, сколь полезнее силе, действующей на благо, быть единой, чтобы она была сильнее в творении блага, столь же и даже более вредно, если сила, действующая во зло, будет единой, а не разделенной. Сила же несправедливо правящего действует во зло совокупности, доколе общее благо совокупности она будет обращать в его собственное благо. И точно так, как в праведном правлении оно тем полезнее, чем единее правящий (как королевское правление полезнее аристократии, аристократия же полезнее политике), так же, но, напротив, будет в несправедливом правлении (где, разумеется, чем более един правящий, тем более он будет вредоносен). Итак, тирания более вредна, чем олигархия, олигархия же вреднее демократии.

Более того, правление становится несправедливым, когда, презрев общее благо совокупности, ищет частного блага правящего. Следовательно, чем более оно отступает от общего блага, тем более становится несправедливым. Больше от общего блага отступает правление при олигархии, когда оно ищет блага немногих, чем при демократии, когда взыскуется благо многих; еще же больше отдалается оно от общего блага при тирании, когда стремится к благу лишь одного человека. Всей же целокупности многое ближе немногочисленного, а немногое — одного-единственного; следовательно, правление тирана является самым несправедливым.

В то же время это ясно видно тем, кто созерцает порядок Божественного провидения, который все располагает наилучшим образом. Ведь доброе во всем следует из единой совершенной причины, как бы объединившей все, что может способствовать добру, злое же — по отдельности, из отдельных недостатков. Ведь в теле не будет красоты, если только все члены не будут подобающе расположены; уродливость же появляется, когда какой-либо член ведет себя неподобающе. Итак, уродливость проистекает разнообразно и из многих причин, красота же — единообразно, из единой совершенной причины. Так происходит и во всем добром и злом, будто Бог позаботился о том, чтобы добро, истекающее из единой причины, было бы сильнее, зло же — из разных причин и слабее. Итак, полезно, чтобы праведное правление было бы как можно более единым, дабы быть сильнее; если же правление отклонится от справедливости, то полезнее, чтобы оно осуществлялось многими, которые мешали бы друг другу, и оно было бы слабым. Следовательно,

среди несправедливых правлений более сносна демократия, наихудшая же — тирания.

Также это совершенно ясно для того, кто обдумывает беды, проистекающие из тирании. Ведь если тиран, презрев общее благо, взыскует блага частного, то из этого следует, что он будет притеснять подданных различными способами, вредя тем или иным благам в соответствии с тем, каким страстям он подвержен. Так, тот, кто одержим алчностью, грабит блага подданных, о чем и говорит Соломон: *Праведный царь возвышает землю, жадный муж разоряет ее*²⁷. Если же он будет одержим гневливостью, то будет лить кровь попусту, о чем говорится у Иезекииля: *Князя у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь*²⁸. От такого вот правления следует бежать, как говорит об этом мудрец, предупреждая: *Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять*²⁹, раз он убивает не ради правосудия, но с помощью своей власти ради похоти воли. Ни в чем, следовательно, нельзя здесь быть уверенным, но все ненадежно, так как отходит от права; ни о чем нельзя утверждать, каково оно, так как находится оно в воле, не сказать, в похоти другого.

Тиран притесняет подданных не только в телесных вещах, но также и в духовных благах. И так как они более стремятся быть первыми, нежели полезными³⁰, то препятствуют они всякой выгоде своих подданных, подозревая в любом их возвышении угрозу своему несправедливому правлению. Ведь тиранам честные люди подозрительнее, чем дурные, и чужая доблесть всегда их страшит³¹. И потому вышеназванные тираны стараются помешать своим добродетельным подданным, чтобы те, движимые благородством, не набрались бы мужества и не решились бы не терпеть их несправедливое владычество. Стремятся они также к тому, чтобы не заключалось бы между их подданными соглашений о дружбе и чтобы не радовались они благам мира, но наоборот, ибо пока один не доверяет другому, не смогут они ничего замыслить против их власти. Ради этого они сеют между самими подданными разногласия, вскармливают ссоры и запрещают то, что относится к объединению людей, как, например, браки и сожителства, и прочее того же рода, посредством чего между людьми обыкновенно возникают приятельство и доверие³². Стремятся

27. Перевод Иеронима здесь опять отходит от канона. В Синодальном переводе этот стих выглядит следующим образом: Притч. 29:4 *Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее*.

28. Иез. 22:27: *Князя у нее как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть* (ср. также: Зеф. 3:3).

29. Сир. 9:16: *Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти*.

30. В переводе теряется латинская игра слов: руководить — *praeesse*, приносить пользу — *prodesse*.

31. Это практически прямая цитата из «Заговора Катилины» Саллюстия. Фома не указывает на цитирование и изменяет в цитате одно слово — вместо «царей» у Саллюстия здесь появляются «тираны» (Sallust. Bell. Cat. 7.2: *Nam regibus boni quam mali suspectiores sunt semperque iis aliena virtus formidulosa est*). Здесь цитата приводится в переводе В. О. Горенштейна.

32. Три предыдущих фразы представляют собой подробный пересказ пассажа Pol. V.9.2–5 (1313a–1313b) из «Политики» Аристотеля. Исключение составляет замечание о браке и сожителстве — не столь актуальное в реалиях полиса для Аристотеля, оно было гораздо более важным для Аквината в XIII веке.

они также и к тому, чтобы подданные не были могущественны или богаты. Ведь подозревая, что подданные столь же злы, как и они сами, они боятся, чтобы богатства и могущество тех не были бы использованы во вред им, точно так же, как они сами пользуются своей мощью и богатствами, чтобы причинять вред. Потому и в книге Иова говорится о тиране: *Ужасный звук всегда в ушах его, и там, где мир, то есть там, где никто не злоумышляет против него, он всегда подозревает западню*³³.

Из этого также следует, что при правлении тиранов мало встречается добродетельных людей, так как правящие, которые должны бы вести подданных к добродетелям³⁴, нечестиво завидуют их добродетели и препятствуют ей, как только могут. Ведь, согласно высказыванию Аристотеля³⁵, сильные мужи встречаются там, где в почете сильнейшие. И, как говорит Туллий, «что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование и немного стоит»³⁶. Ведь естественно, что люди, вскормленные в страхе, вырождаются в людей рабского духа и малодушно смотрят на любое дело, требующее мужества и отваги. Это ясно по опыту тех провинций, что долго были под тиранами. Потому и апостол говорит в Послании к Колоссянам: *Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали*³⁷.

Осознавая весь этот вред от тирании, царь Соломон говорит: *Когда правят нечестивые, это разорение для людей*³⁸, так как, разумеется, посредством нечестия тиранов подданные отпадают от совершенства добродетелей. Также он говорит: *Когда господствует нечестивый, народ стонет*³⁹, как бы уведенный в рабство. И еще: *Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются*⁴⁰, дабы избежать жестокости тиранов. И это не удивительно, так как человек, правящий безрассудно, по винуясь похоти своей души, ничем не отличается от животного, о чем и Соломон говорит: *рыкающий лев и голодный медведь, нечестивый правитель над бедным народом*⁴¹. И потому люди укрываются от тиранов, словно от жестоких зверей, так как представляется одно и то же — подчиниться тирану и склониться перед свирепым зверем.

Глава 4. О том, почему подданным становится ненавистно царское достоинство

Итак, из-за того, что наилучшее и наихудшее правление заключается в монархии, то есть в господстве одного, то многим царское достоинство становится ненавист-

33. (Иов. 15:22) Как это обычно бывает, Иероним здесь неточен в переводе. В оригинальном тексте так: *Звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него губитель.*

34. EN. II.1 (1103b).

35. EN. III.8 (1116a).

36. Tusc. I.2.

37. Кол. 3:21.

38. Притч. 28:12; опять неточный перевод Иеронима. Должно быть так: *Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются.*

39. Притч. 29:2.

40. Притч. 28:28.

41. Притч. 28:15.

ным из-за злобы тиранов; некоторые же, напротив, желая царского правителя, подвергаются свирепости тиранов, многие же правители под именем царского достоинства осуществляют тиранию.

Пример же этого с очевидностью появляется в Римской республике⁴². Ведь когда римский народ изгнал царей, чью царскую или, скорее, тираническую, надменность люди не могли выносить, они, желая сменить царскую власть на аристократию, установили себе консулов и иных магистратов, которые начали править ими и направлять их. И, как сообщает Саллюстий: «Но трудно поверить, в сколь краткий срок город Рим усилился, достигнув свободы»⁴³. Ведь часто случается, что люди, живущие под царем, менее пекутся об общем благе, полагая, что то, чем они жертвуют во имя общего блага, пойдет на пользу не им самим, но другому, под чьей властью, как они видят, находятся *общие блага*. Когда же они видят, что общее благо не находится под властью кого-то одного, то не относятся они к нему как к чему-то, что принадлежит другому, но каждый относится к нему, как к своему. Ведь из опыта видно, что один город, управляемый ежегодно сменяемыми правителями, может подчас больше, чем какой-либо царь, имеющий три или четыре таких города, и скромные подати, собираемые царями, переносятся тяжелее, нежели тяжкое бремя, если оно накладывается общностью граждан. Это и послужило к возвышению Римской республики. Ведь плебс и записывался на службу, и платил тем, кто служил; а когда общественной казны не хватало для выплат, «на общественные нужды пошли частные богатства, вплоть до того, что даже сенаторы не оставили себе ничего из золота, кроме золотых колец, по одному у каждого, и булл, по одной же, бывших знаками достоинства»⁴⁴.

Но, в конце концов, римляне измучились от продолжительных раздоров, перераставших в гражданские войны. Ими была вырвана из их рук свобода, коей отдали они столько сил, и они начали жить под властью императоров, которые сначала не хотели называть себя царями, так как имя царей было ненавистно римлянам. Некоторые из императоров, словно цари, верно заботились об общем благе, и их усилиями Римская республика увеличивалась и сохранялась. Многие же из них,

42. В тексте *res publica*. Во-первых, обращает на себя внимание, что для Аквината это понятие уже представляет собой одно слово, а не два, как, например, для Августина и Цицерона; во-вторых, очевидно, что оно по-прежнему служит не для обозначения формы государственного устройства, но как обобщающее для обозначения политической общности вообще. В этом плане *regnum* является частным случаем *res publica*. Слитность написания наводит на мысль о том, что цicerонианское понимание *res publica* как общего достояния граждан для Аквината уже теряет свою релевантность, слово начинает использоваться в силу традиции. Полагаю, что это во многом объясняет, почему мыслители XVI века (Витория, Боден и др.) будут использовать именно это слово для обозначения феномена *государства*.

43. Sallust. Bell. Cat., 73 (cfr. Aug. De civ. 5.12.1, где Августин приводит эту же цитату); цитата из Саллюстия приводится здесь в переводе В. О. Горенштейна. Единственная замена, сделанная мной, касается термина *ciuitas*. В случае с Цицероном или Саллюстием этот термин правильно и логично переводить как «гражданская община»; для Аквината же это «город» как совокупность людей и построек и одновременно как один из видов «совершенной общности» (*communitas perfecta*).

44. Несколько искаженная цитата из Августина (De civ. 3.19).

будучи по отношению к подданным тиранами, а по отношению к врагам — бездеятельными и робкими, обратили Римскую республику в ничто.

Похожий процесс был также и в еврейском народе. Сперва, когда они управлялись судьями, то со всех сторон раздирались они врагами, так как *каждый из них творил, что было ему угодно*⁴⁵. Когда же им, по их прошению, Богом были даны цари⁴⁶, они отступили от почитания единого Бога из-за дурных царей и, в конце концов, были уведены в плен.

Итак, опасность есть с обеих сторон: либо когда отказываются от наилучшего королевского правления из страха перед тираном, либо когда желанная королевская власть оборачивается тиранической злобой.

Глава 5. О том, что когда монархия оборачивается тиранией — это меньшее зло, нежели когда извращается правление многих оптиматов

Когда же надлежит выбирать из двух вещей, каждая из которых грозит опасностью, безусловно, следует выбирать ту, от которой последует меньшее зло. Из монархии же, если она оборачивается тиранией, следует меньшее зло, чем из правления многих оптиматов, если оно извращается. Ведь раздор, зачастую происходящий из правления многих, противоположен благу мира, которое является важнейшим для *общественной* совокупности⁴⁷; тиранией же не устраняется это благо, но ставятся препятствия неким благам отдельных людей, если только это не будет чрезмерная тирания, свирепствующая против всей общности. Итак, скорее следует предпочесть правление одного, нежели многих⁴⁸, хотя опасности протекают и из одного, и из другого.

Далее, скорее следует избегать того, из чего часто могут проистекать великие опасности. Наибольшие же опасности для совокупности чаще следуют из правления многих, нежели из правления одного. Ведь чаще случается, когда кто-либо из многих отступает от стремления к общему благу, нежели когда правитель лишь один. Когда же кто-либо из многих правящих отвернется от стремления к общему благу, совокупности подданных будет грозить опасность раздора, так как если ссорятся князья, логично, что и в совокупности начинается раздор. Если же правит один, то он чаще оборачивается к общему благу; если же он оставит стремление к общему благу, то из этого не обязательно следует, что он устремится к всемерному подавлению подданных, что является чрезмерной тиранией и самым дурным среди дурных правлений, как было показано выше. Следовательно, скорее следу-

45. 1 Цар. 3:18: *И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал [Илий]: Он — Господь; что Ему угодно, то да сотворит.* В этом фрагменте правление судей описывается как худшее, по сравнению с царским правлением. Дж. Блайт обращает внимание на принципиально иную трактовку образа судей Израильских со стороны Птолея Луккского (см.: II.8-9).

46. 1 Цар. 12:13–15.

47. В тексте: *multitudo socialis*.

48. Интересный перевод «правления многих» предлагает Фелан, передающий это словосочетание одним английским *polyarchy*.

ет бежать от опасностей, происходящих от правления многих, нежели от тех, что происходят из правления одного.

Далее, правление многих может обернуться тиранией не менее чем правление одного, и происходит это гораздо чаще. Ведь когда возникает раздор вследствие правления многих, часто случается, что один превосходит остальных и присваивает власть над совокупностью себе одному. Это может быть ясно наблюдаемо из того, что происходило в течение времени. Ведь почти всякое правление многих заканчивается тиранией, что наиболее ясно на примере Римской республики. Она, после того, как долго управлялась многими магистратами, и после того, как начались вражда, раздоры и гражданские войны, попала под власть жесточайших тиранов. И в целом, если кто-либо тщательно рассмотрит дела прошедшие и то, что происходит сейчас, он найдет больше тираний в краях, управлявшихся многими, нежели в тех, которые управляются одним. Итак, если представляется, что из-за тирании следует как можно более избегать королевской власти, то есть наилучшего правления, то тирания обычно гораздо чаще устанавливается в правлении многих, нежели в правлении одного. Получается, в простоте, что гораздо более подобает жить при одном короле, нежели при правлении многих.

Глава 6. Как следует заботиться о том, чтобы король не превратился в тирана

Следовательно, раз надлежит предпочесть правление одного, которое наилучшее, а ему случается превращаться в тиранию, которая есть наихудшее правление, что явствует из сказанного, то следует с тщательным усердием озаботиться, чтобы у совокупности был король и чтобы люди не попали под власть тирана.

Во-первых, необходимо, чтобы теми, чьей обязанностью это является, в короли был выдвинут человек такого характера, чтобы его невозможно было бы склонить к тирании. Потому Самуил, вверяясь провидению Божьему относительно установления царя, говорит: *Господь нашел Себе мужа по сердцу Своему, и повелел ему Господь быть вождем народа Своего*⁴⁹. Затем следует так устроить управление королевством, чтобы у установленного уже короля устранить всякую возможность тирании. В то же время его власть будет ограничена так, чтобы он не смог легко склониться к тирании⁵⁰. В дальнейшем будет показано, как это будет устроено. На-

49. 1 Цар. 13:14: *но теперь не устоять царствованию твоему; Господь нашел Себе мужа по сердцу Своему, и повелел ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом.*

50. В данном трактате Фома больше не возвращается к этой теме, что, по всей видимости, объясняется тем, что он не успел довести работу над ним до конца. С другой стороны, сюжет о необходимости ограничения королевской власти затрагивается им в знаменитом тексте, вошедшем в состав «Суммы теологии»: STh. I^a II^a.105.1. ad 2. Анализируя этот фрагмент, А. Дж. Карлайль замечает, что Аквинат, по всей видимости, предпочитал конституционную монархию и считал ее идеальной формой правления (Carlyle R. J., Carlyle A. J. [1950]. A History of Mediaeval Political Theory in the West. Vol. 5. Edinburgh: W. Blackwood. P. 94–95); К. Пеннингтон, обращаясь к тому же фрагменту «Суммы...» в главе, написанной им для «Кембриджской истории политической мысли», проявляет больше осторожности

конец, следует озаботиться тем, как можно будет поступить, если король обратится к тирании.

И если не будет чрезмерной тирании, полезнее до времени стерпеть мягкую тиранию, чем, действуя против тирана, подвергаться многим опасностям, более серьезным, нежели сама тирания. Ведь может случиться, что те, кто будет действовать против тирана, не смогут его одолеть, и тогда раздраженный тиран будет свирепствовать еще больше. Если же кто-либо и смог бы одолеть тирана, то из этого часто возникают тяжелейшие разногласия в народе, либо в ходе восстания против тирана, либо после его свержения, когда совокупность разделяется на части по вопросу установления правления. Также иногда случается, что когда кто-либо помогает совокупности уничтожить тирана, придя к власти, он сам устанавливает тиранию и, боясь потерпеть от другого то, что сам совершил по отношению к тирану, угнетает подданных еще более тяжким рабством. Ведь так обычно случается при тирании, что каждая следующая бывает хуже предыдущей, так новый тиран не отказывается от бремени, установленного тем, и сам измышляет новые злодеяния в сердце своем. Так, некогда в Сиракузах, пока все желали смерти Дионисию, одна старуха постоянно молилась о том, чтобы он был невредим и пережил бы ее. Когда же тиран узнал об этом, спросил он ее, почему она так делает, на что она ответила: «Когда я была девушкой, у нас был жестокий тиран, и я желала другого; когда он был убит, ему унаследовал еще более жестокий, и я очень ждала конца его владычества. Третий правитель, кого мы получили, оказался еще более жесток, и это ты. Так если ты сгинешь, на твое место придет еще худший»⁵¹.

Некоторые считали, что если чрезмерная тирания станет нестерпимой, то убить тирана и подвергнуть себя смертельным опасностям ради освобождения совокупности, было бы добродетельным делом для сильных мужей. Пример такого дела есть даже и в Ветхом Завете. Ведь некий Аод убил ударом кинжала в бедро Эглона, царя Моавитян, угнетавшего народ Божий тяжким рабством, и был сделан за это судьей народа⁵². Но это не соответствует апостольскому учению. Ведь учит

и отмечает симпатию Аквината к *смешанной конституции* Аристотеля (Pennington K. [2008 (1988)]. Law, Legislative Authority and Theories of Government // The Cambridge History of Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press. P. 448); со своей стороны, я присоединюсь ко второй из приведенных точек зрения, отметив два, на мой взгляд, важных момента. Во-первых, трактат пишется в 1272 году, когда в Европе буквально «носится в воздухе» идея парламента как совещательного сословного органа при короле — в Англии первый однопалатный парламент создается в 1265 году, во Франции до этого остается всего 30 лет. Во-вторых, нельзя забывать о том, что «О правлении князей» адресовано королю Кипра. На тот момент королевская власть на Кипре весьма непрочно, и Аквинат, что вполне логично, дает королю совет избегать тирании и опираться в своем правлении на влиятельных людей своего королевства.

51. Эта история приводится у Валерия Максима в «Достопамятных делах и изречениях» (Valerius Maximus VI, 2. Ext. 2); также Фома мог позаимствовать ее у Винсента из Бове (Vincent of Beauvais. Speculum Historiale IV, 73) или у Иоанна Солсберийского (Policraticus VII.25, 709c).

52. История Аода и Эглона описана в Книге Судей (Суд. 3:15-31). Аод убил Эглона, ударив того в живот кинжалом, подвешенным у бедра, и погрузив в него кинжал целиком, с рукоятью. Аквинат использует здесь аллюзию на стих Суд. 3:21: Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его. Однако цитируя, очевидно, по памяти, он ошибся и вместо *tulit sicam*

нас Петр: *не только добрым и скромным, но также и суровым господам с почтением повинуйтесь. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо*⁵³. Ведь и когда многие императоры римлян тиранически преследовали веру Христа, и великое множество как знати, так и простонародья⁵⁴ обратилось к вере, то восхвалялись принимающие смерть за Христа без сопротивления и смиренно, пусть даже они и были вооружены, как это ясно видно в случае со священным легионом фиванцев⁵⁵. И скорее, должно считать, что Аод убил врага, нежели правителя народа, пусть даже и тирана; потому и в Ветхом Завете читают о том, что были убиты те, кто убил Иоаса, царя Иудеи, хотя тот и отступил от почитания Бога, сыновья же их были сохранены, согласно предписанию закона⁵⁶.

Для совокупности и ее правителей было бы опасным, если бы кто-либо, по своему частному убеждению, покушался бы на убийство правящих, хотя бы они и были тиранами. Ведь чаще подобного рода опасностям себя подвергают дурные, нежели добрые, ибо дурным владычество королей не менее тягостно, чем господство тиранов, так как, согласно высказыванию Соломона, *мудрый царь развеет нечестивых*⁵⁷. Следовательно, подобного рода покушения будут, скорее, грозить совокупности опасностью от утраты доброго короля, нежели облегчением от смерти тирана.

Скорее представляется, что против свирепости тиранов надлежит действовать не частным дерзновением отдельных людей, но публичным *решением*⁵⁸. Во-первых, если к праву какой-либо совокупности относится заботиться об установ-

de dextro femore suo infixitque eam in ventre eius надиктовал писцу sica infixi in eius femore interemit, что и стало, очевидно, причиной такого оригинального анатомического решения.

53. 2 Петр. 2:18–19; некоторая неточность в первом из приведенных стихов (правильно так: *Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым*) заставляет также предположить цитирование Фомой Писания наизусть.

54. В тексте: *magnaque multitudo tam nobilium quam populi*; с одной стороны, *multitudo* здесь используется не технически, а в своем первичном значении, для обозначения большого количества, на что указывает и определение *magna* при этом слове. С другой стороны, *populus* в этом отрывке явно противопоставляется *nobiles*, то есть означает простолюдинов. Такое понимание народа было известно уже древним авторам (см., например: Cic. De orat. II.199 et al.).

55. Фома ссылается здесь на известную христианскую легенду о фиванском (фивейском/фиваидском) легионе, который в 286 году был отозван императором Максимианом в Галлию, где был весь истреблен за отказ приносить жертвы языческим богам. Легенда впервые прозвучала в тексте Евгерия, епископа Лугдунского (конец V в.), а затем была переписана Григорием Турским в его сочинении о мучениках. В середине XIII века она была включена в состав знаменитой «Золотой легенды» Якоба Ворагинского.

56. 4 Царств 14:6: *Но детей убиц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью».*

57. Притч. 20:26: *Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо.*

58. В тексте *auctoritate publica*. Полагаю, что в данном случае *auctoritas* используется Фомой в значении «решения/постановления». Иная трактовка здесь кажется мне противоречащей здравому смыслу, поскольку она бы требовала признания, во-первых, существования иной власти, кроме той, что есть в руках монарха, и, во-вторых, нахождения этой власти в руках совокупности, что представляется невозможным. В трактовке данного фрагмента я совпадаю с К. Шрайфоглем (Ibid.: 35).

лении себе короля, то не будет несправедливым, если король, установленный ею, сможет быть ею же низложен, либо его власть — ограничена, если он будет тиранически злоупотреблять королевской властью. И не следует полагать, что такая совокупность будет поступать несправедливо, низлагая тирана, даже если ранее она подчинила себя ему навечно. Ведь он, ведя себя в правлении совокупностью не с верностью, как этого требует служение короля, сам заслужил, чтобы соглашение⁵⁹, заключенное с ним, не соблюдалось бы подданными. Так римляне изгнали с царства Тарквиния Гордого⁶⁰, которого прежде признавали царем, за тиранию, установленную им и его сыновьями, и заменили царскую власть меньшей, то есть консульской. Так же и Домициан⁶¹, который наследовал умереннейшим императорам, — Веспасиану, своему отцу, и Титу, своему брату, — был убит сенатом за то, что установил тиранию, и все, что он сделал извращенного, было разумно и правильно лишено силы сенатским постановлением. Так и получилось, что блаженный Иоанн Евангелист, возлюбленный ученик Божий, который был сослан тем же Домицианом на остров Патмос, был возвращен в Эфес решением сената.

Если же право заботиться о короле для совокупности будет принадлежать какому-либо вышестоящему лицу, то от него следует добиваться и избавления против нечестия тирана. Так у Архелая, который уже начал править в Иудее за Ирода, своего отца, подражая отцовской злобе, после того как иудеи отправили на него жалобу Цезарю Августу, сначала уменьшили власть, отняв у него имя царя и разделив половину его царства между его братьями. Затем, так как даже и тогда он не стал воздерживаться от тирании, он был сослан Тиберием Цезарем в ссылку, в Лугдун, город в Галлии⁶².

Если же совершенно невозможно будет получить человеческую помощь против тирана, следует прибегать к царю надо всеми, Богу, который есть *прибежище во время скорби*⁶³. Ведь Его мощи покорно, чтобы жестокое сердце тирана обратилось ко кротости, согласно Соломону: *сердце царя — в руке Божией, и куда захо-*

59. В тексте *pactum*. Для политической культуры Высокого и Позднего Средневековья понятие соглашения (*pactum*) играло роль, вполне сопоставимую с понятием *общественного договора* для культуры Нового времени. Вся система феодальных отношений была построена именно на системе межличностных соглашений-пактов, *политический пакт* объединял всех магнатов королевства в их повиновении королю и всех князей Империи — императору. В современной историографии (особенно относящейся к Иберийскому полуострову) широко распространена теория *пактизма*, через которую объясняется как политическая теория, так и политические практики отдельных регионов Западной Европы в Средние века.

60. Aug. De civ., 5.12.

61. Aug. De civ., 5.21; сюжет об убийстве Домициана по приговору сената и о последующем возвращении из ссылки репрессированных Домицианом людей Фома мог взять из «Исторического зеркала» Винсента из Бове (XI.37) или из «Церковной истории» Гуго Флерийского.

62. История Архелая подробно рассказана Иосифом Флавием в «Иудейской войне» (нужный эпизод содержится в 6-й главе 2-й книги). Однако концовку истории Фома передает с опорой на ординарную глоссу к Евангелию от Матфея (Мф. 2:22), где указывается, что Архелай был сослан не во Вьенну (как у Флавия), а в Лугдун.

63. Пс. 9:9: И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби.

чет, направляет Он его⁶⁴. Ибо именно Он обратил жестокость царя Артаксеркса, предававшего иудеев смерти, в кротость⁶⁵; именно Он обратил жестокого царя Навуходоносора в такое благочестие, что он сделался проповедником Божественной мощи: *Ныне я, говорит, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить ходящих гордо*⁶⁶.

Тиранов же, которых Он полагает недостойными обращения, Он может убраться от себя или свести к низшему состоянию, согласно сказанному Мудрецом: *Господь низвергает престолы горделивых вождей и посаждает кротких на место их*⁶⁷. Ведь это Он, кто, видя скорбь своего народа в Египте и слыша его плач, утопил в море тиранию фараона вместе с войском его⁶⁸. И именно Он тот, кто превратил упомянутого Навуходоносора в подобие зверя, извергнув его не только из царства, но также и из людского общения⁶⁹. И не коротки руки Его, что не может Он освободить свой народ от тиранов, ведь обещал же Он своему народу через Исаяю дать ему покой *от скорби и от страха и от тяжкого рабства, которому он прежде порабощен был*⁷⁰. А через Иезекииля сказал: исторгну овец Моих из челюстей их⁷¹, то есть пастырей, которые пасут самих себя. Но чтобы народ заслужил это благо у Бога, должен он отречься от грехов, так как нечестивые достигают правления Божьим соизволением в наказание за грехи, по слову Господа через Осию: *Я дам тебе царя во гневе моем*⁷². И в книге Иова говорится, что *поставляет править лицемера за грехи народа*⁷³. Итак, дабы прекратился гнет тиранов, следует очиститься от вины.

Глава 7. О том, что мирская честь или слава не являются достаточной наградой королю

Хотя, согласно сказанному выше, королю надлежит стремиться к благу для совокупности, все же служение короля представлялось бы чрезмерно обременительным, если бы ему из этого не следовало бы какого-либо собственного блага. Сле-

64. Еще одно доказательство цитирования Св. Писания наизусть. Фома прекрасно помнит эту строчку из Псалтири, но неверно атрибутирует ее. Пс. 21:1: *Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его.*

65. Эсф. 5:2.

66. Дан. 4:37.

67. Сир. 10:17.

68. Исх. 14:23–28; 15:1–4.

69. Дан. 4:28–30.

70. Ис. 14:3: *И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был.*

71. Иез. 34:10: *как говорит Господь Бог: вот, Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их.*

72. Ос. 13:11: *И Я дал тебе царя во гневе Моим, и отнял в негодовании Моим.*

73. Перевод Иеронима здесь расходится с принятой сейчас версией: Иов. 34:30: *чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа.*

довательно, надлежит разобраться, какой должна быть подобающая награда для доброго короля.

Некоторым представляется, что награда короля есть не что иное, как честь и слава. Потому и Туллий в книге «О республике» утверждает, что правитель (*princeps*) должен вскармливаться славой⁷⁴, и Аристотель, как представляется, подтверждает этот довод в книге «Этики», так как тот правитель (*princeps*), которому недостаточно чести и славы, как следствие, становится тираном⁷⁵. Ведь всякой душе свойственно искать собственного блага, и если князь не будет довольствоваться славой и почестями, будет искать похоти и богатств, и так обратится к грабежам и оскорблениям подданных.

Но если мы приняли бы это утверждение, то возникли бы многочисленные несоответствия. Во-первых, для королей это было бы накладно, если бы они терпели все труды и заботы за столь хрупкое вознаграждение — ведь представляется, что нет ничего более хрупкого в человеческих делах, чем слава и честь человеческого одобрения, так как оно зависит от людских мнений и высказываний, а они более всего изменчивы в жизни людей. Потому и пророк Исайя назы-

74. Cic. De re publ. V.7.9; здесь и далее я привожу цитаты из трактата «De re publica» в своем переводе, поскольку перевод В. О. Горенштейна не может считаться удовлетворительным в терминологическом смысле. Для пояснения: в приведенном фрагменте он одинаково переводит и *ciuitas* и *res publica* как «государство», что представляется категорически неприемлемым. Перевод «De re publica» как «О республике» мне представляется неудачным, но все же гораздо более подходящим, нежели ставшее классическим в отечественной традиции «О государстве».

О цитируемом Фомой фрагменте стоит сказать отдельно. Эта фраза, включенная издателями в V книгу трактата De re publica, дошла до наших дней в передаче Петра из Пуатье (ок. 1130–1215) — богослова второй половины XII — начала XIII в. В своем небольшом трактате «К клеветнику» (Ad calumniatorem) он цитирует эту фразу в следующем контексте: *Jam vero si ad gentiles philosophos veniamus, quis eo tempore vel historiam vel liquid ad liberalium artium disciplinam pertinens, nisi in laudibus regum aut imperatorum scriberet? De quorum numerosa multitudine illud mihi occurrit, quod vir gravissimus Tullius in libris De republica scripsit, scilicet principem civitatis gloria esse alendum, et tandiu stare rempublicam, quandiu ab omnibus honor principii exhiberetur* (т. е.: «Если же мы обратимся к языческим философам, то кто в их время писал историю или что-либо еще, относящееся к изучению свободных искусств, кроме как в похвалу королям или императорам? Из их огромного множества мне достаточно того, что серьезнейший муж Туллий в сочинении «О республике» писал, что правитель должен вскармливаться славой, и республика будет стоять до тех пор, покуда всеми будут воздаваться почести правителю»). Высказывание Цицерона о том, что руководитель вскармливается славой, известно также из цитаты Августина: *Etiam Tullius hinc dissimulare non potuit in eisdem libris quos de re publica scripsit, ubi loquitur de instituendo principe civitatis, quem dicit alendum esse gloria, et consequenter commemorat maiores suos multa mira atque praeclara gloriae cupiditate fecisse* (Aug. civ. V.13). Этот пассаж Августина издатели трактата Цицерона De re publica также включают в число фрагментов, не сохранившихся в единственной рукописи этого трактата (Vat. Lat. 5757) и известных в непрямой передаче (см., напр.: Tulli M. Ciceronis scripta omnia quae manserunt. Fasc. 39. De re publica librorum sex quae manserunt iterum recognovit K. Ziegler. Lipsiae, MCMXXIX. P. 117). Возможно, Фома Аквинский, приводя эту фразу Цицерона, опирался на сочинение Августина, к чему, по всей видимости, склоняются и Блайт, и Фелан. В то же время порядок слов в цитатах Августина и Петра различен. Тот порядок слов, который мы находим у Аквината, показывает, что Аквинат цитирует в своем трактате именно Петра из Пуатье, с трудами которого он, скорее всего, был знаком, — тот на протяжении достаточно долгого времени возглавлял кафедру в Парижском университете.

75. EN. V.11 (1134b).

вает подобного рода славу *цветком на траве*⁷⁶. Во-вторых, жажда человеческой славы умаляет величие духа, ведь тот, кто ищет людского одобрения, с неизбежностью будет угождать их воле во всем, что говорит или делает, и так, стремясь понравиться всем, станет рабом каждого. По этому поводу тот же Туллий в книге «Об обязанностях» говорит, что нужно следить за жаждой славы: «ибо она лишает нас свободы духа, к которой должно быть всякое стремление великого духом мужа»⁷⁷. Для князя же, готовящегося к великим свершениям, нет ничего более достойного, чем величие духа. Следовательно, человеческая слава не подходит в качестве награды за королевское служение.

Если подобная награда устанавливается для князей, то это равно вредно и для совокупности. Ведь добрый муж должен презирать славу так же, как и прочие мирские блага; добродетельный же и сильный духом должен презреть славу так же, как и жизнь, ради справедливости. В результате получается нечто странное, так как когда слава стяжается добродетельными поступками и сама же слава добродетельно презирается, то, презрев славу, человек обретает ее, согласно высказыванию Фабия, сказавшего: «Кто пренебрежет ложной славой, обретет истинную»⁷⁸. И Саллюстий говорит о Катоне: «чем меньше искал он славы, тем больше следовала она за ним»⁷⁹. Да и сами ученики Христа представляли себя, как Божьих прислужников *в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах*⁸⁰. Итак, слава, которую презирают добрые мужи, не подходит как награда для одного из них. И если для князей будет установлена лишь такая награда, следствием станет то, что добрые мужи не будут принимать на себя правление, либо если же примут, то останутся без награды.

Далее, из жажды славы проистекают дурные опасности. Ведь многие, неумеренно стремясь к славе в военных делах, теряли и себя, и свои войска, а свободу своей родины оставляли под вражеским гнетом. Оттого и римский предводитель Торкват в качестве примера того, что подобного риска следует избегать, «предал смерти сына за то, что по юношеской горячности он, будучи вызван неприятелем, сражался вопреки распоряжению отца, хотя и остался победителем, чтобы не было больше вреда от примера подобного дерзновения, чем пользы от славы убийства врага»⁸¹.

Также у жажды славы есть некий близкий ей порок, а именно притворство. Ведь поскольку следовать истинным добродетелям, которым единственно должно

76. В книге Исаяи слава человеческая сравнивается с «полевым цветком» (*flos agri*) (Ис. 40:6); метафора с «цветком на траве» (*flos faeni*) используется в Первом послании Петра, где тот близко к тексту цитирует пророка Исаяю (= 1 Петр. 1:24).

77. Cic. *De off.* 1.20.68. Текст приводится в моем переводе; перевод В. О. Горенштейна выглядит так: «ибо она лишает нас свободы, из-за которой великие духом мужи должны всячески состязаться».

78. Liv. *Ab Urbe condita*. XXII.39.20; цитата приводится в переводе М. Е. Сергеевко.

79. Sall. *Bellum Catilinae*, 54.6; цитата приводится в переводе В. О. Горенштейна; см. также: Aug. *De civ.* V.12.

80. 2 Кор. 6:8: в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны.

81. Aug. *De civ.* V.18.

воздавать честь и славу, сложно и получается лишь у немногих, многие, жаждущие славы, становятся притворно добродетельными. Об этом так сказал Саллюстий: «Честолюбие побудило многих быть лживыми, держать одно затаенным в сердце, другое — на языке готовым к услугам, быть добрыми не столько в мыслях, сколько притворно»⁸². Но и Спаситель наш называет тех, кто совершает добрые дела, чтобы они были видимы людям, лицемерами, то есть притворщиками⁸³. И точно так же, как когда князь ищет себе в награду богатства и наслаждения, для совокупности опасно, как бы он не стал ругателем и грабителем, так же и если ему установлена награда славой, опасно, чтобы он не стал самонадеянным притворщиком.

Но, насколько явствует из намерений названных мудрецов, они установили честь и славу в качестве награды для князя не потому, что именно к ним должно быть устремлено намерение короля, но поскольку более терпимо будет, если он будет желать славы, нежели жаждать денег или добиваться удовлетворения похоти. Ведь этот порок близок к добродетели, так как слава, которой жаждут люди, есть не что иное, по определению Августина, как «суждение людей, хорошо думающих о людях»⁸⁴. Следовательно, жажда славы несет на себе некий отпечаток добродетели, по крайней мере, до тех пор, пока он взыскует одобрения добрых людей и отказывается их опечалить. Немногим же, достигшим истинной добродетели, будет, думается, более терпимо, если к правлению придет тот, кто, по крайней мере, из страха перед суждением добрых людей будет воздерживаться от явно злых дел. Ведь тот, кто жаждет славы, либо пытается получить от людей одобрение истинным путем, то есть посредством добродетельных деяний, либо, по крайней мере, стремится к этому обманом и хитростью⁸⁵. Тот же, кто желает господствовать, если, будучи лишен жажды славы, он не убоится отвлечь от себя людей благомыслящих, то будет часто добиваться, чего пожелает, даже посредством ничем не прикрытых злодеяний⁸⁶, и превзойдет диких зверей в пороках жестокости или похоти, как это ясно видно в Нероне Цезаре, похоть которого, по словам Августина, была такова, что от него, как считалось, можно было не опасаться ничего мужского, жестокость же такова, что в нем, как казалось, не оставалось ничего кроткого⁸⁷. Это также достаточно объясняется тем, что Аристотель в «Этике» говорит о великодушном, что тот не ищет чести и славы, как чего-то великого, что было бы достаточной наградой за добродетель, но не требует от людей ничего сверх этого⁸⁸.

82. Sall. *Bellum Catilinae*, 10.5; цитата приводится в переводе В. О. Горенштейна.

83. Мф. 6:2–16.

84. Aug. *De civ.* V.12.

85. Фрагмент тесно перекликается с «Заговором Катилины» Саллюстия. См.: Sall. *Bellum Catilinae*, 11.2: *Ибо славы, почестей, власти жаждут в равной мере и доблестный, и малодушный человек; но первый добивается их по правильному пути; второй, не имея благих качеств, действует хитростью и ложью* (ср. также: Aug. *De civ.* V.12, и Aug. *De civ.* V.19, где Августин приводит это место из Саллюстия).

86. Фраза представляет собой переложение соответствующего пассажа из Aug. *De civ.* V.19.

87. Aug. *De civ.* V.19; в данном случае текст приведен в моем переводе.

88. EN. 4.7 (1124a).

Среди же прочего земного главным представляется то, чтобы человеку воздавалось бы от людей признание за добродетель.

Глава 8. О том, что достаточной награды для короля следует ждать от Бога

Следовательно, раз мирская честь и человеческая слава не являются достаточной наградой для королевского служения, остается выяснить, что же будет для него достаточной наградой.

Подобает королю ожидать награды от Бога. Ведь служитель за свое служение ожидает награды от господина, король же в управлении народом является Божиим служителем, по словам апостола о том, что *всякая власть от Бога*, и о том, что *он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое*⁸⁹. И в книге Премудрости цари описаны как служители Царства Божия⁹⁰. Следовательно, короли за свое правление должны ожидать награды от Бога.

Бог же иногда вознаграждает королей за их служение и мирскими благами, но такая награда является общей как для добрых, так и для дурных, о чем Господь сказал Иезекиилю: *Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире; а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за ту службу, которую он сослужил мне против него*⁹¹. Службу, разумеется, ту, в которой властитель, по словам апостола, *Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое*⁹². И после этого Он добавил о награде: *Посему так говорит Господь Бог: вот, Я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю Египетскую, чтобы он ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его*⁹³. Следовательно, если неправедных царей, сражающихся против врагов Бога, хотя и не с намерением услужить Богу, но удовлетворяя собственную ненависть и алчность, Господь вознаграждает такой милостью, что дарует им победу над врагами, подчиняет им царства и предлагает грабить награбленное, то что же он сделает для добрых царей, управляющих народом Божиим и сражающихся с врагами с благочестивым намерением? Ведь не земную, но вечную он предложит им награду, не в другом, но в себе самом, по словам Петра о пастырях народа Божьего: *насите Господне стадо, которое у вас, чтобы, когда явится Князь пастырей, то есть царь царей Христос,*

89. Рим. 13:1–4: *Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 2. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 3. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4. ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.*

90. Прем. 6:5.

91. Иез. 29:18.

92. Рим. 13:4.

93. Иез. 29:19.

вы получили бы неувядающий венец славы⁹⁴. О чем говорит и Исайя: *будет Господь диадемой ликования и венцом славы для народа своего*⁹⁵.

Это также ясно доказывается с помощью рассудка. Ведь в умах всех пользующихся рассудком заложено, что блаженство является наградой за добродетель. Любая же добродетель описывается как то, что делает лучше ее обладателя и улучшает его поступки⁹⁶. Кроме того, каждый стремится упорным трудом достичь того, что в высшей степени вложено в его желание, то есть стать счастливым, чего никто не может не желать. Следовательно, за добродетель обоснованно ожидается та награда, которая делает человека блаженным. И если добрый труд есть дело добродетели, а дело короля — праведно править подданными, то и наградой королю также будет то, что сделает его блаженным. Что же это такое, следует сейчас разобрать.

Ведь мы говорим, что блаженство есть наивысшая цель желаний. Желание же не может быть устремлено к бесконечному, иначе естественное желание было бы напрасным, раз невозможно пересечь бесконечность. Также, поскольку желание разумной природы направлено к всеобщему благу, лишь это благо на самом деле способно сделать человека блаженным, и, когда оно достигнуто, не остается более никакого блага, которого можно было бы еще желать. Потому и блаженство называют совершенным благом, как бы включающим в себя все желаемое. И это не может быть каким-либо земным благом, ведь те, кто имеет богатства, желают иметь еще больше, те же, кто наслаждается сладострастием, хотят еще больших наслаждений, и т. д. и т. п. Если же они не хотят большего, желают все же, чтобы оставалось бы у них то, что есть, или иное занимало бы это место. В земных же вещах нет ничего непреходящего, и, следовательно, ничто земное не может успокоить желание. Не может земное и сделать блаженным что-либо, чтобы оно могло стать достойной наградой для короля.

Далее, предельное совершенство⁹⁷ и совершенное благо любой вещи зависит от чего-либо вышестоящего, так как и сами телесные вещи улучшаются при со-

94. Фома соединяет в одну фразу две части разных стихов из Первого послания Петра (1 Петр. 5:2: *насите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия*, и 1 Петр. 5:4: *и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы*).

95. Несколько искаженная цитата из книги пророка Исайи: Ис. 28:5: *В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадему для остатка народа Своего*.

96. В тексте: *virtus... que bonum facit habentem et opus eius bonum reddit*. Эта фраза представляет собой достаточно известное определение добродетели Аристотелем (EN. II,5 (1106a)); Аквинат не вполне точно цитирует пассаж из «Этики», известной ему в переводе Р. Гроссетеста. В оригинале речь идет о том, что «*virtus & id bene habens perficit et opus eius bonum reddit*». Фома, цитируя, по всей видимости, по памяти, заменяет глагол *perficit*, т. е. «совершенствует» на *bonum facit*, т. е. «делает хорошим» или «делает благим».

97. В тексте — *finalis perfectio*. В переводе этого понятия я следую за А. В. Аполлоновым (см.: STh. I^a II^{ae}, q.104 a.4 ad 4), хотя он и представляется безусловным. Сам Фома разъясняет это понятие в своем «Богословском компендиуме», говоря: *Finalis perfectio requirit perfectionem primam. Prima autem perfectio uniuscuiusque rei est ut sit perfectum in sua natura, finalis vero perfectio consistit in consecutione ultimi finis* (Предельное совершенство требует совершенства первичного. Первичное совершенство

единении с лучшими и ухудшаются, смешиваясь с худшими. Так, например, если серебро смешивается с золотом, оно улучшается, в результате же смешения со свинцом оно становится нечистым. Известно, что все земные вещи ниже человеческого разума, блаженство же есть предельное совершенство человека и его совершенное благо, которого все стремятся достичь. Итак, нет ничего земного, что могло бы сделать человека блаженным и, следовательно, нет ничего земного, что было бы достаточной наградой королю. Как говорит Августин: «Мы называем христианских правителей счастливыми не потому, что они долго управляли, или, скончавшись мирной смертью, оставили после себя управляющими своих сыновей, или покорили врагов республики⁹⁸, или смогли избежать и подавить восставших против них граждан. Но мы называем их счастливыми, если они управляют праведно; если они больше желают господствовать над дурными наклонностями, чем над какими бы то ни было народами, и делают все это не из желания пустой славы, а из любви к вечному счастью. Таких христианских императоров мы называем счастливыми, т. е. счастливыми пока надеждой, и которые потом будут счастливы на деле, когда наступит то, чего мы ожидаем⁹⁹. Но нет ничего иного сотворенного, что бы делало человека блаженным и могло бы быть установлено в качестве награды королю. Ведь желание всякой вещи направлено к ее началу, откуда происходит ее причина; причина же человеческого разума есть не что иное, как Бог, создавший его по своему подобию. Следовательно, лишь Бог есть тот, кто может успокоить человеческое желание и сделать человека блаженным, и стать прибавляющей наградой для короля.

Далее, человеческий разум познает всеобщее благо посредством разума и желает его посредством воли; всеобщее же благо находится лишь в Боге, и, следовательно, нет ничего, что могло бы сделать человека блаженным, исполняя его желание, кроме Бога, о котором говорится в Псалтири, что Он *насыщает благами желание твое*¹⁰⁰. Следовательно, в нем король и должен полагать свою награду. Размышляя об этом, царь Давид говорил: *Кто мне на небе? и с Тобою чего хочу на земле?*¹⁰¹ А затем, отвечая на этот вопрос, добавил: *Мне благо приближаться к Богу, и на Бога я возложил упование мое*¹⁰². Ведь это Он, кто дарует королям спасение не только земное, каким он спасает, в общем, и людей и скот, но то, о котором говорит через Исайю: *Мое спасение пребудет вечным*¹⁰³, которым Он спасает людей, делая их равными ангелам.

любой вещи состоит в том, чтобы она была совершенна в своей природе, предельное же — в достижении высшей цели). Таким образом, Фома увязывает *perfectio finalis* с реализацией целевой причины какой-либо вещи.

98. В тексте — *reipublice*.

99. Несколько сокращенный в середине параграф V.24 из трактата «О граде Божиим» Августина.

100. Пс. 102:5.

101. Пс. 73:25.

102. Пс. 73:28.

103. Ис. 51:6: *Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет.*

Следовательно, так можно подтвердить, что наградой королю являются честь и слава. Какая же мирская и пустая честь может сравниться с той честью, когда человек станет *согражданином святым и домочадцем Богу*¹⁰⁴ и, сопричтенный среди сынов Божиих, унаследует Царство небесное вместе со Христом? Вот эта честь, жаждая которую и любуясь ею, царь Давид говорил: *сколь возвышенны друзья твои, Боже*¹⁰⁵. Более того, какая слава человеческой хвалы может сравниться с той славой, которая не разносится лживым языком льстецов или обманутым людским мнением, но передается свидетельством внутренней совести и подтверждается свидетельством Бога, который обещал исповедующим его, что Он исповедает их во славе Отца перед ангелами Божиими¹⁰⁶? Те же, кто ищет этой славы, обретают ее и получают и ту, людскую славу, которой не ищут, по примеру Соломона, который не только принял от Господа мудрость, которой искал, но и был поставлен в славе над другими царями¹⁰⁷.

Глава 9. О том, какой степени блаженства достигнут блаженные короли

Далее, остается разобрать, что те, кто достойно и похвально исполняет служение короля, обретут высшую и выдающуюся степень небесного блаженства. Ведь если блаженство есть награда за добродетель, из этого следует, что за бóльшую добродетель надлежит и бóльшая степень блаженства. Главнейшая же добродетель, когда какой-либо человек может управлять не только самим собой, но также и другими, и она тем больше, чем большим количеством людей он управляет. Так же и с телесной силой¹⁰⁸, когда кто-либо считается настолько сильнее, чем большее количество людей он может победить или чем больший вес поднять. Итак, следовательно, если для того, чтобы править домохозяйством, нужна большая добродетель, чем для управления самим собой, то много большая потребна для правления городом и королевством. Достойное же отправление королевского служения требует высочайшей добродетели; следовательно, ему надлежит и награда высочайшего блаженства.

Далее, во всех искусствах и умениях более достойны похвалы те, кто хорошо направляет других, нежели те, кто хорошо ведет себя под руководством других. В умозрительных науках важнее передать другим истину, обучая их, нежели смочь усвоить истину, переданную кем-либо другим. В ремеслах же более ценится и удостаивается большей награды архитектор, спроектировавший здание, нежели ремесленник, работающий руками согласно его проекту, а в военном деле боль-

104. Ефес. 2:19: *Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.*

105. Пс. 139:17.

106. Аквинат соединяет здесь два стиха из Евангелий от Матфея и от Луки. См.: Мф. 10:32: *Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;* Лк. 12:8: *Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими.*

107. 3 Цар. 10:23.

108. Как «телесную силу» в данном случае я перевожу *virtus corporalis*.

шей славы за победу заслуживает мудрость вождя, нежели крепость воина. Так и правитель совокупности находится в таком же отношении к тем добродетельным действиям, что совершаются отдельными людьми, как преподаватель к учебным дисциплинам, архитектор — к зданиям и полководец — к войнам. Следовательно, король, если он будет достойно управлять подданными, достоин большей награды, чем кто-либо из подданных, если он будет хорошо вести себя под властью короля.

Далее, если действие добродетели таково, что через нее человеческое действие становится благим, представляется, что большая добродетель делает более благим чье-либо действие. Благо же совокупности больше и божественнее блага одного человека, откуда следует и то, что иногда зло для одного человека допускается, если оно ведет к благу совокупности, как например, когда убивают грабителя, чтобы принести мир совокупности. И сам Бог не допустил бы существование в мире зла, если бы не извлекал бы из него благо к пользе и красоте мироздания. К служению же короля относится, чтобы тот тщательно заботился о благе совокупности; следовательно, королю надлежит большая награда за доброе правление, нежели подданному за правильное действие.

Это станет более очевидно, если рассмотреть более детально. Ведь всякое частное лицо восхваляется людьми и Бог засчитывает ему в награду, если оно поддержит нуждающегося, примирит ссорящихся, вырвет угнетаемого из рук могущественного человека, наконец, если предоставит кому-либо какую-нибудь помощь или совет для его спасения. Следовательно, сколь же больше должен быть восхваляем людьми и награждаем Богом тот, кто позволяет целой провинции радоваться миру, сдерживает насилие, служит справедливости и указывает с помощью своих законов и распоряжений, что надлежит делать людям.

Величие королевской добродетели проясняется еще и в том, что она действует главным образом по подобию Божию, так как король делает в королевстве то же, что Бог — в мире; потому и в книге Исхода судьи совокупности названы богами¹⁰⁹, и так же у римлян — императоры звались божественными. Ведь чем более что-либо приближается к подражанию Богу, тем более оно принимается им. Поэтому и апостол увещевает: *подражайте Богу, как чада возлюбленные*¹¹⁰. Но если, согласно изречению Мудреца, *всякое животное любит похожего на себя*¹¹¹, почему и причины в некоторой степени похожи на то, что ими обусловлено, то из этого следует, что добрые короли должны быть полностью приняты Богом и награждены им наивысшей наградой.

В то же время, если я могу использовать слова Григория, что есть высшая власть, если не смятение ума? Ведь когда море спокойно, и неопытный правиль-

109. Исх. 22:9; в русском переводе Библии убрана двусмысленность, существовавшая в исходном еврейском и греческом текстах, для обозначения судей было использовано слово, которое может означать и «боги» во множественном числе. Иероним в этом месте использовал для перевода этого слова латинское *deos*, что и стало причиной такой фразы Аквината.

110. Ефес. 5:1.

111. Сир. 13:19.

но управляет кораблем, когда же оно взволновано штормовыми волнами, даже и опытный моряк теряется. Потому часто в делах правления теряется практика добрых дел, которая сохраняется в спокойствии¹¹². Ведь, как говорит Августин, очень сложно для [правителей], «окруженных лестью и крайним низкопоклонством не превозноситься, но помнить, что они — люди»¹¹³. И в книге Иисуса сына Сирахова говорится, что *блажен богач, который не гонялся за золотом и не надеялся на деньги и сокровища; кто мог безнаказанно преступить закон — и не преступил, сделать зло — и не сделал*¹¹⁴, то есть как тот, кто был испытан в делах добродетели и найден верным. Потому и согласно изречению Бианта, «Правление покажет мужа»¹¹⁵: ведь многие, кто в низшем состоянии казались добродетельными, достигнув вершины правления, отворачиваются от добродетели. И следовательно, та самая трудность совершения добрых дел, грозящая князьям, делает их достойными большей награды. Если же они когда-либо согрешат по слабости, то будут они более достойными прощения перед людьми и легче заслужат прощение у Бога, если, однако, как говорит Августин, «не пренебрегают приносить Богу за грехи свои жертву смирения, сожаления и молитвы»¹¹⁶. В качестве примера такого дела Господь сказал Илие об Ахаве, царе Израиля, который много грешил: *За то, что он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни*¹¹⁷.

Не только доводами рассудка доказывается, что королям надлежит превосходная награда, но также подтверждается и божественным авторитетом. Ведь говорится в книге Захарии¹¹⁸, что в тот блаженный день, когда будет Господь защитником обитателям Иерусалима, то есть, в видении вечного мира, дома прочих будут как дом Давидов, что означает, что все будут царями и будут царствовать с Христом, как члены вместе с головой. Но дом Давидов будет как дом Божий, поскольку, раз он вершил служение Божие в народе, верно правя им, то в награду будет он приближен к Богу. Примерно так же это представляли себе и язычники, когда считали, что правители и охранители городов превращаются в богов.

Глава 10. О том, какие блага, даруемые королям, теряют тираны

Итак, поскольку королям, если они будут хорошо править, полагается столь великая награда в небесном блаженстве, они должны тщательно следить за собой, дабы не превратиться в тиранов. Ведь не может быть для них ничего более желанного,

112. Григорий I Великий, «Пастырское правило» (Regula Pastoralis), I,9; Фома буквально выворачивает этот фрагмент наизнанку: в оригинальном тексте сначала идет последняя фраза, затем — вторая и первая, замыкающая фрагмент.

113. Aug. De civ. V.24.

114. Сир. 31:8, 10; слово «безнаказанно» отсутствует в оригинальной цитате и было добавлено туда Аквинатом.

115. EN. V,3 (1130a).

116. Aug. De civ. V.24.

117. 3 Цар. 21:29: *видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его.*

118. Зах. 12:8.

чем чтобы они из королевской чести, коей возвышаются на земле, переносились бы во славу Царствия Небесного. Напротив же, тираны, оставляющие правосудие ради неких земных благ, лишаются такой награды, которую могли бы обрести, если бы правили праведно. И всякому, кроме глупцов и неверных, ясно, сколь глупо терять высшие и вечные блага ради благ подобного рода, мелких и преходящих.

Следует добавить, что также и те земные блага, ради которых тираны отвращаются от правосудия, более идут на пользу королям, служащим правосудию.

Среди же всех мирских благ, как представляется, нет ничего, что казалось бы достойным предпочесть дружбе. Ведь именно дружба одновременно объединяет добродетельных людей, сохраняет и развивает добродетель. Именно в ней нуждаются все в исполнении дел любого рода, она не навязывается некстати в благополучные дни и не исчезает в дурные. Именно она приносит наибольшие удовольствия, вплоть до того, что в отсутствие друзей любые наслаждения обращаются в тоску; любые трудности любовь¹¹⁹ делает легкими и почти ничтожными. И нет тирана такой жестокости, которую не смягчила бы дружба. Так, когда Дионисий, некогда тиран Сиракуз, захотел убить одного из двух друзей, которых звали Дамон и Питий, тот, кто должен был быть убит, вымолил отсрочку, чтобы, отправившись домой, уладить свои дела; другой же из друзей отдал себя тирану заложником возвращения первого. Когда приблизился назначенный день, а тот не вернулся, все упрекали поручителя в глупости, тот же утверждал, что нисколько не сомневается в постоянстве своего друга, и тот, кто должен был быть убит, вернулся точно в назначенный час. Восхищаясь духом обоих, тиран отменил казнь по причине верной дружбы и, сверх того, просил их, чтобы они приняли бы его третьим в их дружескую связь¹²⁰.

Вот это благо дружбы тираны, хотя и желают, но не могут достичь. Ведь пока они ищут не общего блага, но своего собственного, единение между ними и их подданными будет мало, или его не будет вообще. Любая же дружба укрепляется на каком-либо единении. Ведь мы считаем, что тех, кто сближается или из-за происхождения, или по причине схожести нравов, или из-за единения в общении¹²¹, объединяет дружба. Дружба же тирана и подданного мала или ничтожна. В то же время пока подданные находятся под гнетом тиранической несправедливости и чувствуют, что их не любят, но презирают, они и сами никоим образом не любят.

119. Любовь по-латыни передается словом *amor*, дружба — однокоренным с ней *amicitia*. Таким образом, друг (*amicus*) — это тот, кого любят, с кем объединяет именно любовь.

120. Cic. Tusc. 5.63; Valerius Maximus IV, 7. Ext. 1; Vincent of Beauvais, Specul. Doctrinale V, 84.

121. В тексте: *communio societatis*. Этим словосочетанием Аквинат, по всей видимости, обозначал наличие у людей общих бытовых интересов, их сближение в процессе общения или что-либо подобное. Характерно, что перевод его вызвал сложности у всех переводчиков трактата: Блайт, идя самым простым (и, как представляется, неверным) путем, переводит его просто как *society*; Фелан для перевода использует формулу *any kind of social interests*, представляющую, скорее, пересказ, нежели перевод. Наконец, Шрайфголь прибегает к словосочетанию *das Gemeinsame irgendeines Lebenskreises*, то есть «общность неких жизненных кругов». С другой стороны, это словосочетание явно не имеет для Фомы терминологического значения хотя бы потому, что это единственный раз его употребления во всем творчестве Аквината.

Ведь *любить врагов и благодетельствовать гонителям*¹²² требует большей добродетели, чем наблюдается у совокупности. И у тиранов нет оснований жаловаться на подданных, что те их не любят, так как они сами не предстают перед теми такими, чтобы их должны были любить.

Добрые же короли любимы многими, пока показывают, что они любят подданных и пока они усердно стремятся к общей пользе, а подданные считают, что благодаря их усердию они получают многие блага. К тому же ненавидеть друзей и воздавать благодетелям злом за добро — это большее зло, нежели встречается в совокупности. Из этой любви следует, что правление добрых королей будет устойчивым до тех пор, пока подданные не откажутся подвергаться за них различным опасностям. Примером этого является Юлий Цезарь, о котором Светоний сообщает, что тот настолько любил своих воинов, что, услышав об убийстве кого-либо из них, сбрасывал волосы и бороду не раньше, чем мстил за это¹²³; этим он сделал своих воинов сильнейшими и столь преданными себе, что многие из них, попав в плен, отказывались от жизни, даруемой им на том условии, что они захотят сражаться против Цезаря¹²⁴. Также и Октавиан Август, пользовавшийся властью весьма умеренно и благоразумно, был столь любим подданными, что многие из них, умирая, велели приносить свои обетные жертвы за то, что он их пережил¹²⁵. Следовательно, нелегко поколебать владычество правителя, которого народ любит столь единодушно. Об этом Соломон говорит: *Если царь судит бедных по справедливости, то престол его навсегда утвердится*¹²⁶.

Господство же тиранов не может быть долговечным, так как оно будет ненавистно совокупности; то же, что противоречит желаниям многих, не может сохраняться долго. Ведь едва ли кто-либо сможет прожить жизнь, не претерпев каких-либо бедствий. Во времена же бедствий не может не представиться случая восстать против тирана, а если случай представится, то не может не быть хотя бы одного из многих, кто не воспользовался бы им. Народ же охотно последует за восставшим, и нелегко будет оставить безрезультатным то, что началось при поддержке совокупности. Следовательно, едва ли может случиться, чтобы господство тирана продлилось бы долго.

Это также ясно видно, если кто-либо рассмотрит, чем сохраняется господство тирана. Ведь оно не сохраняется любовью, так как дружеское чувство подданной совокупности к тирану слабо или ничтожно, что ясно из сказанного ранее. По-

122. Аквинат цитирует известное место из Нагорной проповеди Христа. См.: Мф. 5:44: *А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.*

123. Divus Caesar, 67; у Светония рассказывается не об «убийстве кого-либо» из воинов, но о конкретном поражении Титурия.

124. Divus Caesar, 68.

125. Divus Augustus, 59.

126. Притч. 29:14; Аквинат заменил в цитате одно слово, что объясняется, скорее всего, опять цитированием наизусть: в оригинальном тексте вместо слов «по справедливости» должно стоять «по правде».

лагаться же на верность подданных тирану не следует, ибо не найдется столько добродетели во многих, чтобы, принуждаемые добродетелью верности, они не сбросили бы, если смогут, иго недолжного рабства. Возможно даже, что, согласно мнению многих, не будет воспринято как противное верности, если кто-либо воспротивится каким-либо образом тираническому нечестию. Следовательно, остается, чтобы правление тирана поддерживалось бы лишь страхом, потому тираны и всячески заботятся о том, чтобы подданные их боялись. Но страх — слабое основание. Ведь те, кто подчинены страхом, если возникнет случай, когда они смогут уповать на безнаказанность, восстанут против правящих тем яростнее, чем более их принуждали против их воли, одним лишь страхом, как если замкнуть насильно воду, то она, найдя проход, потечет с большею силой. Да и страх сам по себе небезопасен, так как от чрезмерного страха многие впадают в отчаяние; отчаяние же в спасении побуждает человека дерзко пытаться сделать что-либо. Следовательно, не может господство тирана быть долговечным.

Это же не меньше проясняется примерами, нежели доводами. Если кто-либо рассмотрит деяния древних и события современного времени, то едва ли он найдет долговечное господство какого-либо тирана. Потому и Аристотель в своей «Политике», перечислив многих тиранов, показывает, что господство их всех закончилось в краткое время. Некоторые из них господствовали дольше, так как не слишком усердствовали в тирании, но, сколько могли, подражали царской умеренности¹²⁷.

К тому же это становится ясным из рассмотрения божественного суждения. Ведь когда в книге Иова говорится, что Бог *поставил царствовать лицемера за грехи народа*¹²⁸, то никого нельзя назвать лицемером с большим основанием, нежели того, кто принимает королевское служение и выказывает себя тираном. Ибо лицемером называют того, кто подражает кому-либо другому, как это обычно бывает в спектаклях. Следовательно, Бог позволил ставить тиранов в наказание грехов подданных. Подобное наказание в Писании обычно называется гневом Божиим, потому и через Осию Господь говорит: *Я дам тебе царя во гневе моем*¹²⁹. Царь же, который дан народу во гневе Божиим, несчастен, ибо не может быть прочным его владычество, так как *не Бог забыл миловать, и не затворил во гневе щедроты Свои*¹³⁰. И даже, как говорится через Иоила: *Он долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии*¹³¹. Следовательно, не позволит Бог долго править тиранам, но после бури, наведенной их посредством на народ, даст ему спокойствие, изгнав их. Потому Мудрец и говорит: *Господь низвергает престолы гордых вождей и посаждает кротких на место их*¹³².

127. Пол. V,9 (1315b).

128. Иов. 34:30.

129. Ос. 13:11: *И Я дал тебе царя во гневе Моём, и отнял в негодовании Моём.*

130. Перефраз из Пс. 77:9: *неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои?*

131. Иоил. 2:13: *Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.*

132. Сир. 10:17.

Также из опыта ясно, что короли правосудием стяжают больше богатств, нежели тираны грабежом. Ведь поскольку господство тиранов не нравится подчиненной совокупности, то тиранам нужно много телохранителей, с помощью которых они защищаются от подданных и которым нужно платить больше, чем они награбят у подданных. Короли же, так как их владычество нравится подданным, имеют для охраны всех подданных в качестве телохранителей и не нуждаются в том, чтобы платить им; между тем в нужде королям охотно дают больше, чем тираны смогут награбить. Так исполняется то, о чем Соломон говорит: *Иные, то есть цари, разделяют свое, благотворя подданным, и становятся еще богаче; другие — то есть тираны — грабят чужое и всегда пребывают в бедности*¹³³. Подобным же образом, по праведному суждению Бога, те, кто несправедливо собирают богатства, бесполезно их расходуют, или их праведно у них отбирают. Ведь как говорит Соломон, *кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того*¹³⁴. И даже, как он добавляет в другом месте, *корыстолюбивый расстроит дом свой*¹³⁵. Богатства же королей, пока они вершат правосудие, преумножаются Богом, как у Соломона, который, прося мудрости для вершения правосудия, получил и обещание обилия богатств.

Представляется излишним говорить здесь о молве. Кто усомнится, что добрые короли живут в людской хвале не только в жизни, но некоторым образом и после смерти, имена же дурных либо исчезают немедленно, либо, если они были исключительно дурными, вспоминаются с отвращением. Потому Соломон и говорит, что *память праведника пребудет благословенна, а имя нечестивых омерзет*¹³⁶, что они либо исчезнут, либо останутся в омерзении.

Глава 11. Какой каре подвергнутся тираны

Из этого, следовательно, явствует, что прочность власти, богатства, честь и слава скорее приходят по желанию короля, нежели тирана, и князя, стремящиеся обрести это несправедливо, становятся тиранами. Ведь никто не отклоняется от правосудия, кроме как влекомый жадностью к каким-нибудь благам. Сверх того, тиран лишается высочайшего блаженства, которое служит наградой королям, и, что еще хуже, обретает себе в наказание сильнейшие мучения. Ведь если кто ограбит, обратит в рабство или убьет одного человека, заслуживает наивысшего наказания, то есть смерти от людского суда и вечной кары Божьей, то сколь же более следует полагать, что тиран заслуживает худших казней, так как он грабит всех людей, трудится против общей свободы всех, убивает, теша свою похоть. Кроме того, такие люди редко каются, раздутые ветром гордыни, заслуженно оставленные Богом

133. Притч. 11:24; версия Иеронима здесь очень сильно отличается от принятого сейчас перевода и, насколько я могу судить, от еврейского оригинала. См.: *Иной сыпет щедро, и [ему] еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.*

134. Еккл. 5:9.

135. Притч. 15:27.

136. Притч. 10:7.

за грехи и умашенные человеческой лестью, и еще реже могут достойно возместить ущерб. Ибо когда они восстановят все, что похитили, помимо должного им по справедливости, то, в чем никто не сомневается, что они должны восстановить? Когда возместят ущерб тем, кого притеснили и несправедливо оскорбили каким-либо образом?

К их нераскаянию добавляется и то, что они считают дозволенным для себя все, что могут сделать безнаказанно и без сопротивления. Поэтому они не только не заняты возмещением того зла, которое совершили, но, пользуясь своим обычаем как авторитетом, они передают потомкам эту дерзость в совершении грехов. И потому перед Богом они предстают ответчиками не только за свои злодеяния, но также и за преступления тех, кому они оставили возможность грешить.

Утяжеляется же их грех и достоинством принятого ими служения. Ведь точно так же, как земной король тяжелее наказывает своих служителей, если обнаружит, что они идут против него, так и Бог более наказывает тех, кого сделал исполнителями и служителями своими в правлении, если они поступают нечестиво, обращая в горечь Божье суждение. Потому и в книге Премудрости неправедным царям говорится: *Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, — и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны*¹³⁷. И Навуходоносору говорится через Исайю: *ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе*¹³⁸, как о глубже погруженном в наказание.

Глава 12. Краткие выводы этой книги

Итак, если королям обильно приходят мирские блага и Богом им воздается высшая степень блаженства, то тираны часто обманываются и мирскими благами, которых жаждут, и кроме того, подвергаются многим опасностям в этом мире и, что более важно, лишаются вечных благ, будучи предназначены к тяжелейшим казням. Поэтому тем, кто принимает королевское служение, следует строго следить, чтобы они оставались бы королями, а не тиранами для своих подданных.

Мы сказали о том, что такое король и что совокупности подобает иметь король, а кроме того, что правящему подобает показывать себя королем, а не тираном по отношению к подчиненной совокупности.

137. Прем. 6:4–6.

138. Ис. 14:15–16.

On Kingship to the King of Cyprus; or, On the Government of Princes

Thomas Aquinas

Alexander V. Marey (translator, commentator)

Associate Professor, Faculty of Humanities,
Leading Researcher, Centre for Fundamental Sociology,
National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str. 20, 101000 Moscow, Russian Federation
E-mail: amarey@hse.ru

Among the European “mirrors of the princes,” the work of Thomas Aquinas, *On Kingship; or, On the Government of Princes*, has a special place. Thanks to the author’s reputation, this text has become one of the most famous and influential in both European Late-Medieval Philosophy and Modern Political Philosophy. Among other things, this treatise has become a model for two famous works, both titled *On the Government of Princes*, and written by Ptolemy of Lucca, and Egidio Colonna. St. Thomas’ thought on tyranny, along with Bartolo’s concept presented in *On the Tyrant*, underlies the Modern European theory of tyranny. Within the frames of this article, the first book of Aquinas’ work is published in Russian for the first time. This book, which researchers often name *The Theory of the Monarchy*, contains the description of the good king and the tyrant, and both are part of a Thomistic analysis of a monarchy’s advantages. Chapters 7–9, where Aquinas discusses the worthy king’s reward for ruling in a true manner, occupies a special place in this book. The translation is accompanied by an extensive commentary which contains an explanation of the primary categories of Thomist political and social philosophy, such as the Multitude, Community, Kingship, Rulership, the City, etc.

Keywords: Thomas Aquinas, “On the Government”, monarchy, tyranny, political philosophy, translation

Видеосоциология: теоретические и методологические основания*

Светлана Баньковская

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Центра фундаментальной социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: sbankovskaya@gmail.com

В современном мире развитие техники и технологии идет параллельно с новыми социальными явлениями, для описания которых зачастую не хватает теоретических ресурсов, даже если в наличии имеются эмпирическая, экспериментальная база наблюдений, изощренные и надежные методы получения данных. Особое внимание исследователей привлекают в последнее время, с одной стороны, феномены, получившие в политико-философской литературе название «множества» (multitude), т. е. больших образований, для которых не годятся привычные термины «группа», «масса» или даже «толпа». Рассредоточенность множеств, координация, происходящая помимо вербальных средств коммуникации (неинтендированная координация), феномены телесной согласованности на уровне антиципации выражений и действий партнера и многое другое частично впервые обнаруживаются, а частично подтверждаются средствами визуальной социологии. Визуальная социология представляет собой уже достаточно дифференцированное теоретическое направление и практику эмпирических исследований, использующих в качестве данных визуальные материалы (фото и видео главным образом). Необходимость заново переосмыслить исследовательскую идеологию визуальных исследований и выработать нарративные средства, позволяющие сделать эти исследования продуктивными, оказывается все более настоятельной. Комплементарность нарратологии и визуальной социологии представляет не только многообещающие исследовательские перспективы, но и особую проблему на методологическом и методическом уровнях; именно эта проблема (равно как и различные подходы к ее постановке) и рассматривается в данной статье. Среди теоретических интерпретаций данной проблемы специально рассматривается «теория не-репрезентации», а методологические вопросы анализируются в контексте комплементарности.

Ключевые слова: визуальная социология, видеометоды, теория не-репрезентации, нарратив, наблюдение, методологическая адекватность

© Баньковская С. П., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-129-166

* Статья написана на основе результатов проекта «Нарративный подход к микроанализу данных визуальной антропологии и этнометодологии: разработка технического аппарата исследований социальных событий», выполненного под руководством А. Ф. Филиппова в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год. Автор выражает глубокую благодарность коллегам по проекту — Д. С. Коньшевой и особенно А. Ф. Филиппову, поделившемуся ценными советами и критическими замечаниями в ходе подготовки статьи.

Визуальный анализ в социальных науках

Визуальный поворот в социальных науках, культурологии и смежных дисциплинах произошел, по меркам быстро развивающейся науки, уже давно, однако само обстоятельство, что поворот вообще *должен был произойти*, является весьма примечательным¹. В широко известном у нас учебнике по визуальной социологии П. Штомпка отмечает: «Первый социологический словарь, в котором появилось понятие „визуальная социология“, — это оксфордский Словарь социологии и общественных наук 1994 г. . .» (Штомпка, 2007: 3), хотя о «визуальной антропологии» речь уже шла много ранее². До поворота использование специфических методов видеорегистрации социальной жизни было в социологии незначительным. Почти 30 лет назад, проясняя положение дел, Д. Харпер писал: «Хотя фотография и социология возникли практически одновременно, визуальная социология — использование фотографий, фильмов и видеозаписей для изучения общества, а также визуальных артефактов общества — развита недостаточно и находится на периферии социологии как целостной дисциплины» (Harper, 1988: 54). Действительно, по идее, амбиции социологии, претендовавшей на то, что вместе с ней появляется подлинно научный способ описания социальной жизни, могли бы быть *сразу* подкреплены новыми средствами, позволяющими документировать наблюдения за социальной жизнью, прежде всего — фотографией. Возможно, технические трудности, с одной стороны, и привычка опираться на письменные документы — с другой, подкрепленные устойчивым позитивистским пристрастием к цифре и количественным показателям, помешали обогащению социологических данных фотографическими свидетельствами, хотя, скорее всего, социологи исходили из типичного для науки своего времени убеждения в *невидимости существенного* и *обманчивости видимого*. В свою очередь, и фотография не сразу стала средством документальной фиксации социальной жизни, будучи первоначально заменой или дополнением (портретной) живописи. Однако она достаточно быстро развивалась, оставаясь при этом в почти полном пренебрежении со стороны революционирующихся социальных наук³. Ситуация изменилась как раз тогда, когда *раннюю классическую*

1. Ниже мы ведем речь исключительно о социологии и социальной антропологии. Широкая область культурологии, так называемые «visual studies» вынесены за скобки настоящего исследования, поскольку, несмотря на широкое распространение, их объяснительные принципы до конца не ясны и не обрели еще канонической формы. Из работ отечественных авторов выделим особо: Ярская-Смирнова, Романов, 2009. (Последующие два тома менее актуальны для нашей темы.)

2. Классической работой здесь считается книга: Collier, Collier 1986 (первое издание — 1967). Она выгодно отличается от многих последующих публикаций глубокой теоретической проработкой вопроса о природе наблюдения, восприятия, памяти и т. д. Она до сих пор остается важным подспорьем для всех, кто занимается визуальными методами, а для нас является источником ключевых сведений о специфическом роде нарратива, связанного с визуальностью.

3. Харпер приводит замечательные примеры фотографий, сделанных в XIX в. во время Крымской войны и Парижской коммуны, запечатлевших сельскую жизнь Англии в конце века и т. д. Ничто из этого в то время не заинтересовало классиков социологии. В книге Хита, Хиндмарша и Лафа, к которой мы еще обратимся, много примеров использования не только фотографий, но киносъемки, дав-

социологию⁴ сменила классическая социология в современном смысле слова⁵, то есть в период *институционализации* социологического знания и формирования «классического канона»⁶. С определенной долей уверенности можно считать, что это произошло за полвека: в 1887 г. вышла книга Фердинанда Тённиса «Общность и общество» (Тённис, 2002), в 1937 г. — книга Толкотта Парсонса «Структура социального действия» (Parsons, 1937), а в промежутке между этими событиями, не сыгравшими, конечно, для современников той символической роли, какую они играют сейчас для нас, появились социологические факультеты, кафедры, ассоциации, социологическая пресса и первые учебники социологии во всех странах, которые и по сей день задают тон в этой науке. И как раз примерно на первую половину этого срока приходится если не взлет, то по меньшей мере формирование определенно-го интереса к фотографической документации социальной жизни. Несмотря на сравнительно скромное значение визуальных данных, «все-таки с 1896 по 1916 г. в „Американском журнале по социологии“ (American Journal of Sociology) более чем в тридцати статьях фотографии были использованы как источник данных и для иллюстрации... однако после 1920 г. фотографии основательно и надолго исчезли из социологических публикаций» (Harper, 1988: 57)⁷. Возобновление интереса к ним приходится на начало 1960-х гг., что отчасти — но лишь отчасти — совпадает с тем, как менялось в социологии отношение к пространству⁸. На первом этапе пространство вообще не играет роли в социологических построениях, потом наступает краткий период интереса к пространственной организации общества и пространству как проблеме, а затем надолго тема пространства исчезает из фокуса социологического интереса, чтобы снова вернуться в 1960-е годы. Соблазнительные параллели мы проводить здесь не станем, хотя они и напрашиваются. Ведь фотография свидетельствует прежде всего о мире материальных вещей и человеческих тел, размещенных в пространстве. Разве не было бы естественным ставить ее на первый план, занимаясь пространственной тематикой в социологии? Однако это не так. Первые значительные работы по социологии пространства обходятся без фотографий, а возвращение интереса к пространству никак не зависит от ис-

ших интересные результаты в самом конце XIX в. Но и они констатируют равнодушие социологов-современников к этим результатам. См.: Heath, Hindmarsh, Luff, 2010.

4. К ней можно отнести отцов-основателей дисциплины. На них ориентировались те, кто позже внес решающий вклад в институционализацию науки. См.: Turner, Turner, 1990; Turner, 1993.

5. См. подробнее об этом: Филиппов, 2001: 43–55. Размышляя о теоретических предпосылках визуальной социологии, Штомпка различает «первую социологию», выросшую из исследований больших общественных систем, и «вторую социологию», ориентированную на изучение человеческих действий и взаимодействий. Это различие — не только теоретическое, но и хронологическое, говорит он, и указывает на то, что «вторая социология» сегодня доминирует. Штомпка связывает визуальную социологию именно со «второй социологией» в своем понимании. См.: Штомпка, 2007: 104, Sztompka, 2005: 98.

6. О различных подходах к определению классики см.: Савельева, Полетаев, 2009.

7. Харпер берет данные из работы Кл. Сташ: Stasz, 1979: 119–137.

8. См. об этом подробнее: Филиппов, 2007.

пользования фотографий и других визуальных методов⁹. Связи здесь есть, но они более глубокие и менее очевидные, о них речь пойдет ниже¹⁰.

Вернемся к визуальной социологии. Итак, к 1980-м гг. визуальные исследования уже развились настолько, что по сравнению не то что с отдаленной историей, но и с тем, как обстояли дела в начале 1960-х гг., стало можно говорить о *повороте*. Однако сама суть поворота понималась поначалу несколько упрощенно. Речь шла по преимуществу о том, что не только иллюстрировать рассуждения, но и получать важные данные можно при помощи наблюдения, оснащенного техническими средствами фиксации, прежде всего фотоаппаратом. Выбор фотоаппарата, а не киносъемки, в тех случаях, когда он совершался, имел, конечно, принципиальный характер¹¹, и на этом мы тоже остановимся чуть ниже, а пока что лишь зафиксируем тот специфический образ *поддающегося исследованию* среза, или аспекта социальной жизни, который появляется в социологии после визуального поворота. Если сформулировать это совсем просто, визуальная социология, если только она означает нечто иное и большее, чем просто набор технических методов, не может не исходить из того, что самое важное или хотя бы нечто необыкновенно важное в социальной жизни можно и нужно прежде всего *увидеть*. Это означает, что молчаливое предположение о невидимости существенного отброшено, а на его место поставлена *существенность видимого*. Феноменальная природа социальности (социальное как явленное, зримое) опознается *феноменологической социологией*, и хотя не всякая визуальная социология исходит из положений философской и социологической феноменологии, связь между визуальным поворотом и стремительной карьерой феноменологической социологии в 1960–1970-е гг. представляет, возможно, куда больший интерес, чем связь визуальной социологии с социологией пространства. Действительно, мир повседневности, с интересом к которому

9. См. об этом замечание тонкого и вдумчивого исследователя Ларри Рея, одновременно очень точное по сути и совершенно беспомощное в смысле дальнейшего развертывания темы: «Зиммель-то как раз подчеркивал, что геометрия, в отличие от социологии, изолирует абсолютно чистые формы, тогда как в социологии абстракция — это просто аналитическое приспособление. Но аналогия интересная, потому что здесь акцентируются визуальные и пространственные социальные отношения» (Ray, 1999: 163). На самом деле он должен был бы поставить вопрос о том, почему социально-пространственное, по Зиммелю, чаще всего как раз нельзя «просто увидеть», а каждый случай, когда это возможно, вроде рамы картины или ручки кувшина, или руин, обсуждается отдельно.

10. К сожалению, даже авторитетные источники, вроде сравнительно свежей книги Харпера, демонстрируют полную беспомощность в вопросах социологии пространства именно тогда, когда речь прямо заходит о нем. Глава 4 упомянутой книги с многообещающим названием «Визуальная социология пространства сверху, изнутри и вокруг» посвящена вполне конкретным практикам наблюдения, без какой бы то ни было попытки концептуализировать наблюдаемое пространство и место наблюдателя. Это, впрочем, не лишает ее определенной познавательной ценности. См.: Harper, 2012: 56–87.

11. Уже цитированный выше Штомпка не только сконцентрировал свое внимание на фотоаппарате в своем учебнике, вышедшем на языке оригинала уже довольно давно, но и продолжает настаивать на исключительной важности фотосъемок в современных (2013 г.) лекциях по визуальной социологии, которые распространяются как учебный курс в Интернете. Любопытно, что Г. Бейтсон и М. Мид, чуть ли не первыми использовавшие видеосъемку в антропологии, называют свою книгу опять-таки «фотографическим анализом». Правда, это может быть, помимо прочего, связано с устойчивым именованием любых съемок, в том числе и киносъемок, «photography». См.: Bateson, Mead, 1942.

нередко (и слишком поспешно) отождествляют феноменологическую социологию, этнометодологию и ряд других подходов¹², — это мир того, что видимым образом происходит. Структуры не наблюдаемы. Социальные системы как таковые являются абстракциями, существование которых оспаривается и, во всяком случае, нуждается в дополнительных доказательствах и свидетельствах. В то же время действия, взаимодействия, повседневное общение видны как таковые, и вопрос состоит не в том, можем ли мы их регистрировать визуально, но в том, что нам дает такой способ фиксации, как его лучше выстроить, сделать более эвристичным. Сюда еще добавляется, конечно, то обстоятельство, что сам современный мир стал, как часто говорят, визуальным. Он наполнен образами, зрительными символами, знаками. Артефакты материального мира несут на себе смыслы социальной жизни, результаты совокупных действий зачастую принимают характер контрфинальности, они хорошо различимы, видимы, поддаются описанию и интерпретации (Баньковская, 2011). Поскольку же интерпретация того, что запечатлено на снимке, как, впрочем, и сцены, заснятые на киноленту (которой также первыми начали пользоваться антропологи), не говорят сами за себя, несмотря на всю *очевидность*, отношение к визуальным исследованиям как к важному, но вспомогательному методу, так или иначе, сохранялось. Вспомогательный метод позволял увидеть то, что иначе нельзя было увидеть, но требовались также другие методы, чтобы проверить правильность интерпретаций. Визуальный метод приходил на помощь, когда другие методы были недостаточны, но требовалось значительное теоретическое усилие, чтобы рассмотреть наблюдаемость и результаты наблюдения как специфические особенности не только социологического метода, но и самой социальной жизни.

Между тем усилия такого рода с течением времени становятся все более и более насущными. Дело, повторим еще раз, состоит в том, что съемки не представляют нам материал социальной жизни так, словно бы мы имели дело с иллюстрированной теорией. Роли, институты, структуры, группы, системы, организации и многое другое лишь в самых редких случаях говорят за себя сами. То, что мы словно бы непосредственно видим на фотографиях или в фильмах, на самом деле проходит несколько процедур интерпретации, без которых просто нельзя обойтись. Прежде всего это, конечно, социально, культурно и технически обусловленная позиция наблюдателя. Выбор места съемки, ее детализированность, продолжительность, стабильность ракурса и многое другое несут на себе не только печать индивидуального исследовательского интереса. Здесь играет роль и то, к какому научному сообществу принадлежит наблюдатель, что считается значимым для наблюдения и последующей коммуникации по поводу наблюдения, на какой срок рассчитана полевая часть проекта и как обосновывается продолжительность проекта в коммуникации с его исследовательским сообществом. Далее, объем видеоматериала, если не считать случайных обстоятельств съемки, также зависит не только от того,

12. О значении визуальных методов для феноменологической социологии и этнометодологии см.: Штомпка, 2007: 107–120; Sztompka, 2005: 101–111.

что хотел бы узнать наблюдатель. В руководствах по визуальной социологии часто акцентируется то обстоятельство, что обычно человек устает и внимание его притупляется. Сохраненные материалы наблюдений позволяют вновь и вновь возвращаться к тому, что могло уйти от внимания уставшего наблюдателя. Мало того, в отличие от наблюдателя, не вооруженного средствами фиксации, тот, кто имеет дело с фотографией и видеонаблюдениями, может уже не полагаться на свою память и умения. Зоркость глаза, навыки рисовальщика, владение стенографией для записи разговоров — все это оказывается ненужным. Зафиксированный им материал остается навсегда одним и тем же и может быть передан другим коллегам для изучения точно тех же данных. Отсюда легко сделать вывод о максимальной объективности таких методов¹³. Но, конечно, это не так, и напоминание о социальной сконструированности в этом смысле никогда не бывает лишним. Рефлексивность исследователя, учитывающего относительность собственной позиции и ее зависимость не только от норм получения знания в сообществе наблюдателей, но и от культурной и социальной обусловленности того, что он видит и слышит, является условием *sine qua non* этически ответственного социологического проекта. Но дело не только в этом.

Социальная конструкция наблюдения не имеет абсолютного характера. Научные, культурные, временные аспекты исследовательского интереса вступают в дело тогда, когда наблюдатель приводит в действие «оптические приборы» и механизмы регистрации. Однако с этого момента он бессилен. Результаты конструирования предстают как объективация исследовательского действия, и фотографии или ролики (то и другое теперь чаще всего имеют форму файла) не могут быть изменены без насилия над материалом. Подлинный видеодокумент (в меньшей мере — аудио- и фотодокумент) обладает качествами, которыми не обладает больше ни один документ, ни одно свидетельство. С другой стороны, как мы уже отметили выше, его невозможно использовать без специфической интерпретации. Отчасти интерпретативная процедура уже заложена в устройство наблюдения. Исследователь может утверждать, что его задача состоит в том, чтобы просто «пойти и посмотреть, как происходит на самом деле» то, что ему интересно. Но уже сама постановка вопроса — «на самом деле» — привязана к социологическому взгляду на мир, социологическим концептуализациям и схемам. Это могут быть самые простые схемы, вроде того, что люди совершают осмысленные действия, взаимодействуют в соответствии с некоторыми правилами и т. п. И это могут быть сложные схемы, в которых следование правилам и порождение правил по ходу действия, дифференциация степеней вовлеченности в разные круги, комбинация рационального выбора и эмоциональной привязанности дают о себе знать в наблюдаемых событиях. Вот это доверие к увиденному (я вижу осмысленные действия и должен лишь интерпретировать их смысл; я вижу совместную работу по

13. Нетрудно заметить, что зачастую энтузиазм проponentов видеометодов в социологических исследованиях сродни уверенности приверженцев количественных методов в объективности и очевидной эмпирической референтности полученных результатов.

переопределению ситуации участниками взаимодействия; я вижу символический характер праздничной одежды; я вижу социальный характер расположения вещей в пространстве городской квартиры или на городской площади) может оказаться одним из самых коварных и проблематичных аспектов социологического использования визуальных методов. В действительности социолог видит, конечно, лишь то, что в некотором роде сам перед этим вложил в устройство наблюдения. И это совсем не плохо, потому что выйти за круг обусловленности знания можно лишь через переход в некий иной круг, где знание будет также обусловлено, но уже по-другому. Проблема совсем не в том, чтобы опознать сконструированность и обусловленность своих наблюдений. Проблема в том, чтобы произвести консистентный социологический нарратив, в котором описание данных наблюдения и социологические интерпретативные схемы не противоречили бы друг другу.

Этот нарратив, как ни противоречиво это покажется на первый взгляд, в первую очередь использует и подчеркивает не-репрезентационный характер видеометодологии.

Не-репрезентационная специфика видеометодологии

Функциональные особенности видеометодов и их данных, если говорить о них в контексте социального/социологического исследования, следуют из парадоксального на первый взгляд положения — видео *не* является репрезентацией события. Видеометоды — дают возможность представить событие в действии, в движении, «в натуральную величину», как феномен, *а не как описание/репрезентацию* феномена. Теория не-репрезентации (о которой подробнее речь пойдет ниже) выступает как идеология применения видеометода(ов) в социальных науках и науках вообще. «Не-репрезентация» означает отказ от методологической установки на «схватывание» события «как оно есть», на позиционирование видеорегистратора как некоего «идеального наблюдателя», превосходящего человеческие возможности наблюдателя—исследователя—социолога. Видеокамера в этом режиме «схватывания» должна была бы стать «метанаблюдателем», а видеоматериалы — чем-то вроде результатов «идеального наблюдения». Кризис репрезентационизма в середине-конце 1980-х, затронувший и практику использования видео в социальных науках, привел к пересмотру — принципиальному — методологических оснований этого метода в социологии, его назначения и возможностей (равно как и ограничений) в исследовании социальных событий. Существо этой ревизии коротко, но ясно выразил Филип Ванини: «Видеометоды в меньшей мере пригодны для «схватывания» реальности, нежели для того, чтобы вызывать отчетливые, разнообразные, конкурирующие, подчас противоречивые, звуковые и визуальные впечатления» (Vannini, 2015: 230). Однако не следует отождествлять или находить какое-либо средство мотивов такой ревизии с опасениями и критицизмом «академических» исследователей относительно формы представления и способов использования видео в научных целях — этот критицизм происходит, главным

образом, из опасений и подозрительности — ведь видеоматериал, образ, может не только «адекватно и правдиво» представлять, служить свидетельством, но и увлекать своей зрелищной стороной, соблазнять, обманывать и скрывать. Отсюда, как правило, и весьма жесткие инструкции по использованию видеокамеры и видеоматериала в научных целях, которые можно было обнаружить в разного рода учебниках по «Визуальной ...логии», в инструкциях и предписаниях по производству видеоматериалов для целей научного социального исследования, как например:

Наиболее «научной» техникой [видеосъемки], наименее искажающей и наиболее «правдивой» в отображении «естественного» поведения по сравнению с другими является установка статической камеры на трипод, когда она не дает крен, не панорамирует, не приближается и не двигается каким-либо еще способом. Более того, камера должна работать как можно дольше и должна быть использована как можно более ненавязчиво, так, чтобы ее работа не воздействовала на потоки культурно значимого поведения. (Ruby, 2000: 177)

В отличие от этого «консервативного» подхода не-репрезентационистская установка предполагает, что камера должна быть использована не столько как устройство (средство) для записи-фиксации события, сколько как устройство для создания ощущения погруженности в событие, которого человеческое тело и ментальные состояния человека не могут достичь без технического посредника. Видео именно создает это чувство сопереживания и погруженности, а не просто репрезентирует картинку. Мы получаем (посредством не только съемки, но и последующего монтажа) недоступное невооруженному человеческому глазу паноптическое изображение в действии, которое не просто «описывает»/представляет происходящее, но направляет наше внимание, группирует его определенным образом. Поэтому новое отношение к видеометодологии можно назвать (заимствуя этот термин у Лоримера) «более-чем-репрезентативным». Операторам знакома ситуация, когда, просматривая отснятый материал, они обнаруживают, что на экране, в видеоряде, события, отдельные действия, объекты, выглядят иначе (порой разительно отличаются), чем это представлялось наяву, в момент съемки. Они как бы «остранняются», даже если представляют что-то очень знакомое, личное, интимное. Использование видео позволяет «увидеть и услышать мир иным, нежели мы привыкли видеть и слышать его в своей повседневной жизни» (Simpson, 2015: 28), и в этом видео в большей мере, чем какой-либо другой метод, отвечает основным эпистемологическим задачам научного социального исследования. Среди таких задач З. Бауман выделяет «остраннение» исследуемого объекта как один из тех эпистемологических приемов, которые отличают научное познание и суждение от обыденного здравогомыслящего (Бауман, 1996: 9). Если бы все, что требуется от камеры — это просто увидеть, максимально, в идеале — все, что увидел бы и человеческий глаз, то ценность полученного материала (при таком к нему подходе) резко снижается, многое, что он в себе заключает, остается не востребуемым. Точно

так же и акцент на «фиксации» и «присутствии» камеры как «свидетеля» (постоянного) события сводит значение видеоматериалов до «свидетельских показаний» в отсутствие представляемых ими реальных объектов — тут мы опять сталкиваемся с «метафизикой присутствия», но уже в видеообличье. Роль видеокамеры, однако, гораздо сложнее — она способна усиливать наши впечатления (визуальные и аудиальные), даже если мы присутствовали в момент съемки; камера может выступать в роли фабрикатора, рассказчика, фокусника; во всяком случае, ее роль неоднозначна — она одновременно и соединяет(ся с) и отстраняет(ся от) свой объект. Использование видеокамеры в исследовательских целях, если оно компетентное и умелое, это уже не просто манипулирование инструментом, но, скорее, взаимодействие/экспериментирование/импровизация (как на музыкальном инструменте). Исследователь и инструмент-посредник сливаются в «социотехнологический ассамбляж», как это называет Ванини (Vannini, 2015: 234), который может также видоизменяться, усложняться, дифференцироваться в ходе методологического эксперимента: «Непрерывное экспериментирование с диететическим и недиегетическим звуком, ракурсом, линейным и нелинейным нарративом, наложениями и продолжительностью сцен, несут в себе способность глубоко „перепахать“ наши представления о социальной реальности». В целом же экспериментирование с видео в научной методологии имеет своим непосредственным результатом преодоление рамок чистой репрезентации и постулирование гибридности как главного методологического принципа (см., например: Denzin, Lincoln, 2005; Garfinkel, 2002).

Разновидности видеометодов

Разновидности видеометодов, представляющих тот или иной тип движения, вероятно размножились в последнее время и находят все большее применение и в социальных науках (как правило, в классификации «качественных методов»). К ним можно отнести видеодневники, попутные записи (go-alongs)¹⁴, цейтраферную съемку (таймлапс)¹⁵, видеоэтнографию и видеодокументы, мультиракурсную съемку¹⁶, видеозаписи с использованием микрофонов и одновременной записью

14. Гибридный метод сбора данных, сочетающий включенное наблюдение, сопряженное с перемещением в пространстве — физическом, социальном, метафорическом. Используется главным образом в исследованиях различного рода мобильностей, сфокусирован на движущемся объекте исследования и на взаимодействии с ним; предполагает различного рода гаджеты в качестве посредников такого взаимодействия — в том числе и видеокамеру; см.: Kusenbach, 2012: 252–264.

15. Покадровая съемка, съемка с интервалом, применялась в основном для съемки и изучения медленно протекающих процессов, для ускорения изображения изменения, в научных целях; это ролик, смонтированный из множества фотографий, сделанных с определенным интервалом и, как правило, с одной и той же точки. Интервал при этом может быть разным, от секунды до нескольких часов — это зависит только от цели изображения движения (его замедления или ускорения).

16. Multi-angle video recordings — «паноптическое» изображение одного места, в котором происходит движение (вокзал, например), полученное путем комбинирования нескольких видеодорожек, записанных под разными ракурсами; позволяет зрителю выбрать ракурс рассмотрения изображения

звука, мини-камеры (скрытые камеры), цифровые зеркальные камеры, лацканные или шумопоглощающие микрофоны, диктофоны, наушники и т. п. Собственно, поэтому было бы неверно ограничивать характеристики данных, получаемых видеометодами, лишь детализацией визуального представления — помимо видеоряда, это — и звук, и движение, и, в конце концов, сюжет развития наблюдаемого/прослушиваемого/преследуемого объекта. А это уже позволяет использовать эти данные для формирования (элементарного) нарратива. Видеометоды вернее всего было бы назвать сенсорными методами (Bates, 2015), поскольку они не просто сочетают изображение и звук, но вызывают *чувство* переживания «здесь и сейчас», создают *впечатление* об увиденных людях, пространствах, вещах, отношениях, практиках, которые мы исследуем, словом, призваны возбуждать «чувственное воображение» (если перефразировать Ч. Р. Миллза [Миллс, 1998]), и в этом заключается их ценность для «перезагрузки» воображения социологического. Поэтому опрометчиво было бы отождествлять видеометоды лишь с *визуальными* практиками и данными, с *наглядностью* и даже *очевидностью* получаемых с их помощью данных. С точки зрения методологии в социальных науках «видео» обладает преимуществами перед остальными закрепленными в исследовательской практике социальных наук методами благодаря тому, что дает возможность одновременно присмотреться/прислушаться/почувствовать происходящее «здесь и сейчас» не только как «картинку», но и как ритм, текстуру, атмосферу¹⁷; «видеометоды, тем самым, раскрывают видимый и *невидимый* сенсориум социальной жизни» (Bates, 2015: 2). Поэтому понятный энтузиазм социологов-теоретиков, привыкших к устоявшейся за долгие годы теоретизированию в до-мультимедийном мире аксиоме «социальное остенсивно не определяется» и, казалось бы, получивших благодаря видеометодам возможность опровергнуть этот тезис, все чаще наталкивается на коррективы методологов, практикующих видео- и мультимедиаметоды. Они настаивают на том, что видеометоды и видеоисследования не просто делают «видимым»/«очевидным» (и следовательно, не нуждающимся в «объективации») то, что до сих пор было лишь когнитивным конструктом, но «раздвигают уютные до сих пор рамки самого понятия «социального», делая его, тем самым, непривычно наглядным, с пугающим множеством деталей, принципиально нуждающимся в исследовании» (Logimer, 2005: 84). Поэтому методологической идеологией (или одной из составляющих такой идеологии) для исследователей, практикующих видеометоды, становится так называемая «теория не-репрезентации».

или фильма. Термин «многоугольной» описывает способ производства съемок записи различных углов одной и той же сцены с разных камер.

17. Майкл Галахер, например, в своем исследовании школьного пространства с помощью комбинированных видео- и аудиозаписей обнаружил определенные особенности этой комбинации данных — звук и картинка несут разную ассоциативную и смысловую нагрузку в формировании представлений/переживаний пространства. Визуальные данные (картинка) в большей мере позволяют анализировать (рассматривать) физический и материальный его аспекты, а звуковой ряд (ритм, интенсивность, сочетание шумов) в большей мере позволяет синтезировать социальное пространство, почувствовать «вибрирующую атмосферу» школы. См.: Gallagher, 2015.

Теория не-репрезентации как методологическая идеология видеоисследований в социальных науках

Теория не-репрезентации развивается с середины 1990-х гг. в целом ряде работ, написанных Трифтом (Thrift, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003a, 2003b, 2004, 2007) и его учениками (Dewsbury et al., 2002; Dewsbury, 2000, 2003; Harrison, 2000, 2007, 2008; McCormack, 2002, 2003, 2005; Wylie, 2002, 2005, 2006), а также в работах других авторов (Anderson, 2006; Anderson, Harrison, 2006; Laurier, Philo, 2006; Lorimer, 2005). В одном из своих последних определений Трифт (Thrift, 2007: 2) говорит о теории не-репрезентации очень просто — это интерес «географии к тому, что происходит», и «поэтому по большей части это работа описания „скелета“ реальных случаев». Г. Лоример (Lorimer, 2005: 84) называет эту теорию по-своему — «более-чем-репрезентативная» — и считает ее собирательным термином для обозначения различного рода социальных исследований (прежде всего в культурной географии), которые стремятся зафиксировать и описать «само-очевидные, более-чем-человеческие, более-чем-текстуальные, мультисенсорные феномены» (Ibid.: 83), отказываясь от «омертвляющей» категоризации, идентификации и поисков текстового значения/смысла.

Обобщая характеристики теории не-репрезентации, которыми ее наделяют ее сторонники, можно свести к пяти главным (Simpson, 2010).

Во-первых, теория не-репрезентации стремится следовать за повседневной жизнью (Thrift, 2007). Беря свое начало от виталистской философии, этот подход исповедует «процессуальное регистрирование опыта» и считает реальность «гораздо более богатой, чем это может представить теория» (Dewsbury et al., 2002: 437). Исходным постулатом этой теории становится признание того, что сознание на самом деле лишь узкое окно восприятия, а также из представления о до-когнитивном как о «чем-то большем, чем добавление к когнитивному» (Thrift, 2007: 6). Эта теория утверждает, выражаясь словами Фуко, что «напрасно мы говорим, что мы что-то видим — то, что мы видим, никогда не задерживается в том, что мы говорим» (Foucault, 2002:10). Теория не-репрезентации, таким образом, выступает против «любопытствующего вампиризма, когда из события выпивают всю кровь ради „порядков, механизмов, структур и процессов“, сконструированных аналитиками» (Dewsbury et al., 2002: 438). Вместо этого теория не-репрезентации больше внимания уделяет до-когнитивным аспектам телесной (воплощенной) жизни, «этой массе нервных разрядов, подготавливающих тело к действию таким образом, что намерения или решения оказываются принятыми еще до того, как сознательное Я осознает их» (Thrift, 2007: 7).

Во-вторых, теория не-репрезентации стремится выйти за ограничения субъективности, она до-индивидуальна и «толкует о режимах восприятия, которые не отсылают к субъекту» (Ibid.: 7). Вместо этого теория не-репрезентации связана с практикой «субъективации», а не с субъектами как таковыми. Эта субъективация происходит в мире, сотворенном «из всевозможных вещей, вошедших в соприкос-

новение друг с другом во многих и различных пространствах, через непрерывную и в значительной степени вынужденную цепь столкновений» (Thrift, 2007: 8). Если учесть, что теория не-репрезентации решительно настроена против «классического человеческого субъекта — прозрачного, рационального и целостного», — это имеет существенные этические последствия (Thrift, 2003a); традиционные этические вопросы относительно авторства действия и вменения ответственности становятся сложнее. Это усложнение предполагает и «критическую позицию в отношении норм, регулирующих наши действия, но которые мы не можем свободно выбирать и взять на себя ответственность... за дилеммы, которые впоследствии могут возникнуть» (Thrift, 2007: 14). Этическим действие становится, когда расширяет возможности действовать, или служит для «создания новых форм жизни» (Ibid.: 14).

В-третьих, теория не-репрезентации сфокусирована на теле человека и его коэволюции с вещами. Здесь тело не рассматривается отдельно от мира, на первый план выступает его «поразительная способность развиваться вместе с вещами, принимая их внутрь и, добавляя их к разным частям тела», производить нечто гибридное (Ibid.: 10). Учитывая, что «тела» и «вещи» нелегко разделить и как понятия (Ibid.: 13), теория не-репрезентации нацелена на изучение материального сродства тела и мира и постоянно возникающих возможностей для их взаимодействия. Рассматривая эту коэволюцию тела с не-человеческими вещами, теория не-репрезентации делает их равноценными, вместо того чтобы опускать «не-человеческое» до «простой декорации» (Ibid.: 9). Это означает, что теория не-репрезентации претендует на изучение «технологий бытия»: «гибридных комплексов знаний, инструментов, лиц, оценочных суждений, зданий и пространств, заложенных на программном уровне в виде определенных предпосылок о природе человека и его целях»¹⁸. В результате мы получаем взгляд на мир как на множество разнородных сетей и связей, подрывая, тем самым, картезианское понятие деятельности как принадлежащей исключительно человеку и ставя эту деятельность под вопрос (Thrift, 1996, 2000). На теорию не-репрезентации сильное влияние оказали работы ANT-теоретиков, в частности Б. Латура (Latour, 2005), но кроме того, и недавнее появление умозрительной философии реализма, которая обращает внимание на существование и взаимодействие объектов (или «вещей») и за пределами присутствия человеческого субъекта (Harman, 2005; Meillassoux, 2008). Этот акцент на материальной обусловленности человеческого тела тесно связан с установкой теории не-репрезентации на «приобщение к полному спектру оттенков мысли, включая аффект и ощущение» (Thrift, 2007: 12). Работы на эту тему широко распространились в последнее время как в географии, так и в социальных науках (Anderson, 2006; Anderson, Harrison, 2006; Bissell, 2008; Clough, 2007; Dewsbury, 2000; Gumbrecht, 2004; Massumi, 2002; McCormack, 2003; Stewart, 2007). Аффект здесь уже не относится к персональным чувствам, но, скорее, к

18. Дж. Роуз цитируется по: Thrift, 1997: 130.

«до-персональной интенсивности, соответствующей переходу от одного переживаемого телом состояния к другому, и предполагает увеличение или уменьшение способности этого тела к действию» (Massumi, 2004: xvii). Субъект, или то, что мы привыкли считать субъектом, «аффективен»; он участвует в «аффективных диалогических практиках, он возникает из них... рождается в совместных действиях и для них» (Thrift, 1997: 128). Суть здесь в том, что аффекты, с одной стороны, не принадлежат какому-либо субъекту, а с другой — и не соотносятся с каким-либо предметом: они — между субъектом и предметами (Dewsbury et al., 2002: 439).

В-четвертых, теория не-репрезентации концентрируется на повседневных практиках, «которые формируют поведение человека по отношению к другим и к себе в конкретных местах» (Thrift, 1997: 127). Практику, что примечательно, Трифт понимает как материализовавшиеся исполнения работы, которые приобрели достаточную устойчивость с течением времени; как овеществленную с помощью специализированных устройств рутину, воспроизводящую себя в манипулировании этими устройствами (Thrift, 2007: 8). Практики — это «производительные сцепления, которые были построены из всего, или из ресурсов, и которые обеспечивают изначальную внятность мира» (Ibid.: 8). Этот интерес к практике вскрывает одну особенность теории не-репрезентации: она изучает и *репрезентации*. Важно понять, что, хотя отрицание «не» может означать смещение интереса в сторону «от репрезентаций, и особенно от текста» (Thrift, 2003a: 665), теория не-репрезентации внимательно изучает презентации; однако «презентации» выступают здесь уже не как код, который будет взломан, или как иллюзия, которую надо развеять, а как перформатив сам по себе — как деяние (Dewsbury et al., 2002: 438).

Наконец, теория не-репрезентации — это в своем роде *экспериментаторство*, которое не стремится представить непременно полную картину мира и дать его исчерпывающие объяснения; она зачастую оставляет поставленные вопросы открытыми, а ответы незавершенными. Вдохновляясь исполнительским искусством (Thrift, 2003a), теория не-репрезентации стремится избежать «техники чтения, на которой основаны социальные науки», чтобы «впрыснуть толику удивления в социальную науку, которая слишком часто полагает, что должна объяснить все» (Thrift, 2007: 12). В делезовском духе, теория не-репрезентации движима мотивом: «Давайте испытаем это!», а не «давайте оценим это» (Deleuze, 1997). Такого рода теория, определяя проблематику теоретически-ориентированного исследования, требует и соответствующей методологической стратегии, главной характеристикой которой можно считать мультимодальность.

Мультимодальность видеометодов

Перенос внимания на транзитивные аспекты жизни (повседневной, социальной) добавляет к уже известным в социальных науках дихотомиям «микро/макро», «холизм/индивидуализм», «структура/действие», «порядок/конфликт» и т. п. еще одну — «живое/мертвое». «Мертвая социология» представляет собой «уютное,

нейтральное и ограниченное занятие „объектификацией“, тогда как „живая“ — напротив — способна схватывать текучие, разрозненные, многочисленные и чувственные аспекты социального посредством таких исследовательских техник, которые отличаются мобильностью, сензитивностью и способностью совмещать несколько точек наблюдения» (Buck, 2013: 18). Причем постижение или исследование «живого социального» с неизбежностью требует экспериментальных методов, в которых исследователь буквально участвует, конституируя проявления изучаемого феномена. Этот экспериментальный императив для видеометодологии предлагает Сара Уотмор, отмечая «насущную необходимость дополнить знакомый набор методов социальных наук, которые опираются на производство текста и речи, экспериментальными практиками, которые усиливают другие сенсорные, телесные и аффективные восприятия, тем самым расширяя круг модальностей, конституирующих объект исследования» (Whatmore, 2006: 606–607). Впрочем, использование видеометодов сбора данных отнюдь не является монополией, изобретением или атрибутом «живой» социологии; и «мертвая» социология зачастую применяет эти новшества — вопрос в том, как и с какой целью.

Немаловажным (а скорее всего, и первостепенным) обстоятельством, выделяющим видеометоды, является и то, что они выполняют эту свою феноменологическую функцию проникновения в «сенсориум», формируясь как междисциплинарный инструмент и как междисциплинарный эксперимент, отличительной особенностью которого выступает мультимодальность.

Видеометоды и видеоматериалы незаменимы как раз в своей мультимодальности — способности, с одной стороны, вызывать разнообразные зрительные и звуковые образы и впечатления у зрителя/слушателя, а с другой — передавать/запечатлеть сложные движения различного рода в едином артефакте. Видео как исследовательский материал буквально вынуждает «аналитика» задействовать в работе с ним не только свои когнитивные способности, но и аффекты, телесную сенсорнику и практику. Мультимодальность видео «анимирует движение, силу и текучесть более-чем-человеческого наблюдаемого феномена, преодолевая когнитивные и вербальные пределы нашего знания, выходя в область познания, где преобладают телесные и мультисенсорные грамматики, для которых у нас еще нет словарей» (Brown, Banks, 2015). Уникальность видеометодов заключается еще и в том, что, запечатлевая в едином «документе» множество различных действий, движений, действующих лиц, изменения обстановки, развитие ситуации в деталях, видео обеспечивает их *синхронность, одномоментность*. Синхронность множества сопряженных действий — это то, что и наделяет качеством «событийности» множество деталей «феноменального поля», которые складываются воедино в ходе и в результате их *задействования* — синхронного — в определенную конфигурацию, называемую событием. Ни один другой метод не дает этой мультимодальной фиксации синхронной множественности действий; поэтому мультимодальность видео выступает в некотором смысле противовесом унимодальности письма/речи/нарратива. В унимодальных (вербальных) формах описания происходящего в

события с неизбежностью синтагматичны — описание множественности достигается перечислением, выстраиванием последовательности, сопряженности; синхронность при этом может быть лишь констатирована, но не передана непосредственно. Любого рода вербальное описание события и даже фотография рискуют сделать «живое», находящееся в сложном движении, событие (и опыт его переживания) плоским, упрощенным — «мертвым». Процесс создания и работы с видеоматериалом задействует возможности интегрировать кинетические, музыкальные, ритмические, визуальные, световые, текстовые, тональные и т. д. и т. п. параметры человеческого (и не-человеческого) действия. Аудиовизуальные практики и артефакты обеспечивают интегрированное описание материальной воплощенности, ситуативности и синхронности социального действия/события/феномена. Поэтому и методы анализа видеоматериала (даже в формально-научных целях) отличаются многоуровневой сложностью и требуют весьма разнообразной компетенции. Несмотря на кажущуюся простоту работы с современными видеоприборами (с их «дружественным» дизайном, с множеством вспомогательных опций для начинающих), снятый материал редко бывает использован непосредственно для научного анализа — ему предстоит еще подвергнуться тщательной работе по раскадровке, монтажу, редактированию. Редактирование видеоматериала, как признает Ванини, один из самых эзотерических и закрытых вопросов, который редко обсуждается видеометодологами. Но, несомненно, это и самый творческий и эвристический процесс в видеоисследованиях, сочетающий в едином результате и эстетическое, и информационное, и сенсорное восприятие материала. Не всегда этот процесс можно свести к простому транскрибированию или нарративному картографированию. Тем не менее, несмотря на то, что все чаще можно встретить неконвенциональные (не-текстовые) способы коммуникации социальных ученых, представляющих результаты своих видеоисследований и обменивающихся видеоматериалами в самых неожиданных местах, проблема конвертации мультимедального и мультисенсорного контента видеоматериала в унимодальность текста/нарратива остается открытой. Как заставить «заговорить» полученный материал, а тем более — «рассказать» нечто такое, что недоступно невооруженному теоретической логикой обыденному зрению? Как «отчеканить» результат или находку, полученную в ходе анализа видеонаблюдения в узнаваемую социальными учеными форму текста, не упуская специфики этого анализа и не поступаясь деталями в описании результата? Каким может быть такой нарратив?

Морфология нарратива и видеоанализ

Рассматривая многочисленные и разнообразные подходы к определению нарратива в социальном исследовании, не будем забывать, что нас интересует нарратив не просто как изложение произошедшего «по памяти», как «припоминание», но, скорее, как артикулирование, проговаривание увиденного «здесь и сейчас»; содер-

жание такого нарратива не переносится из «ментальной карты событий» в текст, но складывается из непосредственных зрительных впечатлений.

Традиционная нарратология предлагает разные определения нарратива. В. Лабов определяет нарратив как «способ воссоздания прошлого опыта путем соотношения последовательности предложений с последовательностью событий, которые (это вывод) на самом деле произошли» (Labov, 1972: 359–360). Мы находим определение нарратива у С. Риммон-Кенана: «...нарратив/сочинение... [это] последовательность событий» (Rimmon-Kenan, 1983: 2–3). С. Коэн и Л. Шайрс считают, что «отличительной чертой нарратива выступает его линейная организация событий» (Cohan, Shires, 1988: 52–53). М. Тулен дает «минималистское определение нарратива» — «воспринимаемая последовательность неслучайным образом связанных событий» (Toolan, 1988: 7).

Именно история — хронологическая последовательность событий — обеспечивает основные строительные блоки нарратива. Без истории нет нарратива. «Наличие или отсутствие истории отличает нарратив от текстов без нарратива» (Rimmon-Kenan, 1983: 15). «Историю можно рассматривать как путешествие от одной ситуации к другой» (Ricoeur, 1984: 70). История, другими словами, означает изменение ситуации, выраженное в развертывании определенной последовательности событий. Хронологическая последовательность является решающим компонентом любого определения истории.

Но различие «деяние vs говорение» явно или неявно лежит в основе лингвистических теорий нарративных структур. По словам П. Рикера, «нет такого структурного анализа нарратива, который бы не заимствовал (явно или неявно) из феноменологии „деяния“» (Ricoeur, 1984: 56). М. Бал аналогично указывает, что «в целом теоретики нарратива, как правило, стремятся анализировать ход действий, которыми они и ограничивают свою историю» (Bal, 1977: 89). Ж. Женетт (Genette, 1980: 164, 169) различает нарративы событий и нарративы слов. В общем, нарративный текст будет содержать смесь обоих типов предложений — нарративных/повествовательных и не-нарративных/не-повествовательных. В частности, описательные и объяснительные предложения, как правило, входят в минимальный нарратив (Ricoeur, 1984: 66; Bal, 1977: 13; Rimmon-Kenan, 1983: 14–15). «Только описания недостаточно, чтобы составить нарратив; нарратив, в свою очередь, не исключает описания. Нарративный текст в основном рассказывает историю (так же как драма, но в отличие от лирики) сложным образом (в отличие от двух других типов текстов), где отношение дискурса рассказчика к дискурсу действующего максимизировано (в отличие от лирического и драматического текстов)». «В современных теориях литературы, — говорит Бал, — описание играет незначительную роль. Структурный анализ нарратива относит его к вторичной функции: оно подчинено нарративу действия».

«Нарратив... разделяет с другими нарративами общую структуру, которая открыта для анализа, не важно, сколько терпения его формулировка требует» (Barthes, 1977: 80). Мы видели результаты этого коллективного усилия в поисках

«инвариантных структурных единиц, которые представлены различными искусственными формами» (Labov, Waletzky, 1967: 12); рецидивных характеристик и закономерностей «различимых» за нарративами (Greimas, 1966: 794); за «миллионами нарративов» (Barthes, 1977: 81), чтобы быть более точным. В. Пропп сделал первый смелый шаг в сторону структурного анализа нарратива, когда определил инвариантный образец 31 функции из огромного разнообразия русских народных сказок. Независимо от конкретного содержания сказки, независимо от того, как она была рассказана, русские сказки, по Проппу, будут демонстрировать (по крайней мере, некоторые из них) эту 31 основную функцию (Пропп, 1928). Кроме того, последовательность, в которой эти функции появляются, фиксированна. А. Греймас обобщил 31 функцию Проппа в базовый набор из шести функций (Greimas, 1966).

Т. ван Дайк в еще более общем виде утверждает, что все тексты характеризуются макроструктурой («схемой»), которая обеспечивает «глобальную схематическую форму» дискурса — разные жанры дискурса характеризуются различными схемами (van Dijk, 1988: 24). Таким образом, схема газетной статьи состоит из резюме и истории; история затем содержит ситуацию и комментарии; ситуация включает эпизод и фон; эпизод включает в себя основные события и последствия; в то время как фон включает контекст (обстоятельства и предыдущие события) и историю (van Dijk, 1988: 51–59).

Когнитивные психологи и ученые-компьютерщики, участвующие в исследовательских проектах, изучающих распознавание (понимание) компьютером естественных языков, подобным же образом представляют историю с точки зрения «грамматики истории» (например: Rumelhart, 1975; Mandler, 1978). За последнее десятилетие социологи предложили различные методы анализа нарративных текстов, которые основываются на тех или иных структурных лингвистических особенностях нарратива. П. Абель (Abell, 1987), например, предложил методику, названную им «сравнительные нарративы», которая основана на формальном представлении нарративных структур в понятиях действующих и их действий. В работе Р. Францоzi, разработана сюжетная грамматика (или семантическая грамматика), которая позволяет структурировать информацию, представленную в газетных статьях о протестных событиях (Franzosi, 1989). Семантическая грамматика, по мнению Францоzi, имеет ряд преимуществ по сравнению с более традиционными схемами контент-анализа для обработки текстовых данных (Franzosi, 1989, 1990a, 1990b). В частности, переформулировка грамматики в установленных теоретических понятиях позволяет исследователям перейти «от слов к цифрам», т. е. проанализировать нарративную информацию статистически (Franzosi, 1990b). Кроме того, в рамках установленного теоретического понятийного аппарата основная структура семантической грамматики легко переводится в математическую структуру, которая лежит в основании сетевых моделей (Franzosi, 1998). Другие подходы, предложенные социологами, аналогично начинают со структурных характеристик нарратива. А. Эбботт (Abbott, 1995), например, исследует органи-

зацию последовательностей в нарративных структурах в поисках моделей рекуррентных последовательностей.

Еще более тесно связан со структурными характеристиками нарратива метод анализа текстовых данных, предложенный Д. Хейсом (Heise, 1989; Corsaro, Heise, 1990). Следуя философской и лингвистической традиции различения значений «вещей, происходящих одно по причине другого или только друг за другом», динамических и статических мотивов, кардинальных функций (или ядер) и катализаторов, «ядерных» и сопутствующих событий, Хейс разработал компьютерную программу ETHNO, которая вынуждает исследователей делать неявные предположения, встроенные в причинно-следственные аргументы, явными, поскольку эти аргументы отражены в хронологической последовательности предложений нарратива, составляющих скелет повествования. Кроме того, этот подход помогает выявить вопросы исследования и даже образцы социальных отношений, сосредоточившись на одном нарративе. Что характерно для этих новых методов, так это то, что их реальный вклад лежит, как кажется, не столько в методологической, сколько в гносеологической области. Несомненно, точка зрения на социальную реальность, основанная на нарративных данных, смещает интерес социологов от переменных к акторам, от основанных на регрессии статистических моделей к сетям и от основанной на переменных концепции причинности к контингентным нарративным последовательностям. Такая точка зрения делает социологию ближе к истории, и собственные интересы социологии сближает с проблемами обыденных акторов. Здесь стирается грань между занимающими социологов качественными и количественными методическими противостояниями, бесполезными дискуссиями на протяжении последних лет пятидесяти (см.: Abell, 1987: 3–12). Но стоит ли та или иная техника сломанных копий (особенно когда она претендует подняться над методологическими спорами в область гносеологии), решительным образом зависит от тех результатов, которые она производит. До сих пор исследователи, участвующие в этом производстве, предоставляют нам продукты ограниченного свойства. И, наконец, большой массив данных о событиях, которые компьютеризированы с помощью семантических грамматик, может заставить исследователей принять описательные/повествовательные модусы объяснения; нарратив непосредственного свидетельства навязывает свою форму способу объяснения. При переходе «от слов к цифрам» мы, возможно, непреднамеренно уходим от «тощих объяснений» (на основе переменных и моделей регрессии) к «плотным» описаниям.

Наша способность понимать и вполне схватывать смысл неразрывно связана с богатством базовых знаний, которые читатели сознательно или неосознанно привносят в текст в процессе производства смысла. «Не бывает знания без предзнания», как говорят ученые-герменевтики (Diesing, 1991: 108).

У. Эко по этому поводу различает «наивное» и «критическое» чтение текста, «причем последнее является интерпретацией первого» (Eco, 1979: 205). Никогда не бывает только одного сообщения, однозначно закодированного в тексте; в нем

всегда есть несколько сообщений («сеть различных сообщений»), которые декодируются различными читателями, наделенными разными «интертекстуальными фреймами» и «интертекстуальными энциклопедиями», и различными кодами чтения (Ibid.: 5). Роль читателя далеко не пассивная. Рассказчики и авторы, конечно, могут попытаться выстроить текст так, чтобы читатель выбирал «предпочтительный» для автора вариант прочтения. Каковы бы ни были «предпочтения» автора, читатели привнесут свои собственные предпочтения и свои точки зрения. Вряд ли когда-нибудь текст может быть так «закрыт», чтобы допускать только один тип чтения, исключая все остальные¹⁹. Даже когда их пытаются «закрыть», исход их прочтения читателем другой «модели» непредсказуем. «Никто не может сказать, что произойдет, если конкретный читатель отличается от „среднего“» (Ibid.: 8). Вопреки мнению структуралистов на текст как на закрытый автором в процессе его производства, Каллер, Эко и другие рассматривают текст как нечто на самом деле производимое в процессе чтения. «Читатель в качестве активного принципа интерпретации является частью картины генеративного процесса текста» (Ibid.: 4).

Не считая этнометодологического подхода к текстам, социологи в массе своей, как правило, не заинтересованы в анализе лингвистических нюансов текста (и не имеют теоретических и методологических инструментов для этого) — что может один текст рассказать им о трендах в социальных отношениях? Они также не интересовались инвариантными, структурными образцами нарративов — действительно, социологи исследуют образцы, но не образцы текстов (это дело лингвистов), а образцы социальных отношений (см.: Todorov, 1981: 5–6). В погоне за образцами социальных отношений социологи выдергивают из текста общие нити («темы») — общие для текстов, но применимые к реальным людям, а потом они считают в табличной форме эти темы (сколько таких, сколько сяких). Или они берут фрагменты этих общих тем. Анализируя «истории респондентов», социологи кромсают отдельные истории на части и собирают из этих частей новые истории; последовательность, согласованность и контекст каждого оригинального нарратива оказывается утраченным. Этим новым историям социологи затем навязывают согласованность «научного» этнографического текста в контексте социологической «литературы». Тем не менее «именно потому, что нарратив является основной смыслопроизводящей структурой, он должен быть сохранен, а не разрушен исследователями, которые должны бережно относиться к способам, какими респонденты выстраивают смысл, и анализировать именно эти способы» (Kohler Riessman, 1993: 4). Это, конечно, легче сказать, чем сделать. Такой тщательный анализ нескольких коротких текстов возможен. Но как быть, когда исследователи сталкиваются с большими объемами нарративных данных (например, этнографического материала или неструктурированных интервью)? При нынешнем уровне развития лингвистической формализации и компьютерного программирования вряд ли можно избежать того или иного вида тематического анализа, предложен-

19. О концепции «открытых» и «закрытых» текстов см.: Eco, 1979: 8–11.

ного контент-анализом (даже если эти темы или «понятия» представлены в терминах сетевых отношений, см.: Carley, 1993).

Однако в случае с видеоэтнографией и видеогерменевтикой особую проблему представляет перенос смысла (адекватность и обоснованность) из «мультимедальности» и «сенсориума» пережитого изображения в языковую форму, в текст.

Нарративный анализ видеоданных: перспективы и ограничения

Исследовательский нарратив, основанный на видеоматериале, приближается к результирующему тексту-описанию собственно «социального события» поэтапно: сначала это «обыденный» нарратив, руководствующийся ответом на вопрос «Что происходит? Что я вижу?»; затем — «формально-регистрационный», стремящийся к максимальному описанию деталей, незаметных на первый взгляд и представляющих не имеющими отношения к первому вопросу; и, наконец, «аналитический», собственно текст научного анализа детализированного видеоматериала. Все три варианта (этапа) нарратива оказываются неизбежно помещены в «средуситуацию», без которой само действие видеорегистрации с последующими итерациями нарративов не кажется возможным. Этот *контекст* представлен более широким — «охватывающим» — нарративом, обозначающим общую (за пределами пространственно-временных рамок «здесь и сейчас», зарегистрированных на видео) ситуацию, в которой происходит анализируемое взаимодействие, и специфический язык описания, опознаваемый как адекватный (и тем самым — обозначения границ) этой сфере деятельности и взаимодействия.

Стратегия построения такой нарративной конструкции и соотнесения этой конструкции с эмпирическими видеоданными дает основания говорить о «теоретически ориентированном исследовании» (theory-oriented research). Теоретически ориентированное исследование — это особая методологическая стратегия, которая исходит из целого ряда допущений. Первое из них — различие специфики социального исследования, которое заключается в том, что его предмет не имеет непосредственного эмпирического референта и всегда конструируется теоретически (хотя и с различной степенью абстракции). Что именно идентифицируется как проблема, подлежащая исследованию, что есть социальный факт и каким способом обосновывается релевантность его соотнесения с конкретным (измеряемым) объектом — вопросы теоретические. Это самое общее методологическое основание теоретически ориентированных исследований в социологии. Можно их определить — проще — и как исследования, методология которых отдает себе отчет в этой специфике, т. е. как рефлексивные исследования.

Второе различие касается структуры исследования: в нем выделяют креативную и критическую фазы. Креативная фаза предполагает основанное на теории конструирование гипотез относительно исследуемой проблемы; критическая — проверку этих гипотез непосредственно в исследовании или эксперименте. Соеди-

нение этих двух фаз дает в целом теоретически ориентированное эмпирическое исследование.

Наконец, различие теоретического и эмпирического исследования требует также соотносить теоретически ориентированное исследование с различием фундаментальных и прикладных исследований. Фундаментальное исследование по определению теоретически ориентированно, тогда как прикладное можно назвать практически ориентированным. Исследование фундаментально до той степени, в какой оно на своей креативной стадии формулирует гипотезы и предсказания, исходя из теоретических допущений с целью прояснения, проверки и развития теории (или в связи с переходом теории на другой уровень абстракции). Прикладным же исследованием в этой логике будет такое, которое выдвигает свои гипотезы из практической необходимости произвести компетентное решение конкретной проблемной ситуации, требующей непосредственного практического вмешательства.

Не стоит и говорить, что теоретически ориентированное (эмпирическое — лабораторное или полевое) исследование, нацеленное на приращение теоретического знания, по сути, отлично от теоретического исследования, предполагающего исключительно «работу с текстами», их интерпретацию; сравнительный анализ, систематизацию, классификацию, кодификацию и проч. каких-либо концептов или идеальных типов.

Суть нарративного анализа видеоматериала заключается в том, чтобы установить и описать различия в нарративах (фиксирующих научное наблюдение, полученное посредством видеозаписи) в зависимости от изменений и преобразований исходного видеоматериала. Методически здесь происходит наложение двух процессов — поэтапного развития нарратива в контексте и технического преобразования видеоматериала (раскадровка, таймлапс, многоугольная картинка, увеличение отдельных участков и т. д.). Выявление этих различий в нарративах позволяет конкретно представить, как формируется тезаурус научного описания (в отличие от обыденного) видеоматериала, как выстраивается логика анализа его фрагментов и как осуществляется синтез целостной интерпретативной последовательности (порядка) в научном нарративе.

Для достижения этой цели выполняются основные задачи, которые заключаются в построении нескольких нарративов одного и того же фрагмента видеозаписи, фиксирующей «взаимодействие» человека и, например, антропоморфного робота. Эти нарративы подразделяются на две группы — контрольную (нарративы видеозаписи «в реальном времени» с различных точек зрения и с различным «приближением» — «обыденного» наблюдателя, описывающего, «что происходит»; детализированное описание исследователя, задача которого не упустить ничего, что, так или иначе, соприкасается с ситуацией взаимодействия; точка зрения компетентного наблюдателя, способного видеть происходящее в технических/технологических деталях) и экспериментальную (нарративы отдельных, мельчайших фрагментов той же видеозаписи после ее раскадровки). Раскадровка записи

или воспроизведение ее в замедлении является экспериментальным изменением ситуации просмотра и описания. Сравнение двух групп нарративов позволяет выявить особенности, последовательность, тезаурус формирования социологического нарратива события действия и взаимодействия. Почему нарративы именно видеоматериалов дают возможность выявить эти, по сути, интерпретативные (латентные) механизмы исследовательской практики?

Неявный характер («смотреть, видеть, но не замечать») человеческой деятельности и социальной организации, в сочетании со сложностью действия и взаимодействия, предполагает, что нам нужны дополнительные ресурсы, если мы хотим объяснять детали человеческого поведения в его «естественных» условиях. Видеозаписи предоставляют нам эти ресурсы. Они позволяют нам уловить различные точки зрения (в буквальном смысле слова) на действия и взаимодействия в повседневной обстановке и пересмотреть их более тщательно с помощью замедленного воспроизведения и т. п. Таким образом, они обеспечивают доступ к мельчайшим деталям поведения, как речевого, так и телесного. Они позволяют нам, например, отслеживать появление жеста, чтобы определить, в какую сторону человек смотрит и на что именно он смотрит; и восстановить способы, которыми они обращаются и осваивают объекты и артефакты. Видеозаписи обеспечивают также возможность *показать* данные, на которых основаны выводы и расчеты, другим исследователям и, тем самым, подвергать их более тщательному и многостороннему анализу членами академического сообщества. В отличие от традиционных этнографических данных, видеозаписи могут обеспечить создание базы данных, которая станет предметом для широкого круга аналитических интересов; видеоданные не просто привязаны к конкретным проектам, конкретным подходам или интересам конкретного исследователя. Для исследователей, интересующихся материальными условиями, в которых возникает действие и взаимодействие, видеозаписи могут предоставить возможность анализа эмерджентных характеристик этого материального окружения. Мы можем, например, увидеть, как люди пишут документы, манипулируют объектами, используют артефакты, такие как телефоны, компьютеры, факсы и т. п.; мы можем также отследить изменения на экранах, таких как компьютерные или телевизионные мониторы, дополнения в записи, изменения планов и т. п. Видеозаписи, следовательно, обеспечивают нас ресурсом, с помощью которого мы можем проанализировать «ситуированное» действие; то, как оно протекает в его естественной среде (материальной или виртуальной).

Примечательное отсутствие видео (или эпизодичность его появления) в качестве аналитического ресурса в научном социальном исследовании имеет свою причину — отсутствие соответствующей методологической ориентации, и в меньшей мере — отсутствие интереса к использованию возможностей видео в социологическом исследовании. В самом деле, концептуальные и аналитические предпочтения значительной части корпуса качественных исследований (символического интеракционизма, теории деятельности и т. п.), которые прекрасно используют материалы, полученные с помощью традиционных полевых исследований, не обя-

зательно совпадают с теми деталями обстоятельств повседневного окружения, с которыми сталкивается видеорегистратор. Тем не менее концептуальные ресурсы, с помощью которых мы можем начать использовать видео для целей социологического исследования, предоставляются этнометодологией и конверс-анализом. Как и другие формы качественного социального исследования, они не связаны со специфическим методом как таковым, набором четко сформулированных техник и процедур, а скорее, представляют собой методологическую ориентацию, которая позволяет рассматривать действия и события в «естественных» условиях. В чем выражается эта ориентация?

Во-первых, речевые акты и телесное поведение (процессуальность которых имеет принципиальное значение) являются социальными действиями и представляют собой основные механизмы, посредством которых люди достигают воплощения социальных событий. Во-вторых, смысл и значение социальных действий и событий неотделимы от непосредственного контекста; они появляются шаг за шагом, рефлексивно, создавая контекст, в котором они возникают. В-третьих, люди в своей деятельности используют и полагаются на практики, процедуры и суждения, словом — на «методологические ресурсы», с помощью которых они производят социальные действия и интерпретируют поступки других.

Фактическое значение, или смысл, объектов и артефактов, которые наблюдаемы, узнаваемы, замечаемы и т. п., зависит от хода действия, в котором они становятся актуальными. Действительно, в последние годы наблюдается растущий интерес у социальных ученых к тому, что стало в целом характеризоваться как «ситуативное действие». Этот интерес отражает давнюю озабоченность социальных наук контекстом и уникальностью событий и действий, их неповторимостью. Есть тенденция, однако, даже среди наиболее радикальных аналитических исследований, рассматривать контекст как «рамку», в которой происходит действие. Особенности конкретного контекста, в том числе физической среды, цели происходящего и т. п., как полагают, отягощают/осложняют организацию поведения участников, и, в свою очередь, их действия воспроизводят характеристики, связанные с конкретными ситуациями или контекстами. Этнометодология и конверс-анализ практикуют несколько иной подход. Вместо того чтобы рассматривать конкретную ситуацию как «рамку», в которой действие имеет место, они рассматривают контекст этого действия как произведение участников взаимодействия и деятельности. Участники конституируют обстоятельства и ситуации, деятельность и события «посредством» своих социальных действий.

Что касается контекста и ситуации, важно отметить особый интерес исследователей взаимодействия к «длительности выполнения действий в повседневной жизни». В отличие от других форм качественного исследования, этнометодология и конверс-анализ рассматривают способы, которые позволяют отслеживать социальные действия так, как они возникают, шаг за шагом; ситуации и обстоятельства поступательно осуществляются самими участниками «изнутри» этих условий действия. Во взаимодействии его участники производят свои действия, ориентируясь

на поведение других, и особенно на непосредственно предшествующее действие или деятельность. В свою очередь, их действия формируют основу для последующего действия, ориентированного на предыдущее. Таким образом, участники взаимодействия, например, производят действия, ориентируясь на предыдущее действие и на соответствующие ему обстоятельства, которые оно устанавливает. Более того, каждое действие следует понимать, учитывая его положение по отношению к предыдущему действию(ям). Действия также и перспективно ориентированы, направлены на поощрение, стимулирование, производство последующего действия, которое, в свою очередь, образует основу для оценки участниками действий друг друга и своих собственных.

Действие внутри взаимодействия предоставляет возможности для последующих действий и выстроено таким образом, чтобы сохранять возможность дальнейшего взаимодействия. Последовательное расположение действий в рамках возникающего процесса взаимодействия имеет решающее значение для производства и распознавания поведения, и, следовательно, для анализа социального действия и активности.

Путем тщательного изучения конкретных случаев, фрагментов действия и взаимодействия, анализ направляется на экспликацию ресурсов, компетенций, на которые люди полагаются, когда участвуют во взаимодействии. Взаимодействие, эмерджентный и последовательный характер поведения, предоставляет уникальные возможности эксплицитировать эти ресурсы. Мы можем изучить последовательные действия и деятельность в целом для исследования того, как сами участники взаимодействия реагируют на поведение друг друга и, в свою очередь, как участники реагируют на ответы других. Каждое действие отображает понимание предыдущего действия, понимание, которое ориентировано на последующие действия и которое можно подвергнуть доработке, уточнению или исправлению. Таким образом, последовательная организация взаимодействия является одновременно и темой, и ресурсом этих исследований (Heath, Hindmarsh, 1999: 99–121).

Видеоданные и данные полевых исследований: комплементарность и принципиальные отличия

Хотя первичными данными для анализа являются видеозаписи естественным образом происходящих действий, важно, что исследователь при этом проводит и традиционную полевую работу. Например, исследования по взаимодействию в сложных организационных условиях требуют от исследователя ознакомиться с обстановкой. Ему необходимо понимать, чем занимаются наблюдаемые, события, с которыми они имеют дело, и виды инструментов и технологий, которые они используют, чтобы делать свою работу. Поэтому, чтобы ознакомиться с обстановкой, зачастую необходимо проводить обширную работу по включенному и не-включенному наблюдению, и во многих случаях проводить длительные беседы с самими участниками.

Необходимость самого обширного и детального привлечения контекста позволяет прежде всего достичь понимания технического жаргона, который используется, и того, как он используется. Важно также ознакомиться с инструментами и технологиями, применяемыми участниками взаимодействия, и способами работы различных систем, их непосредственного использования в конкретной обстановке. Так, например, необходимо изучить документы, записи, пособия, инструкции и т. п., которые представляют особенности конкретных организационных условий и играют решающую роль в том, каким образом участники организуют взаимодействие и объясняют происходящие события.

Во многих случаях очень важно, чтобы видеозаписи сочетались с обширной работой на местах, где исследователь становится все более и более знаком с характеристиками окружающей институциональной среды, недоступными непосредственному наблюдению, т. е. только через видеозапись.

Зачастую бывает необходимо провести небольшое количество полевых работ до записи, для того чтобы быть в состоянии решить, где разместить камеру и микрофон, чтобы были схвачены наиболее релевантные (в отношении целей исследования) действия. Надо определить, как выбрать угол съемки, который позволит нам четко видеть нужные объекты. И в проведении полевых наблюдений, и производя видеозапись, следует, как это делают многие другие полевые исследователи (см., например: Goodwin, 1995; Grimshaw, 1982; Harper, 1994), рефлексировать относительно собственного участия исследователя в ситуации и влияния на нее. Исследователь, собирающий видеоматериал, вынужден принять меры предосторожности, чтобы и «реактивность» наблюдаемых снизить, и оценить данные на предмет влияния на них условий записи. Рефлексивность видеорегистратора и видеонарратора является одним из «само-собой-разумеющихся» контекстов экспликации процесса действия и взаимодействия в транскриптах. Транскрипты не заменяют видеозапись в качестве данных, но представляют собой ресурс, посредством которого исследователь может начать более тщательное знакомство с деталями поведения участников взаимодействия.

Экология взаимодействия и рефлексивность наблюдателя в анализе видеоматериалов

Вербальное и телесное поведение участников взаимодействия неотделимо от материальных особенностей окружения, предметов, артефактов и рефлексивно представляет, как эти объекты и артефакты вступают в игру по ходу действия. Участники взаимодействия не только действуют, ориентируясь на эти объекты и артефакты определенным способом и в определенные моменты, но и посредством тех способов, которыми эти вещи используют, замечают, обращают или не обращают внимания на них и т. п., конкретная вещь получает определенный смысл и актуальность внутри и по ходу действия.

При проведении основанных на видеометодах полевых исследований социального взаимодействия у нас есть возможность обратиться к характеристикам действий и обстановки действия, которые сформировали интерес для более традиционных этнографических исследований. Физическая среда, среди других характеристик, часто рассматривается как формирующая основу для действий и различными способами предоставляющая ресурсы, включая символические представления, для организации и интерпретации действий. Аналитическая схема видеонаблюдения включает и материал физического окружения и, конечно, телесного, а также вербальное поведение. Однако вместо того чтобы рассматривать материальные реальности как имеющие подавляющее влияние на области поведения, тем самым предполагая, что их смысл и значение остаются неизменными на протяжении всего хода событий, мы должны изучить способы, в которых предметы, артефакты и т. п. получают их особое значение в конкретных моментах по ходу действий. Материальные характеристики непосредственной обстановки привлекаются, называются, используются, замечаются в определенные моменты для конкретных целей, и они получают свой смысл или значение в эти моменты внутри действий, в которых они на данный момент оказываются актуальными. Они участвуют как в производстве действия, так и в способах, которыми участники наделяют смыслом действия друг друга.

Непосредственная экология объектов и артефактов предоставляет ресурсы для производства действий, а также способы, которыми участники сами опознают и понимают поведение друг друга. Смысл и определение материального окружения рефлексивно конституировано, внутри и посредством действий участников взаимодействия.

В заключение: о методологических перспективах видеонарратива

Интерес к способам, которыми материальная среда входит в практические действия и взаимодействия, отражается в растущем корпусе эмпирических исследований «рабочих мест», состоящих из натуралистических исследований работы, взаимодействия и технологии. Они обеспечивают программные примеры способов, которыми полевые исследования взаимодействия на основе видео могут внести свой вклад в разработку проблем, обычно связываемых с более традиционными этнографическими методами.

Эти исследования включают анализ работы и взаимодействия в таких материальных средах, как диспетчерские центры, библиотеки, банки и т. п. Они ярко иллюстрируют не только важность принятия во внимание материальных возможностей окружающей среды, таких как инструменты и артефакты, но и рассмотрение способов, какими эти инструменты и сложная информация, которую они обеспечивают, становятся особенностью действия и социального взаимодействия. В таких местах, как диспетчерские, есть огромный массив информации, представленной в документах, на мониторах, в диаграммах. Проблема состоит в изучении

и демонстрации того, что является актуальным и как это становится актуальным, в рамках действия и взаимодействия (см., например: Luff, Hindmarsh, Heath, 2000; Корбут, 2012, 2016). Если угодно, такие материальные среды позволяют самым решительным образом продемонстрировать вопросы, поднятые в этом исследовании; наша задача не просто принимать материальную среду всерьез (как и другие потенциально соответствующие функции, такие как организационная обстановка, ресурсы участников и т. п.), но аналитически продемонстрировать, как такие материальные характеристики становятся актуальными и рефлексивно конституируемыми в действии.

Видеозаписи, часто с использованием нескольких камер, дополненные обширным объемом полевых исследований, обеспечивают уникальный доступ к таким непростым задачам, а этнометодология и нарративный анализ предоставляют ресурсы для препарирования интеракционной организации действий и событий в этих сложных технологических параметрах и показывают релевантность материального окружения в актуальном ходе действия. Такие исследования не только вносят свой особый вклад в наше понимание организационных действий, но и изменяют способы, которыми социальные и когнитивные ученые начинают воспринимать взаимодействие между людьми и сложными техническими устройствами, такими как компьютеры и роботы.

В большинстве своем анализ видеоэтнографии, как уже было отмечено, опирается на этнометодологию «рабочих мест» и использует стратегии и методы рассмотрения взаимодействия агентов и артефактов, которые вместе составляют «экологию события». Что касается анализа вербального взаимодействия внутри этих экологий, то здесь предпочтение, как правило, отдается конверс-аналитическим техникам.

Рефлексия же относительно собственного действия/взаимодействия является началом и непременным условием последующего нарратива этого взаимодействия. В обоих случаях мы можем получить нарративы участников взаимодействия, которые, в свою очередь, могут стать частью и объектом нарратива наблюдателя взаимодействия. Но что это такое — «нарратив наблюдателя взаимодействия»? В этом случае мы имеем дело, так сказать, с «многопорядковым» наблюдателем одного и того же взаимодействия. Причем наблюдателем разных порядков может выступать один и тот же человек. Так, наблюдатель первого порядка (пусть даже вооруженный камерой), по сути, является включенным наблюдателем: он производит видеозапись, создает материал/историю для нарратива (или даже «видеонарратив»), будучи внутри ситуации, часть которой попадает в объектив видеокамеры. Его нарратив (и его видение) этой ситуации может и не совпадать полностью с тем, что попадает в видеозапись. Однако в этом нарративе как момент рефлексии присутствует различие того контента ситуации, который попадает в запись, и ее общего плана, в который включен сам наблюдатель/оператор, но который не совпадает с записью.

Наблюдатель второго порядка наблюдает ситуацию, записанную на видео, и вместе с тем он может наблюдать позицию оператора и рефлексировать относительно «точки зрения» оператора (даже если оператором был он сам). Это рефлексия невключенного наблюдателя, работающего с изображением как с текстом, разбирающего контент ситуации по видимому (запечатленному на видео) ее фрагменту. Его нарратив и рефлексивность (относительно того, что суждения о ситуации выносятся на основании наблюдения лишь ее части и что видеозапись ситуации не есть собственно сама ситуация, но артефакт, и что, наконец, эти суждения могут зависеть и от условий/обстоятельств оперирования этим артефактом, т. е. от условий просмотра видео) ограничены видимым контентом и в основном сводятся к ответу на вопросы «Что я вижу в этой записи?», «Что здесь происходит?», «Как это происходящее можно назвать?».

Наблюдатель третьего порядка — тот, кто, «снимая слой» первого впечатления/гештальта, не удовлетворяется только ответом на вопрос «Что происходит?», но стремится ответить на следующий, глубинный вопрос «Что за этим кроется?». Для этого он первым делом углубляется в «фактичность» происходящего на видео, отмечая, подбирая, регистрируя в своем нарративе мельчайшие детали, видимые в изображении ситуации. Этот взгляд собственно наблюдателя-исследователя, его нарратив — это, скорее, скрупулезная регистрация (не обязательно «значимых», «значимость» определяется в итоге исследования) деталей, принимающая в расчет и «фактичность» самого видеоматериала. Собственно «значимость», приписываемая тем или иным деталям и мельчайшим эпизодам в изображении, и есть та «естественная установка», которая преодолевается в наблюдении третьего порядка, когда наблюдатель «остраивается» от (собственного или нет) «само собой разумеющегося» представления о значимости в контексте наблюдаемой ситуации; в этом заключается основной момент рефлексии наблюдателя третьего порядка.

Наконец, наблюдатель четвертого порядка помещен в экспериментальную ситуацию. Он просматривает видеозапись в замедленном воспроизведении, в раскадровке на фрагменты продолжительностью в десятые доли секунды. Он видит «невидимое» невооруженным глазом, он способен в этом режиме рефлексировать синхронность множества деталей (причем не только синхронность их статического соприсутствия и соотношения, но и динамику изменений этого соотношения — собственно движение, «развитие» ситуации). Его нарратив — рассказ о том, что лежит за гранью видимого, привычного, ожидаемого, незамечаемого, само-собой-разумеющегося, узнаваемого, надежного, очевидного и т. д.

Как выстраиваются эти нарративы? Можем ли мы выявить какие-то общие для различного порядка нарративов одного и того же видео структуры? Каковы особенности нарративных структур различных порядков наблюдения? Что происходит с рефлексивностью в нарративе при переходе из одного регистра наблюдения в другой?

В целом использование видеозаписей как данных служит и в качестве контроля и проверки наших ограниченных (и порой — ошибочных) интуиции и воспоминаний.

нения; они предоставляют наблюдателю широкий диапазон материалов, относительно интеракций и их обстоятельств, а также предоставляют некоторые гарантии, что аналитические соображения не возникнут как артефакты интуитивной идиосинкразии, селективного внимания или воспоминания или в результате натурного эксперимента (Heritage, 1984: 4).

Необходимость проникновения в текст (и дальше — в видеозапись как в текст) требует от социологов сосредоточения на лингвистических проблемах (и дальше — на проблемах изобразительных искусств — в самом широком смысле). Понимание контекста требует от социологов открытости не только смежным, но и дальним дисциплинам, «абсолютной адекватности метода» и «безразличия» к междисциплинарным барьерам.

Литература

- Баньковская С. П.* (2011). Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // Социологическое обозрение. Т. 10. № 1. С. 19–33; № 2. С. 22–24.
- Бауман З.* (1996). Мыслить социологически / Пер. с англ. С. П. Баньковской и А. Ф. Филиппова. М.: Аспект-Пресс.
- Корбут А. М.* (2012). Видео социо // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 143–152.
- Корбут А. М.* (2016). Шаблон в структуре действия: электронные медицинские карты и рутинизация в медицинской практике // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 34–53.
- Миллс Ч. Р.* (1998). Социологическое воображение / Пер. с англ. О. А. Оберемко под ред. Г. С. Батыгина. М.: Стратегия.
- Пропт В. Я.* (1928). Морфология сказки. Л.: Academia.
- Савельева И. В., Полетаев А. В.* (ред.). (2009). Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение.
- Тённис Ф.* (2002). Общность и общество / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Владимир Даль.
- Филиппов А. Ф.* (2001). Георг Зиммель как классик социологии // *Давыдов Ю. Н.* (ред.). Новое и старое в теоретической социологии. Кн. 2. М.: Институт социологии РАН. С. 43–56.
- Филиппов А. Ф.* (2007). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.
- Штомпка П.* (2007). Визуальная социология: фотография как метод исследования. М.: Логос.
- Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В.* (ред.). (2009). Визуальная антропология: настройка оптики. М.: Вариант, ЦСПГИ.
- Abbott A.* (1995). Sequence Analysis: New Methods for Old Ideas // Annual Review of Sociology. Vol. 21. P. 93–113.

- Abell P.* (1987). *The Syntax of Social Life: The Theory and Method of Comparative Narratives*. Oxford: Clarendon.
- Anderson B.* (2006). *Becoming and Being Hopeful: Towards a Theory of Affect // Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 24. № 5. P. 733–752.
- Anderson B., Harrison P.* (2006). *Questioning Affect and Emotion // Area*. Vol. 38. № 3. P. 333–335.
- Back L.* (2013). *Live Sociology: Social Research and Its Futures // Back L., Puwar N.* (eds.). *Live Methods*. Oxford: Wiley-Blackwell. P. 18–39.
- Bal M.* (1977). *Narratologie: Essais sur la Signification Narrative dans Quatre Romans Modernes*. Paris: Editions Klincksieck.
- Barthes R.* (1977). *Introduction to the Structural Analysis of Narratives // Barthes R.* *Image. Music. Text*. London: Fontana. P. 79–124.
- Bates Ch.* (2015). *Introduction: Putting Things in Motion // Bates Ch.* (ed.). *Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge. P. 1–9.
- Bateson G., Mead M.* (1942). *Balinese Character: A Photographic Analysis*. New York: New York Academy of Sciences.
- Bissell D.* (2008). *Comfortable Bodies: Sedentary Affects // Environment and Planning A*. Vol. 40. № 7. P. 1697–1712.
- Brown K. M., Banks E.* (2015). *Close Encounters: Using Mobile Video Ethnography to Understand Human-Animal Relations // Bates Ch.* *Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge. P. 95–120.
- Carley K.* (1993). *Coding Choices for Textual Analysis: A Comparison of Content Analysis and Map Analysis // Sociological Methodology*. Vol. 23. P. 75–126.
- Clough P.* (ed.). (2007). *The Affective Turn: Theorizing the Social*. London: Duke University Press.
- Cohan S., Shires L. M.* (1988). *Telling Stories: A Theoretical Analysis of Narrative Fiction*. London: Routledge.
- Collier J., Collier M.* (1986). *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Corsaro W., Heise D.* (1990). *Event Structure Models from Ethnographic Data // Sociological Methodology*. Vol. 20. P. 1–57.
- Deleuze G.* (1997). *Essays Critical and Clinical*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Denzin N., Lincoln Y.* (eds.). (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE.
- Dewsbury J. D.* (2000). *Performativity and the Event: Enacting a Philosophy of Difference // Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 18. № 4. P. 473–496.
- Dewsbury J. D.* (2003). *Witnessing Space: «Knowledge without Contemplation» // Environment and Planning A*. Vol. 35. № 11. P. 1907–1932.
- Dewsbury J., Harrison P., Rose M., Wylie J.* (2002). *Introduction: Enacting Geographies // Geoforum*. Vol. 33. № 4. P. 437–440.

- Diesing P.* (1991). *How Does Science Work? Reflections on Process*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Eco U.* (1979). *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Bloomington: Indiana University Press.
- Foucault M.* (2002). *The Order of Things*. London: Routledge.
- Franzosi R.* (1989). From Words to Numbers: A Generalized and Linguistics-Based Coding Procedure for Collecting Event-Data from Newspapers // *Sociological Methodology*. Vol. 19. P. 263–298.
- Franzosi R.* (1990a). Strategies for the Prevention, Detection and Correction of Measurement Error in Data Collected from Textual Sources // *Sociological Methods Research*. Vol. 18. № 4. P. 442–472.
- Franzosi R.* (1990b). Computer-Assisted Coding of Textual Data Using Semantic Text Grammars // *Sociological Methods Research*. Vol. 19. № 2. P. 225–257.
- Franzosi R.* (1994). From Words to Numbers: A Set Theory Framework for the Collection, Organization, and Analysis of Narrative Data // *Sociological Methodology*. Vol. 24. P. 105–136.
- Franzosi R.* (1998). Narrative as Data: Linguistic and Statistical Tools for the Quantitative Study of Historical Events // *International Review of Social History*. Vol. 43. Supplement S6. P. 81–104.
- Gallagher M.* (2015). Working with Sound in Video: Producing an Experimental Documentary about School Spaces // *Bates Ch.* (ed.). *Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge. P. 165–186.
- Garfinkel H.* (2002). *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Genette G.* (1980). *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Ithaca: Cornell University Press.
- Goodwin C.* (1995). Seeing in Depth // *Social Studies of Science*. Vol. 25. № 2. P. 237–274.
- Greimas A. J.* (1966). *Semantique structurale*. Paris: Larousse.
- Grimshaw A. D.* (1982). Sound-Image Data Records for Research on Social Interaction // *Sociological Methods & Research*. Vol. 11. № 2. P. 121–144.
- Gumbrecht H. G.* (2004). *The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey*. Stanford: Stanford University Press.
- Harman G.* (2005). *Guerrilla Metaphysics*. Chicago: Open Court.
- Harper D.* (1988). Visual Sociology: Expanding Sociological Vision // *American Sociologist*. Vol. 19. № 1. P. 54–70.
- Harper D.* (1994). On the Authority of the Image: Visual Methods at the Crossroads // *Denzin N. K., Lincoln Y. S.* (eds.). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage. P. 403–412.
- Harper D.* (2012). *Visual Sociology*. London: Routledge.
- Harrison P.* (2000). Making Sense: Embodiment and the Sensibilities of the Everyday // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 18. № 4. P. 497–517.

- Harrison P.* (2007). «How Shall I Say It?» Relating the Non-relational // *Environment and Planning A*. Vol. 39. № 3. P. 590–608.
- Harrison P.* (2008). Corporeal Remains: Vulnerability, Proximity and Living-on after the End of the World // *Environment and Planning A*. Vol. 40. № 2. P. 423–445.
- Heath C., Hindmarsh J.* (1999). Analysing Interaction: Video, Ethnography and Situated Conduct // *May T.* (ed.) *Qualitative Research in Practice*. London: Sage. P. 99–121.
- Heath C., Hindmarsh J., Luff P.* (2010). *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*. London: Sage.
- Heise D.* (1989). Modeling Event Structures // *Journal of Mathematical Sociology*. Vol. 14. № 2-3. P. 139–169.
- Heritage J.* (1984). *Garfinkel and Ethnomethodology*. Cambridge: Polity Press.
- Kohler Riessman C.* (1993). *Narrative Analysis*. London: Sage.
- Krippendorff K.* (1980). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. London: Sage.
- Kusenbach M.* (2012). Mobile Methods // *Delamont S.* (ed.) *Handbook of Qualitative Research in Education*. Cheltenham: Edward Elgar. P. 252–264.
- Labov W.* (1972). *Language in the Inner City*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Labov W., Waletzky J.* (1967). Narrative Analysis // *Helm J.* (ed.) *Essays on the Verbal and Visual Arts*. Seattle: American Ethnological Society. P. 12–44.
- Latour B.* (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Laurier E., Philo C.* (2006). Possible Geographies: A Passing Encounter in a Cafe // *Area*. Vol. 38. № 4. P. 353–364.
- Lorimer H.* (2005). Cultural Geography: The Busyness of Being «More-Than-Representational» // *Progress in Human Geography*. Vol. 29. № 1. P. 83–94.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C.* (eds.) (2000). *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mandler J.* (1978). A Code in the Node: The Use of Story Schema in Retrieval // *Discourse Process*. Vol. 1. № 1. P. 14–35.
- Massumi B.* (2002). *Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. London: Duke University Press.
- Massumi B.* (2004). Notes on the Translation and Acknowledgments // *Deleuze G., Guattari F.* *Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. London: Continuum. P. xvi–xix.
- McCormack D.* (2002). A Paper with an Interest in Rhythm // *Geoforum*. Vol. 33. № 4. P. 469–485.
- McCormack D.* (2003). An Event of Geographical Ethics in Spaces of Affect // *Transactions of the Institute of British Geographers*. Vol. 28. № 4. P. 488–507.
- McCormack D.* (2005). Diagramming Practice and Performance // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 23. № 1. P. 119–147.

- Meillassoux Q.* (2008). *After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency*. London: Continuum.
- Nash C.* (2000). *Performativity in Practice: Some Recent Work in Cultural Geography // Progress in Human Geography*. Vol. 24. № 4. P. 653–664.
- Parsons T.* (1937). *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.
- Ray L. J.* (1999). *Theorizing Classical Sociology*. Buckingham: Open University Press.
- Ricoeur P.* (1984–1988). *Time and Narrative*. 3 Vols. / Transl. K. McLaughlin, D. Pellauer. Chicago: University of Chicago Press.
- Rimmon-Kenan S.* (1983). *Narrative Fiction: Contemporary Poetics*. London: Methuen.
- Ruby J.* (2000). *Picturing Culture*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rumelhart D.* (1975). *Notes on a Schema for Stories // Bobrow D., Collins A. (ed.). Representation and Understanding*. New York: Academic. P. 211–236.
- Simpson P.* (2010). *Ecologies of Street Performance: Bodies, Affects, Politics*. Unpublished PhD Thesis. Bristol: University of Bristol.
- Simpson P.* (2015). *Atmospheres of Arrival/Departure and Multi-Angle Video Recording: Reflections from St Pancras and Gare du Nord // Bates Ch. (ed.). Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge. P. 27–48.
- Stasz Cl.* (1979). *The Early History of Visual Sociology // Wagner J. (ed.). Images of Information*. London: Sage. P. 119–136.
- Stewart K.* (2007). *Ordinary Affects*. London: Duke University Press.
- Sztompka P.* (2005). *Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza*. Warszawa: PWN.
- Thrift N.* (1996). *Spatial Formations*. London: Sage.
- Thrift N.* (1997). *The Still Point: Resistance, Expressive Embodiment and Dance // Pile S., Keith M. (eds.). Geographies of Resistance*. London: Routledge. P. 124–151.
- Thrift N.* (1999). *Steps to an Ecology of Place // Massey D., Allen J., Sarre P. (eds.). Human Geography Today*. Cambridge: Polity. P. 295–322.
- Thrift N.* (2000). *Afterwords // Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 18. № 2. P. 213–255.
- Thrift N.* (2003a). *Performance and... // Environment and Planning A*. Vol. 35. № 11. P. 2019–2024.
- Thrift N.* (2003b). *Practicing Ethics // Pryke M., Rose G., Whatmore S. (eds.). Using Social Theory: Thinking through Research*. London: Sage. P. 105–121.
- Thrift N.* (2004). *Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect // Geografiska Annaler*. Vol. 86B. № 1. P. 57–78.
- Thrift N.* (2007). *Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect*. London: Routledge.
- Todorov T.* (1981). *Introduction to Poetics*. Sussex: Harvester.
- Toolan M.* (1988). *Narrative: A Critical Linguistic Introduction*. London: Routledge.
- Turner J. H.* (1993). *Classical Sociological Theory: A Positivist Perspective*. Chicago: Nelson-Hall.

- Turner S. P., Turner J. H. (1990). *The Impossible Science: An Institutional Analysis of American Sociology*. London: Sage.
- van Dijk T. (1988). *News as Discourse*. Hillsdale: Erlbaum.
- Vannini Ph. (2015). *Video Methods Beyond Representation: Experimenting with Multimodal, Sensuous, Affective Intensities in the 21st Century* // Bates Ch. (ed.). *Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge. P. 230–240.
- Whatmore S. (2006). *Materialist Returns: Practicing Cultural Geography in and for a More-Than-Human World* // *Cultural Geographies*. Vol. 13. № 4. P. 600–609.
- Wylie J. (2002). *An Essay on Ascending Glastonbury Tor* // *Geoforum*. Vol. 33. № 4. P. 441–454.
- Wylie J. (2005). *A Single Day's Walking: Narrating Self and Landscape on the South West Coast Path* // *Transactions of the Institute of British Geographers*. Vol. 30. № 2. P. 234–247.
- Wylie J. (2006). *Depths and Folds: On Landscape and the Gazing Subject* // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 24. № 4. P. 519–535.

Video-Sociology: Theoretical and Methodological Foundations

Svetlana Bankovskaya

Professor of Sociology, Centre for Fundamental Sociology,
National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: sbankovskaya@gmail.com

Modern technological development runs parallel with new social phenomena, which are often hard to describe because of the lack of theoretical resources even when an empirical, experimental observation base and sophisticated and reliable methods for obtaining data are available. Recently, researchers' attention has been particularly attracted to the phenomena that are referred to in political and philosophical literature as "the multitude", i.e., large entities which cannot be adequately described by the usual terms of "group", "mass", or just "crowd". The dispersal of multitudes, a coordination originating beyond the verbal means of communication (unintended coordination), the phenomena of physical coherence at the level of anticipation of expressions and activities of the partner, and more, are found, in part, for the first time, and partially find evidence by means of a visual sociology. Visual sociology is already a differentiated school of thought with the empirical research practice of using visual materials (photos and video, mostly) as data. The need to rethink the research ideology of visual sociology and to develop the narrative means which enables the making of this research more productive appears to be all the more urgent. The complementary modus of narratology and visual sociology is not only a promising research perspective, but also a particular problem at the level of methodology which is considered in this article (as well as different approaches to its formulation). Among the theoretical interpretations of this problem, the "theory of non-representation" is specifically considered, and methodological issues are analyzed in the context of the experiment.

Keywords: visual sociology, video methods, the theory of non-representation, narrative, observation, methodological adequacy

References

- Abbott A. (1995) Sequence Analysis: New Methods for Old Ideas. *Annual Review of Sociology*, vol. 21, pp. 93–113.
- Abell P. (1987) *The Syntax of Social Life: The Theory and Method of Comparative Narratives*, Oxford: Clarendon.
- Anderson B. (2006) Becoming and Being Hopeful: Towards a Theory of Affect. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 24, no 5, pp. 733–752.
- Anderson B., Harrison P. (2006) Questioning Affect and Emotion. *Area*, vol. 38, no 3, pp. 333–335.
- Back L. (2013) Live Sociology: Social Research and Its Futures. *Live Methods* (eds. L. Back, N. Puwar), Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 18–39.
- Bal M. (1977) *Narratologie: Essais sur la Signification Narrative dans Quatre Romans Modernes*, Paris: Editions Klincksieck.
- Bankovskaya S. (2011) Ponjatje geterotopichnoj sredy i jeksperimentirovanie s nej kak s uslovijem ustojchivogo nelecelenapravlennoogo dejstvija [The Concept of Heterotopic Environment and Experimenting with It as a Condition of Stable Non-purposeful Action]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1, pp. 19–33; no 2, pp. 22–24.
- Barthes R. (1977) Introduction to the Structural Analysis of Narratives. *Image. Music. Text*, London: Fontana, pp. 79–124.
- Bates Ch. (2015) Introduction: Putting Things in Motion. *Video Methods: Social Science Research in Motion* (ed. Ch. Bates), London: Routledge, pp. 1–9.
- Bateson G., Mead M. (1942) *Balinese Character: A Photographic Analysis*, New York: New York Academy of Sciences.
- Bauman Z. (1996) *Myslit' sociologicheskii* [Thinking Sociologically], Moscow: Aspekt-Press.
- Bissell D. (2008) Comfortable Bodies: Sedentary Affects. *Environment and Planning A*, vol. 40, no 7, pp. 1697–1712.
- Brown K. M., Banks E. (2015) Close Encounters: Using Mobile Video Ethnography to Understand Human-Animal Relations. *Video Methods: Social Science Research in Motion* (ed. Ch. Bates), London: Routledge, pp. 95–120.
- Carley K. (1993) Coding Choices for Textual Analysis: A Comparison of Content Analysis and Map Analysis. *Sociological Methodology*, vol. 23, pp. 75–126.
- Clough P. (ed.) (2007) *The Affective Turn: Theorizing the Social*, London: Duke University Press.
- Cohan S., Shires L. M. (1988) *Telling Stories: A Theoretical Analysis of Narrative Fiction*, London: Routledge.
- Collier J., Collier M. (1986) *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*, Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Corsaro W., Heise D. (1990) Event Structure Models from Ethnographic Data. *Sociological Methodology*, vol. 20, pp. 1–57.
- Deleuze G. (1997) *Essays Critical and Clinical*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Denzin N., Lincoln Y. (eds.) (2005) *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, London: SAGE.
- Dewsbury J. D. (2000) Performativity and the Event: Enacting a Philosophy of Difference. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 18, no 4, pp. 473–496.
- Dewsbury J. D. (2003) Witnessing Space: "Knowledge without Contemplation". *Environment and Planning A*, vol. 35, no 11, pp. 1907–1932.
- Dewsbury J., Harrison P., Rose M., Wylie J. (2002) Introduction: Enacting Geographies. *Geoforum*, vol. 33, no 4, pp. 437–440.
- Diesing P. (1991) *How Does Science Work? Reflections on Process*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Eco U. (1979) *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*, Bloomington: Indiana University Press.
- Filippov A. (2001) Georg Zimmel' kak klassik sociologii [Georg Simmel as a Classic of Sociology]. *Novoe i staroe v teoreticheskoi sociologii, tom 2* [The Old and the New in Theoretical Sociology, vol. 2] (ed. Y. Davydov), Moscow: RAS Institute of Sociology, pp. 43–56.
- Filippov A. (2007) Sociologija prostranstva [The Sociology of Space], Saint Petersburg: Vladimir Dal.

- Foucault M. (2002) *The Order of Things*, London: Routledge.
- Franzosi R. (1989) From Words to Numbers: A Generalized and Linguistics-Based Coding Procedure for Collecting Event-Data from Newspapers. *Sociological Methodology*, vol. 19, pp. 263–298.
- Franzosi R. (1990a) Strategies for the Prevention, Detection and Correction of Measurement Error in Data Collected from Textual Sources. *Sociological Methods Research*, vol. 18, no 4, pp. 442–472.
- Franzosi R. (1990b) Computer-Assisted Coding of Textual Data Using Semantic Text Grammars. *Sociological Methods Research*, vol. 19, no 2, pp. 225–257.
- Franzosi R. (1994) From Words to Numbers: A Set Theory Framework for the Collection, Organization, and Analysis of Narrative Data. *Sociological Methodology*, vol. 24, pp. 105–136.
- Franzosi R. (1998) Narrative as Data: Linguistic and Statistical Tools for the Quantitative Study of Historical Events. *International Review of Social History*, vol. 43, supplement S6, pp. 81–104.
- Gallagher M. (2015) Working with Sound in Video: Producing an Experimental Documentary about School Spaces. *Video Methods: Social Science Research in Motion* (ed. Ch. Bates), London: Routledge, pp. 165–186.
- Garfinkel H. (2002) *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Genette G. (1980) *Narrative Discourse: An Essay in Method*, Ithaca: Cornell University Press.
- Goodwin C. (1995) Seeing in Depth. *Social Studies of Science*, vol. 25, no 2, pp. 237–274.
- Greimas A. J. (1966) *Semantique structurale*, Paris: Larousse.
- Grimshaw A. D. (1982) Sound-Image Data Records for Research on Social Interaction. *Sociological Methods & Research*, vol. 11, no 2, pp. 121–144.
- Gumbrecht H. G. (2004) *The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey*, Stanford: Stanford University Press.
- Harman G. (2005) *Guerrilla Metaphysics*, Chicago: Open Court.
- Harper D. (1988) Visual Sociology: Expanding Sociological Vision. *American Sociologist*, vol. 19, no 1, pp. 54–70.
- Harper D. (1994) On the Authority of the Image: Visual Methods at the Crossroads. *Handbook of Qualitative Research* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln), London: Sage, pp. 403–412.
- Harper D. (2012) *Visual Sociology*, London: Routledge.
- Harrison P. (2000) Making Sense: Embodiment and the Sensibilities of the Everyday. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 18, no 4, pp. 497–517.
- Harrison P. (2007) "How Shall I Say It?" Relating the Non-relational. *Environment and Planning A*, vol. 39, no 3, pp. 590–608.
- Harrison P. (2008) Corporeal Remains: Vulnerability, Proximity and Living-on after the End of the World. *Environment and Planning A*, vol. 40, no 2, pp. 423–445.
- Heath C., Hindmarsh J. (1999) Analysing Interaction: Video, Ethnography and Situated Conduct. *Qualitative Research in Practice* (ed. T. May), London: Sage, pp. 99–121.
- Heath C., Hindmarsh J., Luff P. (2010) *Video in Qualitative Research: Analysing Social Interaction in Everyday Life*, London: Sage.
- Heise D. (1989) Modeling Event Structures. *Journal of Mathematical Sociology*, vol. 14, no 2-3, pp. 139–169.
- Heritage J. (1984) *Garfinkel and Ethnomethodology*, Cambridge: Polity Press.
- Iarskaia-Smirnova E., Romanov P. (eds.) (2009) *Vizual'naja antropologija: nastrojka optiki* [Visual Anthropology: The Adjustment of Optics], Moscow: Variant, CSPGS.
- Kohler Riessman C. (1993) *Narrative Analysis*, London: Sage.
- Korbut A. M. (2012) Video socio [Video Socio]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 2, pp. 143–152.
- Korbut A. M. (2016) Shablon v strukture dejstvija: jelektronnye medicinskie karty i rutinizacija v medicinskoj praktike [A Template in the Structure of Action: Electronic Health Records and the Routinization of Clinical Practice]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 1, pp. 34–53.
- Krippendorff K. (1980) *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, London: Sage.
- Kusenbach M. (2012) Mobile Methods. *Handbook of Qualitative Research in Education* (ed. S. Delamont), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 252–264.
- Labov W. (1972) *Language in the Inner City*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

- Labov W., Waletzky J. (1967) Narrative Analysis. *Essays on the Verbal and Visual Arts* (ed. J. Helm), Seattle: American Ethnological Society, pp. 12–44.
- Latour B. (2005) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Laurier E., Philo C. (2006) Possible Geographies: A Passing Encounter in a Cafe. *Area*, vol. 38, no 4, pp. 353–364.
- Lorimer H. (2005) Cultural Geography: The Busyness of Being "More-Than-Representational". *Progress in Human Geography*, vol. 29, no 1, pp. 83–94.
- Luff P., Hindmarsh J., Heath C. (eds.) (2000) *Workplace Studies: Recovering Work Practice and Informing System Design*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mandler J. (1978) A Code in the Node: The Use of Story Schema in Retrieval. *Discourse Process*, vol. 1, no 1, pp. 14–35.
- Massumi B. (2002) *Parables of the Virtual: Movement, Affect, Sensation*, London: Duke University Press.
- Massumi B. (2004) Notes on the Translation and Acknowledgments. Deleuze G., Guattari F., *Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*, London: Continuum, pp. xvi–xix.
- McCormack D. (2002) A Paper with an Interest in Rhythm. *Geoforum*, vol. 33, no 4, pp. 469–485.
- McCormack D. (2003) An Event of Geographical Ethics in Spaces of Affect. *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 28, no 4, pp. 488–507.
- McCormack D. (2005) Diagramming Practice and Performance. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 23, no 1, pp. 119–147.
- Meillassoux Q. (2008) *After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency*, London: Continuum.
- Mills Ch. W. (1998) *Sociologicheskoe voobrazhenie* [Sociological Imagination], Moscow: Strategia.
- Nash C. (2000) Performativity in Practice: Some Recent Work in Cultural Geography. *Progress in Human Geography*, vol. 24, no 4, pp. 653–664.
- Parsons T. (1937) *The Structure of Social Action*, New York: McGraw-Hill.
- Propp V. (1928) *Morfologija skazki* [The Morphology of a Fairy-Tale], Leningrad: Academia.
- Ray L. J. (1999) *Theorizing Classical Sociology*, Buckingham: Open University Press.
- Ricoeur P. (1984–1988) *Time and Narrative*, Chicago: University of Chicago Press.
- Rimmon-Kenan S. (1983) *Narrative Fiction: Contemporary Poetics*, London: Methuen.
- Ruby J. (2000) *Picturing Culture*, Chicago: University of Chicago Press.
- Rumelhart D. (1975) Notes on a Schema for Stories. *Representation and Understanding* (eds. D. Bobrow, A. Collins), New York: Academic, pp. 211–236.
- Savelieva I., Poletaev A. (eds.) (2009) *Klassika i klassiki v social'nom i gumanitarnom znanii* [Classical and the Classics in Social Knowledge and the Humanities], Moscow: New Literary Observer.
- Simpson P. (2010) *Ecologies of Street Performance: Bodies, Affects, Politics* (PhD Thesis), Bristol: University of Bristol.
- Simpson P. (2015) Atmospheres of Arrival/Departure and Multi-Angle Video Recording: Reflections from St Pancras and Gare du Nord. *Video Methods: Social Science Research in Motion* (ed. Ch. Bates), London: Routledge, pp. 27–48.
- Stasz Cl. (1979) The Early History of Visual Sociology. *Images of Information* (ed. J. Wagner), London: Sage, pp. 119–136.
- Stewart K. (2007) *Ordinary Affects*, London: Duke University Press.
- Sztompka P. (2005) *Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza*, Warszawa: PWN.
- Sztompka P. (2007) *Vizual'naja sociologija: fotografija kak metod issledovanija* [Visual Sociology: Photography as a Research Method], Moscow: Logos.
- Thrift N. (1996) *Spatial Formations*, London: Sage.
- Thrift N. (1997) The Still Point: Resistance, Expressive Embodiment and Dance. *Geographies of Resistance* (eds. S. Pile, M. Keith), London: Routledge, pp. 124–151.
- Thrift N. (1999) Steps to an Ecology of Place. *Human Geography Today* (eds. D. Massey, J. Allen, P. Sarre), Cambridge: Polity, pp. 295–322.
- Thrift N. (2000) Afterwords. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 18, no 2, pp. 213–255.
- Thrift N. (2003a) Performance and... *Environment and Planning A*, vol. 35, no 11, pp. 2019–2024.

- Thrift N. (2003b) Practicing Ethics. *Using Social Theory: Thinking through Research* (eds. M. Pryke, G. Rose, S. Whatmore), London: Sage, pp. 105–121.
- Thrift N. (2004) Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect. *Geografiska Annaler*, vol. 86B, no 1, pp. 57–78.
- Thrift N. (2007) *Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect*, London: Routledge.
- Todorov T. (1981) *Introduction to Poetics*, Sussex: Harvester.
- Tönnies F. (2002) *Obshchnost' i obshchestvo* [Community and Society], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Toolan M. (1988) *Narrative: A Critical Linguistic Introduction*, London: Routledge.
- Turner J. H. (1993) *Classical Sociological Theory: A Positivist Perspective*, Chicago: Nelson-Hall.
- Turner S, pp., Turner J. H. (1990) *The Impossible Science: An Institutional Analysis of American Sociology*, London: Sage.
- van Dijk T. (1988) *News as Discourse*, Hillsdale: Erlbaum.
- Vannini Ph. (2015) Video Methods Beyond Representation: Experimenting with Multimodal, Sensuous, Affective Intensities in the 21st Century. *Video Methods: Social Science Research in Motion* (ed. Ch. Bates), London: Routledge, pp. 230–240.
- Whatmore S. (2006) Materialist Returns: Practicing Cultural Geography in and for a More-Than-Human World. *Cultural Geographies*, vol. 13, no 4, pp. 600–609.
- Wylie J. (2002) An Essay on Ascending Glastonbury Tor. *Geoforum*, vol. 33, no 4, pp. 441–454.
- Wylie J. (2005) A Single Day's Walking: Narrating Self and Landscape on the South West Coast Path. *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 30, no 2, pp. 234–247.
- Wylie J. (2006) Depths and Folds: On Landscape and the Gazing Subject. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 24, no 4, pp. 519–535.

Игровая концепция повседневности И. Гофмана: между символическим интеракционизмом и этнометодологией

Константин Глазков

Аспирант департамента социологии НИУ ВШЭ, магистр градостроительства

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: glk@gorod.org.ru

Метафора театра неразрывно связана с исследовательским подходом Ирвина Гофмана. Однако с начала 1960-х годов он отдаляется от драматургического подхода и пребывает в поисках нового источника для теоретизирования. Одним из таких источников становятся игры. Несмотря на широкий арсенал аналитических понятий и исследовательский опыт, сформировавшийся за этот период, подход Гофмана к изучению повседневности через игровую метафору не обрел популярности среди исследователей геймификации практик. Задача настоящей статьи — раскрыть теоретический потенциал концепции игрового столкновения Гофмана, обозначив точки сопряжения его концепции со смежными областями (преимущественно с символическим интеракционизмом и этнометодологией). Игровая концепция Гофмана, в отличие от символического интеракционизма, стремится ограничить степень проникновения символического наполнения взаимодействий, когда последовательность ходов и результат столкновения обретает смысл лишь из-за рекурсивной интерпретации участников. Напротив, Гофман указывает на то, что исход игрового столкновения во многом зависит от предыдущей последовательности ходов и ситуативно доступного набора событий. Этнометодологи отмечают, что повседневность не имеет перерывов и не разыгрывается по правилам, подобно играм. По Гофману, игровому взаимодействию действительно свойственна прерывистая темпоральность, которая, впрочем, не означает стратегических тайм-аутов. В свою очередь, существующий разрыв с теорией игр объясняется тем, что он осознанно исключил строгую калькуляцию из повседневных взаимодействий, оставляя значительную роль для неопределенности. Несмотря на то, что по одним и тем же основаниям игровая концепция Гофмана близка то к одному, то к другому подходу и многие авторы пытаются нащупать схожесть между ними, она сохраняет свою оригинальность и обладает особыми аналитическими преимуществами.

Ключевые слова: игровая метафора, игровое столкновение, спонтанная вовлеченность, эйфория, символический интеракционизм, этнометодология

Гофман как теоретик игрового взаимодействия

Понятие игры остается довольно запутанным вопреки многочисленным попыткам классифицировать разнообразие проявления игр. Тем не менее многие авторы выделяют в отдельные классы игры, основанные на случае, и игры, основанные на подражании (Юнгер, 2012: 35–49). У Р. Кайуа (2007) эти жанры получили названия *alea* и *mimicria* соответственно. В подходе Гофмана игры на подражание (пред-

© Глазков К. П., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-167-191

ставление себя другим) получили дополнительную преференцию, что послужило поводом для отдельного их рассмотрения в качестве самостоятельной области. Во многом это обусловлено тем, что Гофман наследует мидовскую традицию, в рамках которой люди не просто играют, а играют роли (*playing* и *gaming*), что является неотъемлемым процессом социализации и становления себя как субъекта социальных отношений (Mead, 1934). Если среди исследователей культуры игра по отношению к театру оставалась общим понятием¹, то в социологическом прочтении она в основном сводилась к драматургическому подходу, согласно которому каждый из участников социальных отношений поддерживает (разыгрывает) необходимую видимость происходящего.

Тем не менее, как верно подмечают некоторые авторы, «драматургическая оптика покоится на различии того, что „представлено“, и того, что есть „на самом деле“» (Вахштайн, 2007: 69). И если проблема того, что есть «на самом деле», не получила однозначного решения в дискуссии между символическими интеракционистами и этнометодологами (Rawls, 1989), то для самого Гофмана ситуация, когда «маски сцены отбрасываются» (Гофман, 2000: 302), выходит на передний план. В тот момент, когда театр отступает от повседневности², в ней угадываются черты случайности, которую всякий раз стремятся укротить неунывающие участники социальной игры, являющие в процессе игры настоящих Я. В период после «Представления себя другим в повседневной жизни» (1956) и до «Анализа фреймов» (1974) выходит ряд работ Гофмана, в которых игровая метафора получает детальную проработку. Это «Столкновения: два исследования в социологии взаимодействия» (1961), «Ритуал взаимодействия: эссе в области поведения лицом-к-лицу» (1967) и «Стратегическое взаимодействие» (1969)³. «На страницах

1. Ф. Г. Юнгер постоянно обращается к игре слов, поэтому «спектакль» по-немецки он передает с помощью слова «Schauspiel», то есть «игры напоказ» (Юнгер, 2012: 93).

2. В настоящее время скорее наблюдается обратный процесс, когда повседневность подступает к театру. Привычное театральное действие демонстрирует зрителю эстетику обыденного, отстраняя его от обыденного и тем самым делая главным действующим лицом. Пример анализа городского спектакля «Remote» (см.: Шмелева, 2016). В отличие от городских спектаклей, искусство перформанса, погружая зрителя-участника в ситуацию повседневных практик, за счет коллективной сверхконцентрации на происходящем добивается обратного эффекта — выталкивания из повседневного и последующего ощущения экзальтации и «нереального». Пример анализа перформанса в терминах фрейм-анализа, игры и спектакля (см.: Сироткина, 2016).

3. Как справедливо отмечает один из рецензентов, в трех упомянутых работах Гофман обращается к теме игр по-разному: «игра как форма активности» соответствует статьям «Fun in Games» (1961) и «Where the Action Is?» (1967), а «игра как перспектива для анализа» — книге «Стратегическое взаимодействие» (1969). Проблема состоит в интерпретации намерений самого Гофмана: действительно ли он пребывал в поисках новой «гранд-метафоры» взамен драматургии? Такая постановка вопроса кажется бессмысленной. Не имея возможности установить, какой замысел скрывался за работами этого периода, остается лишь оперировать изложенными в них теоретическими положениями. Очевидным кажется, что Гофман постоянно обращался к разным «каналам терминологического импорта» (Вахштайн, 2007: 71) и игры были одним из таких каналов. Осознанно или нет, Гофман видит за играми разные аналитические возможности, которые в его работах имеют между собой мало общего. Вероятно, теоретика подвела ускользающая природа игры, субстанции которой, по Витгенштейну, не существует (Эдмондс, Айдиноу, 2004: 231), а может быть, он специально предпочитает держать на уда-

его текстов понятия из словаря азартных игр („ставка“, „шанс“, „пари“, „джекпот“, „блеф“) соседствуют с традиционными социологическими определениями и заимствованиями из разговорного языка или сленга („прикид“, „жертва“, „сборище“, „манера“, „лицо“») (Вахштайн, 2007: 71). Эти аргументы, вкупе с опытом крупье-блэджера в Лас-Вегасе, который имелся у Гофмана после прохождения курсов подготовки, склоняют к мнению, что гофмановский проект игровой концепции повседневности является наиболее недооцененным среди его наследия. Примечательно, что в век цифровых технологий и опосредованных через медиа игровых взаимодействий подходы к изучению ситуативного порядка лицом-к-лицу, с некоторыми оговорками, представляются наиболее перспективными. Однако это потребует щепетильной реконструкции соответствующей аналитической модели с целью дальнейшей адаптации ее под современные феномены.

Вспоминая о Гофмане, Г. С. Беккер (2007) описывает случай, когда в начале 1960-х тот позвал его на семинар, на котором М. Скотт — тогда еще студент Университета в Беркли — презентовал свое исследование. В докладе, который впоследствии лег в основу знаменитой книги «The Racing Game» (Scott, 1968), Скотт рассказывал о феномене, когда при организации скачек тренеры, владельцы лошадей и жокеи стремятся специально проигрывать заезды, уповая на существование «победных» и «проигрышных» серий. Гофман прервал докладчика и попытался уточнить, спросив: разумеется, они думают, что «победные» и «проигрышные» серии существуют? Тогда Скотт ответил, что такие серии являются наблюдаемым фактом. Гофман, с его богатым опытом исследования игр в карты и кости, пришел в ярость от столь натуралистического толкования удачи игроков и прервал выступление.

Этот случай демонстрирует, как Гофман подходит к изучению игр. Для него игровое взаимодействие — активность, при которой люди взвешивают свои шансы и принимают ответственные решения. Игры занимают промежуточное положение между неопределенным и детерминированным, где участники пытаются найти баланс между двумя крайностями. Игровое взаимодействие не ограничивается игрой, но затрагивает и остальные активности, возникающие по поводу игры. Таким образом, игровое взаимодействие может пронизывать комплексные ситуации, в которых одни участники заняты игрой, другие — принимают ставки на исход игры, третьи — попросту наблюдают, не вмешиваясь в происходящее.

Далее мы попытаемся детально рассмотреть наиболее простой элемент подобных комплексных ситуаций — *игровое столкновение*. Нас интересует, как этот концепт представлен в работах Гофмана и какую рецепцию он получил в рамках микросоциологического подхода. В качестве отправной точки обратимся к двум эссе Гофмана: «Fun in Games» (1961) и «Where the Action Is?» (1967), в которых по-

лении «игру как активность» и «игру как перспективу». Это не важно. Наша задача — сформировать из разрозненных определений и связей консистентную картину, которая бы позволяла более продуктивно подходить к описанию повседневных взаимодействий, выделяя из них аспекты, игнорируемые другими подходами.

нятие игрового столкновения получило наиболее полную проработку⁴. «Фронт рецепции» этих двух работ мы условно поделим на три направления: символический интеракционизм, представленный статьями из журналов «Studies in Symbolic Interaction» и «Symbolic Interaction», этнометодология и теория игр.

Метафорическая и аналитическая модель Гофмана в области игр испытывает коррозию, вызванную отторжением со стороны более устоявшихся теоретических школ (символического интеракционизма, этнометодологии, теории игр). Значительная ее часть, включая само понятие игрового столкновения, слабо представлена в последующих работах, а если и представлена, то получила иную интерпретацию. Попробуем разобраться, в чем она заключается, какие положения гофмановской теории игр были в большей степени восприняты, а какие отброшены.

Аналитические преимущества игровой концепции повседневности

Гофман обращается к игровой метафоре по ряду причин. Базовая причина заключается в том, что игры проливают свет на те обстоятельства ситуации взаимодействия, без которых она беспрепятственно поддерживает свою целостность. Вместо того чтобы искусственно расстраивать тот или иной аспект ситуации, как это принято, например в этнометодологической традиции⁵, Гофман предлагает изучать так называемые «правила иррелевантности», с помощью которых участники исключают из рассмотрения лишние детали контекста, тем самым поддерживая устойчивость игровой действительности (Goffman, 1961: 19).

Включенные во взаимодействия объекты в рамках игр получают специфическое символическое восприятие. «Королева в шахматах — не настоящая королева, но и не кусок дерева или кости» (Ibid.: 25). Можно сконструировать собственное понимание того, как тот или иной объект считывается в процессе взаимодействия. Шахматная королева — это то, что движется как королева в процессе игры в шахматы. Попутно все лишние атрибуты ситуации, внешней по отношению к игре, на время исключаются из виду. «Как некоторые правила и ощущения остаются в области неизвестного (временного бездействия), так и участники взаимодействия выключают себя из обязательств, идущих вразрез с текущим взаимодействием» (Ibid.: 24).

Игровая активность важна еще и потому, что само участие в игре порождает особый тип вовлеченности всех участников взаимодействия, поддерживая высокую степень сфокусированности на игровые правила, объекты, противостоящие стороны и т. д. «Мы не можем трактовать игры как нечто, что принадлежит

4. Книга «Strategic Interaction» также очень важна для понимания игровой концепции Гофмана, тем не менее мы опускаем ее разбор ввиду того, что в ней в меньшей степени представлен анализ игровых столкновений как ситуаций сфокусированного взаимодействия лицом-к-лицу.

5. В этом месте текста следует ссылка на неопубликованную работу Г. Гарфинкеля «Некоторые концепции и эксперименты с доверием...» 1959 г. Неслучайно именно этот аспект теоретизирования приближает гофмановский подход по изучению игр к этнометодологии, в рамках которой игры воспринимаются больше как поле для экспериментальной проверки прочности порядка.

фантазии, если мы хотим сказать, что серьезное, как и несерьезное, порождают степени включенности» (Ibid.: 26). Поэтому в каком-то смысле игра отражает упрощенную структуру реальных ситуаций. Мир социальных отношений — это совокупность игроков, готовых редуцировать реальность к ее наиболее релевантным («ярким») элементам. Таким образом, игры открывают возможность для изучения наиболее концентрированных форм взаимодействия, когда поддерживаются высокий накал и степень вовлеченности всех сторон⁶.

Другая важная причина, почему Гофман обращается к играм, связана с тем, что игры помогают «вырезать» фрагмент действительности, наиболее подходящий для анализа (Ibid.: 32). За счет механизмов создания так называемого «магического круга» игра четко определяет основной фокус взаимодействий и поддерживающие его автономность пространственно-временные границы. Столкнувшись с игровым взаимодействием исследователю открываются все правила и границы ситуации в эксплицитной форме.

В игровых условиях появляется также возможность раскрыть табуированные или замалчиваемые темы. Так, Гофман приводит в пример игровую терапию Э. Эриксона, когда ребенок, испытывающий трудности в общении с родителями, преодолевает неудобство и напряженное молчание после того, как расставляет куклы в качестве слушателей (Ibid.: 67). Следовательно, игры снимают некоторые внешние ограничения, нарушавшие естественный ход взаимодействий, предлагая вместо них наиболее подходящие механизмы.

Обозначив аргументы в пользу необходимости изучения игр, скажем несколько слов по поводу контекста, внутри которого вращается теория игровых столкновений Гофмана. Интересно, как сам исследователь оценивает приемственность микросоциологии игровых взаимодействий с другими подходами и авторами. В частности, он критикует Г. Зиммеля за то, что тот не осмелился трактовать игры как тип чистой формы социальности, хотя и признавал за ними свойство уравнивать участников, как будто «богатство, социальное положение, эрудированность... не играют роли в искусстве социальности». Последствия этого шага обернулись тем, что социологи, по мнению Гофмана, перестали обращать внимание на правила иррелевантности, том в числе и в «серьезных» областях повседневности (Ibid.: 21).

6. Игры в этом случае используются Гофманом не как метафора, но как «синекдоха — предельный случай, в котором некоторые элементы социального порядка проступают в наиболее зримой форме». То есть изучение процессов вовлечения во взаимодействие выигрышно рассматривать на примере игр, для которых характерна высокая степень вовлеченности участников. Такой способ рассмотрения близок к нашей интерпретации, которая, впрочем, как и сам Гофман, этим не ограничивается. Будучи связанной с другими «наиболее зримыми элементами порядка», игра впоследствии может быть использована не в качестве субстрата для анализа, а как метафора, которая сама по себе выделяет из порядка близкие ей элементы. Например: «лошадиные скачки как игра» (Scott, 1968), «мобильность как игра» (Richardson, 2010), «чтения на литературном вечере как игра» (Вежлян, 2016), «перформанс как исполнение-игра» (Сироткина, 2016).

Для Гофмана игровая модель обладает импликациями из социальной психологии. Это три базовых понятия, к которым он обращается в процессе анализа игр: индивид, коммуникация, взаимодействие.

Применительно к анализу игровых взаимодействий «индивид» уточняется с помощью двух составных частей. С одной стороны, должна быть представлена заинтересованная идентичность (команда, противоборствующие стороны), а с другой — сам игрок, который действует в интересах своей команды.

Под коммуникацией понимается коммуникативная активность, выраженная в совершении ходов. Речь идет не об обмене сообщениями и не разыгрывании поведенческой модели, а собственно о самом ходе, что требует оговорить правила, хотя мы не обязаны предупреждать оппонента о своем ходе.

Игровая перспектива редуцирует ситуацию взаимодействия до команд, совершающих ходы в ограниченных обстоятельствах. Взаимодействие в таком случае понимается не как взаимное влияние, а как «высоко структурированная форма взаимной зависимости от судьбы (*fatefulness*)» (Ibid.: 32).

Таким образом, игровая концепция упорядочивает схему описания социальной ситуации. Индивид, коммуникация и взаимодействие в процессе игры раскрываются через заинтересованные стороны и телесных игроков, обмен ходами и стратегии, зависящие от предыдущих ходов.

Теперь обратимся к ограничениям, которые уточняют в трактовке Гофмана сферу применения концепции игровых столкновений.

Гофман противопоставляет попарно игры (*games*) и процесс игры (*play*), а также игры (*games*) и игровое взаимодействие (*gaming*). Для него игры — это набор определенных правил, процесс игры — разыгрывание частной игры от начала и до конца, а игровое взаимодействие — взаимодействие лицом-к-лицу, направленное на поддержание ситуации, в которой протекает конкретная игра. Если в играх задействованы игроки (*gamers*), то в игровых взаимодействиях — участники (*participants*). И если перспектива протекания игры довольно прозрачна, так как правила и задачи заранее заданы, то протекание игрового взаимодействия имеет смутную перспективу, поскольку сопутствующие игре подтолкновения (*subordinated encounters*) могут иметь взаимно противоречивый характер и не быть до конца понятными для всех участников происходящего (Ibid.: 33). В каком-то смысле это означает, что игровое столкновение не исчерпывается самой игрой, но может распространяться и на сопутствующие активности, которые, в свою очередь, имеют не столь очевидные правила поддержания взаимодействия.

Игровое столкновение в гофмановском понимании подразумевает игры без выключения их из контекста происходящего. Так, он пишет о «мультифокусированных собраниях», в рамках которых осуществляется сразу несколько столкновений (Ibid.: 18). Подтолкновения поддерживаются скрытыми выражениями (*expressions*) и ограничениями, которые не позволяют одному из них стать официально доминирующим. Архитектура игровой активности усложняется потенциальными ответвлениями от основного когнитивного фокуса, связанного с игрой.

Тем не менее привнесение в аналитическую модель дополнительных неизвестных компонентов делает ее более гибкой и устойчивой для описания многогранных и запутанных форматов протекания игровой активности в современных условиях.

Применительно к термину «столкновение» Гофман предпочитает исключить коннотации случайных и аварийных встреч (Ibid.: 18). На наш взгляд, это не означает, что нужно отказаться от случайности в анализе игровых столкновений, скорее, Гофман не считает этот элемент случайности определяющим. В то же время элемент случайности⁷ остается очень важным для игровой активности в целом, о чем Гофман подробно пишет в монографии «Where the Action Is?» (Goffman, 1967).

Итак, резюмируем причины, по которым Гофман детально подходит к изучению игровых взаимодействий.

Во-первых, игровая активность (как и любое социальное взаимодействие) опирается на правила иррелевантности и механизмы исключения лишнего. Во многом это связано с тем, что играм присуща высокая степень вовлеченности участников, снимающая пренебрежительное отношение к игре, так как «серьезное» — это не просто «важные дела», но и все то, к чему участники взаимодействия подходят со всей строгостью. Таким образом, игровое взаимодействие предлагает консистентный фрагмент действительности для изучения, правила и границы которого открыто разделяются всеми участниками игры. Во-вторых, игра облегчает (подвергает временному забвению) некоторые внешние ограничения, которые могли бы препятствовать естественному ходу протекания взаимодействий. Игры усиливают ощущение эйфории, что, в свою очередь, снижает напряжение и способствует получению чистого удовольствия в процессе взаимодействия. В-третьих, во время игры люди совершают ответственные поступки в условиях неопределенности и неминуемой расплаты. В отличие от театра и ритуала, в играх аспект взаимодействия между участниками в большей степени раскрывается через понятие столкновения, что позволяет описывать происходящее не как слаженные действия одной команды по постановке спектакля, а как противопоставление сторон (двух и более команд), которое может носить как соревновательный, так и несоревновательный характер. Наконец, игра предлагает метафорическую и аналитическую модель для описания ситуаций, с помощью которой можно выделить отдельные элементы взаимодействия (идентичности, команды, последовательность ходов и зависимость от сложившихся обстоятельств) и связи между ними.

Развивая игровую концепцию: игра как чистое удовольствие

Для реконструкции аналитической модели описания игровых столкновений проследим логику аргументов теоретика, представленных в монографиях «Fun in Games» (Goffman, 1961) и «Where the Action Is?» (Goffman, 1967).

7. В значении «субъективная вероятность» (Goffman, 1967: 158), которая указывает на ту или иную степень непредсказуемости исхода для человека. Автор благодарен рецензенту за крайне важное различие «случайности» и «непредсказуемости».

Под игровым столкновением Гофман понимает все разнообразие взаимодействий по поводу поддержания игры, а также активности, сопутствующие процессу игры (Goffman, 1961: 33). Неотъемлемыми атрибутами игрового столкновения являются: непосредственное физическое присутствие участников столкновения, визуальный и когнитивный фокус друг на друга, открытость участников к коммуникации, релевантность чужих действий, высокий шанс отслеживать чужой мониторинг собственных действий (Ibid.: 17–18).

Единство ситуации обеспечивается с помощью поддержания официального фокуса взаимодействия (Ibid.: 10). В качестве примера Гофман приводит ситуацию, когда во время игры в бридж один из игроков отвлекается на телефонный звонок. В отличие от игры (бриджа), которая может прерваться и быть перенесена, игровое столкновение в рамках данной ситуации продолжается. Однако стороннее столкновение (*side-encounter*) в виде ответа на звонок во время игры ставит игровое столкновение под угрозу срыва. Затянувшийся разговор не только ставит игру на паузу, но может отвлечь остальных игроков и размыть единый когнитивный фокус столкновения. Поэтому при описании игровых столкновений важно различать процесс игры (*playing the game*), в котором участники опираются на прозрачные правила, и игровое взаимодействие (*gaming*), в котором наблюдается запутанный контекст столкновений. Никто из игроков в бридж не знает, можно ли отвлекаться на телефонные разговоры в процессе игры, если можно, то на сколько, в какой момент это переполнит чашу терпения остальных игроков и разрушит ситуацию игрового взаимодействия, перекавалифицируя ее, например, в ссору.

Помимо механизмов (правил иррелевантности), с помощью которых участники игрового столкновения отгораживают ситуацию от лишних атрибутов контекста, Гофман описывает правила, с помощью которых конструируются внутренние свойства самого столкновения. Весь доступный в рамках столкновения комплекс событий и ролей составляют так называемые осознанные ресурсы (*realized resources*) (Ibid.: 27). Благодаря этим ресурсам участники поддерживают не только «розыгрыш» столкновения, но и последующее за ним распределение выигрыша, причем внутренние правила работают, если они составляют полный и консистентный комплект событий и ролей.

Порядок протекания взаимодействия не возникает в момент самого столкновения. Возникновение события не означает его изобретения с чистого листа. Сама точка (фокус) столкновения не задает правила. В фокусе столкновения есть материал, делающий доступным для участников создание множества миров (Ibid.: 26). Что-то из свойств фокуса может игнорироваться, что-то, наоборот, привлекает особое внимание⁸.

По Гофману, игровые столкновения примечательны еще и тем, что игры доставляют удовольствие (*euphoria function*). «Игра ломается, когда в ней не оста-

8. Этот момент представляется наиболее важным, особенно при соотнесении подхода Гофмана и этнометодологии в рамках сопоставления понятий «ритуал взаимодействия» и «порядок взаимодействия». Ход этой дискуссии см.: Gallant, Kleinman, 1983; Rawls, 1985, 1987, 1989.

ся веселья» (Ibid.: 63). Раскрывая понятия «удовольствие», «веселье» и «эйфория», Гофман обращается к теоретическим ресурсам поведенческой психологии.

Размышляя о механизмах, которые порождают легкость (*easiness*) и напряжение (*tension*) в протекающих столкновениях, Гофман формулирует две гипотезы. Во-первых, он предполагает, что чем более естественная ситуация, тем больше эйфории испытывает участник (Ibid.: 38). Во-вторых, напряжение — это не обида из-за проигрыша или радость выигрыша, а разрыв между миром спонтанной вовлеченности и миром, в котором участник вынужден пребывать. Если миры сходятся и достигается естественность ситуации, напряжения нет и наблюдается легкость столкновения (Ibid.: 40).

Для преодоления дискомфорта участники столкновения могут обращаться к правилам трансформации (*transformation rules*), которые переопределяют атрибуты внешнего контекста в подходящие свойства ситуации. Одним из таких способов является механизм выбывание/сливания (*flooding out*). Если участник столкновения не справляется с поддержанием должного уровня (не)внимания к текущим атрибутам ситуации и испытывает смущение или тягу к смеху, то он выбывает из игры, так как рискует расстроить должное отношение к происходящему у других участников (Ibid.: 50).

Пытаясь умерить напряжение из-за рассогласованности правил, участники столкновения обращаются и к другому способу. Он заключается в том, чтобы отнестись к нарушителю ситуативных договоренностей не как к участнику, а как к отдельному фокусу внимания, делая из него объект насмешек и донимая выпадами, которые в результате выбьют его из игры (Ibid.: 52).

В процессе столкновения участники могут прибегать к еще одному приему — инсценировке/постановке (*byplay*) — который позволяет избежать нежелательного контакта с чужими глазами, поглядывая на участника, с которым ты находишься в более близких отношениях. Тем самым появляется шанс избежать исключения индивида из числа участников (Ibid.: 57). Пример такого командного сговора демонстрирует, как динамика взаимодействия постепенно складывается в более стабильную структуру, как особенности частных столкновений становятся неотъемлемыми атрибутами ситуации в целом. Так, когда все рабочие участвуют в более эксклюзивном столкновении, например, подслушивают разговор между двумя работниками, общая работа замедляется (Ibid.: 55). Эпизоды инклюзивного столкновения украдкой маркированы знаками, которые в то же время подчеркивают уважение к официальному (доминирующему) столкновению и поддерживают его порядок.

Почему Гофман подробно останавливается на механизмах разрешения напряжения в столкновениях? В первую очередь его интересуют способы снижения внешнего давления (*suppression*). Неспособность выстроить границу между столкновением и внешним контекстом, а также сформулировать правила, трансформирующие неудобные условия в подходящие атрибуты ситуации, ставит под угрозу протекание столкновения в целом. Если опрокинуть правила иррелевантности

или задать новую рамку оснований (*frame of reference*), то все столкновение может быть потеряно, а его фокус — размыт (Ibid.: 55).

Именно поэтому Гофман уделяет много внимания инцидентам, когда правила трансформации испытывают напряжение, а их изменение приводит к повышению (снижению) напряжения (Ibid.: 41). При этом важно различать правила трансформации и мембрану столкновения. В отличие от правил трансформации, мембрана пропускает через себя внешние атрибуты контекста, но при этом никак не обозначает осуществление выбора. То есть сама по себе мембрана не делает выбор, что трансформировать, а просто (не) пропускает те или иные элементы контекста (Ibid.: 59). Таким образом, игровое столкновение постоянно находится в условиях неопределенности, которые, в свою очередь, создают для игроков основания, когда они могут работать над свойствами взаимодействия, сохраняя мембрану пористой. Тем не менее Гофман допускает противоречивое определение мембраны, которое практически снимает разницу между ней и правилами трансформации. «Мембрана — набор правил трансформации, которые отсекают внешние атрибуты, придавая вес внутренним» (Ibid.: 71). Это лишний раз показывает тонкость различий между мембраной и трансформирующими правилами, которую тем не менее мы предлагаем сохранить.

Важность этого различия обосновывается дуальностью столкновений. Взаимодействие постоянно формируется с двух сторон. С одной стороны, организация столкновения расположена включать широкий мир, с другой — включенные в столкновения объекты и правила должны пребывать в подконтрольном виде. Участники столкновений готовы прислушиваться к правилам иррелевантности и трансформации, но когда по этим правилам сложно выразить(ся), становится невыносимо не замечать что-то из внешнего контекста (Ibid.: 69). Границы, в которых мы держим столкновение (а оно нас), — результат того, насколько мы готовы скрывать (терпеть) и находить (привносить) те или иные правила. Задача границы сводится к тому, чтобы оставаться подвижной и обеспечивать безопасность/непринужденность выражения участников. Устойчивость игрового взаимодействия определяется степенью предварительного проговаривания всех нюансов. Гибкость и устойчивость взаимодействий Гофман предпочитает называть «ковкостью» (*malleability*), которая зависит от выбора игры, сторон, ставок, преимуществ — всего того, что гарантирует должную маскировку лишних дисбалансов (Ibid.: 66).

Помимо механизмов организации любого рода столкновений, Гофман сосредоточен на специфике игровой активности. Игры примечательны в первую очередь сопутствующим весельем и удовольствием, которое возникает вслед за совместным вовлечением, физическим присутствием и выделением автономной реальности. И то, что игровую активность принято считать «несерьезной», является ее особенностью. Тем не менее Гофман полагает, что «проблема недостаточно/излишне серьезного отношения возникает не из-за игры самой по себе, а из-за разной степени вовлеченности в столкновение» (Ibid.: 63). Поэтому по отношению к играм гораздо ближе описание степени вовлеченности, а не серьезности.

В то же время категория «серьезное» подходит для описания игр, но в другом смысле, когда имеется в виду величина потери (проигрыша), которая последует в случае неверного поступка. Излишне серьезное отношение к игре создает угрозу для ее протекания. Так, «если ставка сильно высока по отношению к его доходу, игрок может воспринять игру чересчур серьезно» (Ibid.: 63). Игра может потерять свою консистентность не только из-за чрезмерного риска. Любой неловкий или небрежный нарушитель, его психотический или смешной жест, становится настоящим «гигантом, разрушителем миров, который может порвать тонкую ткань непосредственной игровой реальности» (Ibid.: 72).

Развивая игровую концепцию: игра как борьба характеров

В монографии «Where the Action Is?» Гофман достаточно подробно затрагивает вопросы принятия риска и ответственности в ходе азартных и роковых столкновений⁹. На наш взгляд, «action» в данном случае следует переводить не как «действие»¹⁰, а как «поступок», поскольку Гофмана прежде всего интересует борьба характеров (*character contest*) участников столкновения.

Применительно к социальным ситуациям Гофман вводит оппозиции (не)последовательная и (не)проблематичная. Важный элемент любого взаимодействия — это последовательность вознаграждения. Последовательность понимается как осуществление принципа «сколько поставил — столько получил или потерял» (Goffman, 1967: 159). В свою очередь, проблематичность понимается как невозможность участника столкновения влиять на его исход, так как он не обладает рычагами воздействия на ситуацию (Ibid.: 163).

9. Термин «столкновение» применительно к основному посылу этой монографии может вызывать нарекания. Действительно, Гофман выдвигает на передний план проблему оценки и принятия риска, которая может выражаться в индивидуальной игре со случаем, например, при попытке прибыть в аэропорт в последнюю минуту, снижая тем самым время ожидания, но и повышая вероятность опоздать на рейс (Goffman, 1967: 192). Термин «столкновение» получает большую проработку в эссе «Fun in Games», а также в других статьях сборника «Ритуал взаимодействия» («On Face-Work» и «Mental Symptoms and Public Order»). Тем не менее в заключительной главе «Борьба характеров» Гофман пишет: «Сами по себе ни роковые стечения обстоятельств (fateful duties), ни поступки не скажут много о том, какие взаимные предположения могут возникнуть при демонстрации характера (display of character), особенно в тех случаях, когда демонстрация затрагивает и заставляет с ней мириться кого-то еще. Мы также ничего не узнаем о границах понимания, которые мы устанавливаем, когда имеем дело с такими происшествиями. Поэтому нам следует обратиться к интересубъективным поступкам» (Ibid.: 239). Завершая свой обзор судьбоносных поступков, Гофман обращается к более узкой области, в которой происходит противодействие поступков разных людей, а исход столкновения зависит в том числе от интерпретации происходящего сторонами. Глава преисполнена примерами и понятиями, которые описывают различные проявления таких столкновений («skirmishes», «provocation», «gun-in», «shot-down», «incident», «chicken run»). Мы будем и дальше использовать термин «столкновение», осознанно сужая область рассмотрения до группового взаимодействия лицом-к-лицу, что соответствует логике аргументации Гофмана.

10. Такая версия наиболее распространена в русскоязычном переводе Д. А. Леонтьева, Н. Н. Богомоловой и Л. В. Трубицкой. Еще один вариант перевода там же — «акция» — на наш взгляд, менее удачный (Гофман, 2009: 179).

Обе оппозиции отсылают к четырем фазам игры: делание ставок, принятие усилий в ходе розыгрыша, раскрытие результатов розыгрыша и урегулирование вознаграждения¹¹ (Ibid.: 155). Сменяемость фаз подразумевает баланс между непредсказуемостью и детерминизмом, так как, с одной стороны, игроки взвешивают шансы, занимаются оценкой возможных исходов и ценности игры в целом (Ibid.: 149). С другой стороны, исход розыгрыша отчасти зависит и от приложенных усилий. Тем самым Гофман в очередной раз подчеркивает различие между игрой и процессом игры, только в этом случае он предпочитает противопоставить «play» (розыгрыш, который можно поставить на паузу) и «playing» (промежуток времени и предпринятые усилия между первой ставкой и конечным исходом всех розыгрышей).

Существенное отличие игры от рутины, по мнению Гофмана, заключается в том, что когда человек в обычной жизни делает ставки и прилагает усилия, то это растягивается надолго, а в играх результат обретается на одном дыхании (Ibid.: 156). То есть индивид может из года в год вкладывать усилия, уповая всякий раз на желаемый исход, но так и не дожидаясь его (или попросту забыть о терминальной цели). Поэтому в рутине нет места для поступков (*action*). Поступок появляется тогда, когда индивид осознанно берет на себя ответственность и решает вопрос о последовательности шансов в проблематичной и неопределенной ситуации (Ibid.: 194).

Если социальную ситуацию Гофман определяет как «среду взаимного мониторинга, общую территорию взаимного физического присутствия, которая делает возможным отслеживание чужих реакций» (Ibid.: 167), то проблематичность ситуации связана со степенью ее судьбоносности (*fatefulness*). Понятие судьбы Гофман раскрывает за счет возможных манипуляций со временем, доступных для индивида. Он предлагает различать два способа использования «свободного» времени: «хорошее» использование (*time on*) и «убийство» времени (*time off*)¹² (Ibid.: 161). Гофман задается хайдеггеровским вопросом: «Какова характеристика действия, которое совершается, чтобы убить время?» Когда убиваешь время, то можешь начать делать одно и переключиться на другое — это не имеет значения. «Убитые» моменты не компенсируются согласно затратам. И могут длиться несколько секунд, а иногда и годы (вечера после ужина, пенсия, ежегодные отпуска) (Ibid.: 162). Мнимый успех сменяется проигрышем и воспринимается как неизбежная рутина. Индивид перестает замечать согласованность своих действий и после-

11. В том же переводе на русский: «фаза приготовления», «фаза детерминации», «фаза обнаружения/раскрытия», «фаза завершения» (Гофман, 2009: 184–185).

12. Применительно к этому фрагменту невольно вспоминаются рассуждения Хайдеггера о сущности «скуки» в работе «Основные понятия метафизики». Гофман, вслед за Хайдеггером, приходит к схожим выводам касательно действия в процессе «коротания времени». Если для Хайдеггера «коротание времени» это недо-действия, которые исполняются постольку-поскольку и могут оборваться при первой же возможности, то для Гофмана «убийство времени» — это возможность говорить о проблематичности индивида хоть как-то повлиять на исход сложившегося столкновения. И в том и в другом случае индивид предоставлен ходу времени, которое неизбежно расставит все по своим местам.

дующих исходов. Человек, коротающий время, задействован в проблематичной деятельности, так как не в состоянии кардинально изменить ситуацию (например, заставить бежать время быстрее). Определение исхода через свои усилия не удастся, последовательность «усилия — исход» нарушается (Ibid.: 164). Потерянное время — проблематичное и непоследовательное, тогда как рабочее время — не-проблематичное и последовательное.

Таблица 1
Типы социальной активности с точки зрения
последовательности вознаграждения
и неопределенности исхода взаимодействия

	Последовательная		
Проблематичная		+	-
+		Роковая (в том числе игровая)	Коротание времени
-		Рабочее время	Рутинная

Свободное и рабочее (*well-managed*) время сами по себе не являются роковыми. В свою очередь, судьбоносная (*fateful*) активность — проблематичное и последовательное действие (Ibid.: 164). Именно на этом соотношении в действии — проблематичном и последовательном — Гофман предлагает сосредоточиться в деле описания игр и настоящих поступков. И игры, и поступки опираются на событийность столкновений. Событийность — неотъемлемое свойство социальных ситуаций, которое поддерживается управлением активным и потерянным временем, чтобы избежать высокой степени непредсказуемости последствий (Ibid.: 170). Гофмана интересуют в первую очередь меры, к которым обращаются (азартные) игроки (*gamblers*), чтобы снизить риск. Один из таких механизмов — ритуальные суеверия, пронизывающие любое взаимодействие (Ibid.: 178). Различного рода авантюры встречаются повсеместно, а для некоторых профессий (спортсмены, шахтеры, женщины легкого поведения) носят постоянный характер, напоминая выражение «джентльмены удачи».

В рамках последовательных и проблематичных столкновений непредсказуемость нельзя укротить полностью. Поэтому участникам таких столкновений приходится прибегать к оценке шансов и брать на себя серьезную ответственность за возможные последствия (Ibid.: 181). Таким образом, речь идет о драматическом риске. Чем больше доля непредсказуемости и выше ставка, тем более серьезным является поступок. Принятие шансов, ответственность — вот условия для обнаружения настоящего поступка (Ibid.: 261). Серьезные поступки возникают за пределами рутинной жизни, которая при стечении обстоятельств может быть переведена в область поступков (Ibid.: 204).

Игра по отношению к роковым столкновениям — это не только область их реализации (спорт, рулетка), но и принцип, обеспечивающий полную самоотдачу в

деле противостояния случаю. Гофман описывает это свойство через понятие «приверженность игре» (*gameness*), которое подразумевает вовлеченность и то, что независимо от усталости игрок выкладывается полностью. По мнению Гофмана, настоящий игрок — как боксер — имеет «сердце бойца», то есть не перестает настойчиво верить в собственную победу (Ibid.: 218).

Другое не менее важное свойство самоотверженной игры в условиях неопределенности ее исхода — включенность (*integrity*). Это свойство связано с противостоянием игрока искушению нарушить правила, хотя нарушение могло сулить выигрыш (Ibid.: 219). Важно, что когда игра запущена, она может быть осуществлена по нескольким вариантам, в том числе без ограничения на нулевую сумму. Переопределение игры во что-то иное, управление ее исходом и изменения, вносимые на последних фазах (раскрытие ставок и урегулирование вознаграждения), служат признаком сильного характера участников — способности справляться с риском, не теряя лица (Ibid.: 217). Борьба характеров — своего рода моральная игра, в которой обе стороны могут как разойтись с почетом, так и устроить трусливый побег. Каждый ход, как и исход столкновения, оказывается предметом для интерпретации сторон. Обе стороны могут оставаться уверенными в своей победе (Ibid.: 247–249). В этом утверждении Гофман пытается противопоставить свою точку зрения символическому интеракционизму. Вместо того чтобы указывать на рекурсивно развивающийся процесс интерпретации чужой интерпретации, он отмечает, что удерживать область символического от игры все тяжелее, по мере того как коммуникация и выражения становятся ее составной частью¹³. Ходы и результат все больше оформляются не согласно вложенным усилиям, а благодаря совместной работе сторон по их интерпретации (Ibid.: 252).

Таким образом, область поступков расширяется и покидает пределы азартных игр. Любое столкновение на улице (будь то «кто кому уступит дорогу» или «реакция на обидное замечание от прохожего») — это нерелективная моральная схватка, защита чести, гарантия, что никто не посягнет на твоё пространство (*away from the circle immediately around him*) (Ibid.: 249). Человек, попадая в такое столкновение, пытается следовать предписанным правилам (в том числе ситуативным особенностям), но иногда эта опция ограничена возможностью оставаться самим собой. Он попросту может оказаться «недостаточно силен» (Ibid.: 259).

Подобного рода игры часто начинаются с «провокации» — намеренного нарушения морального правила, которое запускает процессы оспаривания такого правила, восстановления чести и сатисфакции (Ibid.: 242). Нередко провокации носят осознанный и тщательно управляемый характер. В качестве примера Гофман приводит дуэль. По правилам обидчик имеет право выбора оружия, что является сильным преимуществом для грубияна. Поэтому задетая сторона стремится сама

13. Десятилетием ранее Ф. Г. Юнгер писал, что в играх бытие и значение неотделимы, поэтому символическое является в играх избыточным (Юнгер, 2012: 278). В каком-то смысле позиция Гофмана относительно социальных игр делает неизбежным символическое восприятие ходов и результатов игры.

задеть виновника резким выпадом или осознанной грубостью (например, обвинением во лжи), что позволит ей, в свою очередь, стать обидчиком и выбрать оружие отмщения.

Конечно, это радикальные случаи. Чаще стороны прибегают к мягким способам урегулирования битвы характеров, когда оговариваются стартовые преимущества¹⁴ и ситуация взаимодействия становится более устойчивой к внешним провокациям. При этом важно различать ситуации, когда обе стороны столкновения осведомлены о противостоянии, а когда нет. Гофман описывает это различие через «схватку» (*run-in*) и «инцидент» (*incident*). В случае схватки возникает ситуация взаимной моральной битвы, дуэль, где можно выдвинуть собственную аргументацию наступления и защиты. Инцидент носит больше случайный характер и, возможно, касается только одной из сторон (Ibid.: 244).

Гофман делает неутешительный вывод по поводу современных условий, в которых протекают игровые столкновения. Столкновения характеров все чаще осуществляются посредством замещающего контакта (*vicarious contact*), когда вместо самого участника действуют другие (Ibid.: 266). Моральный словарь беднеет. «Вместо принятия вызова, — пишет Гофман, — мы предпочитаем ковбоев и гонщиков, потому что они воплощают наши виртуальные потребности, которые все еще преследуют нас. Куда же мы отправляемся, чтобы увидеть настоящие поступки? Туда, где растет шанс на управление случаем. Но не нами, а кем-то другим. Наблюдение за тем, как раз за разом смельчаки укрощают случай, доставляет нам замещающее удовольствие».

Рецепция игровой концепции Гофмана

Фронт рецепции идей Гофмана довольно широк, поэтому мы лишь обозначим основные точки сопряжения между его игровой концепцией и работами, которые выполнены в рамках символического интеракционизма, этнометодологии и теории игр.

В рамках символического интеракционизма часть исследователей, в том числе Р. Перинбанаягам и Д. МакКарти, предлагают вернуться к Миду и его понятию «коммуникация». С их точки зрения, Мид был против механистического объяснения, будто все совершают экспрессивные действия и жесты лишь потому, что они подходят для ситуации. То, что происходит при встрече взглядов, гораздо сложнее. Игра в таком случае оказывается стратегией вовлечения и реакции на других, когда участники «игры в общение» создают значимые символы (Perinbanayagam, 2005: 345). Это подразумевает использование заранее подготовленных (*mastered*) языковых инструментов, направленных на изменение чужих установок и эмоций (Perinbanayagam, McCarthy, 2012: 192). Заслуга Гофмана, считают авторы, заключа-

14. Примечательно, что здесь Гофман ссылается на свою предыдущую монографию «Fun in Games», где он больше описывает поддерживающие и сглаживающие механизмы определения ситуации, тогда как в тексте 1967 г. задается темой конфликта и противостояния сторон в условиях неопределенности.

ется в том, что ему удалось отойти от вопроса, «как найти общий язык», в пользу вопроса, «что требуется, чтобы тактично не реагировать на проявления чужой речи». Коммуникация трансформируется в то, что Д. Хаймс назвал «коммуникативной компетенцией» (Ibid.: 193), и реализуется благодаря отчуждающим практикам, к которым обращаются люди для поддержания порядка взаимодействия при встрече с другими. Игра мыслится как социальная форма для обретения смысла происходящего и самих себя.

Б. Джерретт также отмечает вклад Гофмана в изучение «отчужденности от взаимодействия». Однако он предлагает рассматривать игру лишь как одну из трех метафор, наравне с театром и ритуалом, которая способна наполнить общую рамку (фрейм) происходящего конкретными механизмами протекания и трансформации взаимодействий (Jarrett, 2012: 396). Практическим полем для реализации перехода с помощью одного из трех механизмов выступает медиация, которая наследует две игровые черты: во-первых, она направлена на снижение напряжения и повышение эйфории, а во-вторых, стремится к оптимизации выигрышей и проигрышей сторон.

Другие исследователи восприняли от Гофмана фокус исследования, а именно изучение жестко очерченных столкновений. В частности, в работе К. Уэст¹⁵ рассмотрена ситуация «визит к врачу». Элементами анализа являются столкновения врача и пациента и практика перебивания во время разговора (West, 1984). К. Феррис описывает не постановочные столкновения (*unstaged encounter*) знаменитостей и фанатов, в которых одна сторона не получает моментального отклика на свое присутствие, что создает феномен «интимных незнакомцев» (Ferris, 2001). С. Скотт изучает модели эмоционального переживания столкновения со случайными прохожими и близкими людьми, которые варьируются по степени эмоциональной интенсивности: незнакомцы, команды и зрители, участники команды, интимные партнеры и индивидуальное сознание (Scott, 2012). Дж. Мартин предлагает изучать рабочие конвенции, на которые опираются участники игры *Second Life* при создании «сексуальной работы». Поднимая вопрос о том, как агентность перепоручается технологиям и какими средствами (текстуальными, аудиальными, визуальными) опосредуется столкновение между эскортами и клиентами, он стремится выяснить, каким образом стороны понимают, что случилось успешное сексуальное столкновение (Martin, 2014).

Во многих исследованиях допускается смешение игровой и театральной метафоры. Авторы исследований, посвященных победным шествиям (Snow, Zurcher, Peters, 1981), военным учениям (Zurcher, 1985), игре в шахматы (Puddephatt, 2003), отмечают, что игры, в которых выражаются и поддерживаются эмоции, неразрывно связаны с драмой. Соглашаясь с Г. Файном, Л. Зеркэр пишет, что «драматургический анализ является частью символического интеракционизма и может

15. Гофман даже успел дать комментарий на драфт этой статьи, за что упомянут в благодарственном слове.

послужить проводником между макро- и микроподходами к социальному миру» (Zurcher, 1985: 192).

Для представителей символического интеракционизма представляет интерес выделение Гофманом очерченных ситуаций столкновений, практик отчуждения от взаимодействия и экспрессивной игры, которая неминуемо возвращает к драматургическому подходу, столь близкому изначальному мидовскому пониманию коммуникации. Для самого Гофмана драматургический подход больше носил метафорический характер, позволяющий обратить внимание на тот аспект взаимодействий, которым раньше долго пренебрегали (*neglected situations*). Получив кредит доверия для изучения ситуативных столкновений, Гофман впоследствии пытается сделать шаг в сторону возобновляемых и стабильных структур.

По мнению Р. Смита, другие направления критики затрагивали тот факт, что теория Гофмана не рассматривает связи между социальными акторами и структурами. В результате некоторые находки Гофмана воспринимаются как составная часть понятия «производство конститутивного порядка» Э. Роулз, а из-за отсутствия подробно раскрытых эмпирических примеров работы Гофмана иногда классифицируются как упрощенный вариант этнометодологии (Smith, 2011). У Шэррок отмечает, что, в отличие от этнометодологов, Гофмана в первую очередь интересовал именно порядок взаимодействия, а не социальный порядок, который включал в себя сразу несколько подпорядков (Sharrock, 1999). В данном аспекте прослеживается влияние на творчество Гофмана Дюркгейма. Для Гофмана порядок взаимодействия позволяет раскрыть связь между определением конкретной ситуации и внешними условиями, благодаря которым та стала возможной. Роли у Гофмана понимаются не как предписания, спущенные сверху структурой и социальным положением, а как продуманные исполнения, ограниченные ситуативными свойствами и правилами взаимодействия. Роулз пересобирает понятие порядка взаимодействия, включая в него больше практический смысл (жесты, речевые акты), тем самым сближая подход Гофмана с взглядами Гарфинкеля, Сакса и Щеглоффа (Rawls, 1987).

Для Д. Мэйнарда тот же аспект, наоборот, служит в качестве границы между Гофманом и Гарфинкелем. Гофман исходит из того, что порядок взаимодействия — это «система разыгрываемых конвенций в смысле правил игры, разметки движения или синтаксиса языка» (Goffman, 1983: 5). Мэйнард обращает внимание на темпоральный аспект отношений. По его мнению, человеческие отношения развиваются, а не предписываются. В отличие от игр, в реальной жизни нет таймаутов ни для отдыха, ни для обдумывания альтернативных стратегий (Maunard, 1991: 279). Люди обладают практической рациональностью, которая подсказывает, что всякий раз они вынуждены на ощупь, шаг за шагом, сверять свое понимание происходящего с обстоятельствами. Именно за этой практической рациональностью скрывается правильное понимание стратегического действия, которое постепенно реализует героя из знаменитой главы «Агнес» (Garfinkel, 1967).

Если посмотреть на проблему стратегического действия со стороны представителей теории игр, то Гофман и Гарфинкель повинны в том, что микросоциология осознанно дистанцировалась от теории игр (Vollmer, 2013: 371), признав за ней лишь избыточную калькуляцию, которую требуется изолировать от игровой перспективы изучения человеческих отношений (Goffman, 1969: 85). По мнению Х. Воллмера, исследователя в области социологии калькулирующих практик, описывая повседневное взаимодействие, микросоциологи склонны отыскивать игровые аналогии, а не применять для анализа теорию игр. Воллмер предлагает вернуться к более детальному рассмотрению работы Т. Шеллинга «Стратегия конфликта» (1980 [1960]), чтобы уточнить понятие «координированное действие», основанное на обмене сигналами между участниками для достижения базового равновесия. Сближая микросоциологический подход и теорию игр, Воллмер демонстрирует, что некоторые понятия Гофмана имеют теоретические эквиваленты в работе Шеллинга¹⁶ («тактичная поддержка» — «эффективная координация»), а участникам не свойственно проговаривать правила. Напротив, они пытаются опираться на «принцип подтверждения» и постепенно прийти к общему вектору наилучшего решения с точки зрения вознаграждения (Vollmer, 2013: 383).

Свой среди чужих, чужой среди своих

Гофмановский проект игровой концепции повседневности включает в себя развернутую аналитическую модель для изучения ситуативных взаимодействий, которая представлена в нескольких работах. Из нее следует, что игра является скорее принципом, обеспечивающим полную самоотдачу участников в происходящее. Ситуативный порядок описывается с помощью мультифокусированных собраний, содержащих как доминирующие столкновения, так и подстолкновения, часть из которых может носить сторонний характер по отношению к основному когнитивно-визуальному фокусу, выраженному в игровой активности. Для активности, похожей на игру или сопутствующей игре, свойственно снятие напряжения между ситуативным порядком и внешним контекстом, достигаемое за счет различных приемов (постановки, выбывания, жертвы) по управлению общим фокусом внимания. В то же время игровое взаимодействие протекает в условиях неопределенности последствий (проблематичности) и сопровождается реакцией в краткосрочной перспективе (последовательностью). Это означает, что участники игровых столкновений пребывают в крайне сжатой темпоральности, когда между фазой оценки риска и вступления в игру, а также фазой раскрытия результатов и распределения вознаграждений мало времени.

Возникает еще один важный вопрос: в чем заключаются аналитические возможности, которые дает для описания повседневных взаимодействий игровая метафора, но упускает драматургическая?

16. Влияние Шеллинга неудивительно, Гофману довелось немало с ним общаться в период работы в Гарварде.

На наш взгляд, используя драматургическую метафору, Гофману удается раскрыть процесс производства видимости (или впечатлений), но при этом он вынужден обходить стороной проблему принятия решений и усилий, которые могут даваться участникам взаимодействия нелегко, порой даже в условиях конфронтации с другими. Драматургическая метафора не позволяет объяснить, почему стороны вступают во взаимодействие, почему оно их затягивает, порождая феномен спонтанной вовлеченности. Она также оказывается бесполезной, когда мы пытаемся свести все происходящее к заранее ограниченным партиям (рутинам)¹⁷ или, наоборот, найти объяснения для неожиданно возникшей линии поведения. В свою очередь, мир игровых взаимодействий не продуман заранее и не принадлежит фантазии¹⁸, в которой содержатся полноценно разработанные идентичности (*full-fledged identities*), а включает в себя всю матрицу потенциальных событий, доступных для участников в окружающей обстановке взаимодействия (Goffman, 1961: 26). Грубо говоря, в то время как театр подразумевает слаженную работу исполнителей и зрителей, игра начинается для новичка с вопроса: «А что надо делать [чтобы в это играть]?» — захватывая его в процесс с головой и бесповоротно. Игра опирается на простор неопределенности, из которой участники пытаются «выжать по максимуму».

Игры как теоретический ресурс стали для Гофмана промежуточным звеном между картинами социального мира, где социальные требования конкретного исполнения партии распределены по разным зонам общения (*region behavior*)¹⁹ или где происходящее обретает смысл лишь в соотношении с внешним фреймом взаимодействия. Неслучайно, говоря о правилах иррелевантности, по которым игры внутри себя определяют, что может считаться осмысленным, Гофман вспоминает Бейтсона и его понятие фрейма (Goffman, 1961: 20). Игра сама по себе выделяет очерченный ситуативный порядок и тем самым позволяет снять напряжение, продиктованное несоответствием происходящего внешнему контексту. При этом нельзя сказать, что игровая концепция чем-то уступает последующему фрейм-анализу с точки зрения объяснения того, что здесь происходит. Просто это объяснение носит не структурный характер, а опирается на эмерджентные свойства игровой активности, которая предлагает участникам диапазон событий и ролей. И

17. Неслучайно в «Представлении себя другим...» Гофман обращается к теории игр фон Неймана и Моргенштерна именно там, где затрагивается тема рутины. Сначала, когда он дает определение: рутин (партия) — «предустановленный образец действия, который раскрывается в ходе какого-нибудь исполнения и который может быть исполнен или сыгран и в других случаях» (Гофман, 2000: 48), а затем, когда пишет о командах как «множестве индивидов, сотрудничающих в жизненной постановке какой-либо отдельно взятой рутинной партии» (Гофман, 2000: 115). В обоих случаях теория игр различает рутину и специально разыгранную стратегию, больше характерную для абстрактных сторон, чем для индивидуальных игроков.

18. Хотя именно этот аспект послужил основой для книги «Разделяемая фантазия...» яркого представителя символического интеракционизма Гэри Файна (Fine, 1983).

19. В главе «Зоны и зональное поведение» Гофман описывает, что на кухне метрдотель позволяет себе грубые выражения и колкости по отношению к провинившемуся официанту, а минув двери добродушно улыбается посетителям (Гофман, 2000: 159).

если хрупкость театральной видимости зависит от качества исполнения, то хрупкость игры — от того, что она больше никому не интересна.

Если в рамках театральной метафоры исполнители сохраняют видимость происходящего на постоянных и долгосрочных условиях, то участники игровой активности, напротив, одновременно напрягают все силы, чтобы как можно скорее достичь желаемого. Если театральная повседневность обладает протяженной темпоральностью, то в игровой повседневности — это время разрывов и интервалов, где всякий раз розыгрыш начинается как будто заново, вселяя надежду на успех. Тем самым рутинный процесс прерывается розыгрышами, в которых для каждого наступает «время действовать».

Один из аспектов внутренних противоречий игровой концепции Гофмана, затрудняющий ее последующее принятие другими авторами, связан с возможностью переключать модель описания на повседневные взаимодействия. По одной из версий, игровые столкновения носят универсальный характер, так как любое социальное взаимодействие направлено на поддержание вовлеченности участников в происходящее и снижение дисфории (Goffman, 1961). С другой стороны, Гофман пытается противопоставить повседневную рутину и судьбоносные решения, когда для всех участников игровых столкновений наступает «момент истины» (Goffman, 1967). Гофман стремится сохранить грань между тем, чему положено быть, и тем, что находится в ведении самих участников игры, противопоставляя роковую зависимость от предыдущих ходов символической интерпретации каждого действия и исхода взаимодействия.

Гофман определяет понятие коммуникации — ключевого для представителей символического интеракционизма — как обмен ходами и осознанно отделяет его от взаимодействия (зависимости происходящего от предыдущих ходов) (Goffman, 1961: 32). Таким образом, он соблюдает дистанцию между играми и их символическим наполнением, которое выражается в речевых приемах и экспрессивном менеджменте и в меньшей степени связано с ответственностью в условиях неопределенности. Игры нельзя разыграть «на словах», определив исход взаимодействия простой словесной бравадой. Игры требуют ответственных поступков.

Различие между подходом Гофмана и этнометодологами заключается в том, что Гофман по-своему пытается сохранить дуальность ситуативного порядка, которая поддерживается внутренними и внешними силами. И если одни исследователи, в том числе Э. Роулз, видят в этом основания для сближения Гофмана и этнометодологии, то другие, например Д. Мэйнард, усматривают в этом недостаточное понимание практической рациональности, присущее гофмановскому подходу. Аргумент Мэйнарда состоит в том, что развертывание действия при отсутствии предварительно сложившихся правил взаимодействия в большей степени соответствует повседневности, чем «игра по правилам» Гофмана.

Проблема расчета стратегии отдалила Гофмана от теории игр. Он изначально стремился ограничить область применения строгой калькуляции в человеческих отношениях, обращая внимание на неподвластные людям внешние обстоятель-

ства. Лишь немногие исследователи пытаются показать, что трактовка «координированного действия» Шеллинга очень похожа на тактичную выработку общего понимания ситуации среди участников, которая представлена в трудах Гофмана. В результате тот факт, что Гофман не отдавал предпочтения ни одному из полюсов, привел к существенной критике и отторжению его идей в рамках игровой концепции.

Признание зависимости линии поведения участников от предпринятых ранее ходов отдала его от символического интеракционизма, проблема ситуативного порядка — от этнометодологии, а возможность стратегического планирования действий — от теории игр. Выбор в пользу любой из этих областей позволил бы Гофману однозначно примкнуть к одной из школ и порвать с остальными, но тогда он не сохранил бы оригинальность своего подхода.

Благодарность

Автор выражает благодарность рецензентам, замечания которых помогли уточнить место выделенных идей применительно к более широкому контексту работ И. Гофмана.

Литература

- Вахштайн В. С.* (2007). Памяти Ирвинга Гофмана // Социологическое обозрение. Т. 6. № 2. С. 65–78.
- Вежлян Е.* (2016). Литературный вечер как фрейм, или К вопросу о социологической реконцептуализации форм литературного быта. URL: <http://gefeter.ru/archive/18774> (дата доступа: 05.06.2016).
- Гофман И.* (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Гофман Э.* (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. С. С. Степанова и Л. В. Трубицыной под ред. Н. Н. Богомоловой и Д. А. Леонтьева. М.: Смысл.
- Кайуа Р.* (2007). Игры и люди: статьи и эссе по социологии культуры / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ.
- Сироткина И.* (2016). Искусство перформанса в свете социальной теории Ирвинга Гофмана. URL: <http://gefeter.ru/archive/18774> (дата доступа: 05.06.2016).
- Шмелева Е.* (2016). Городское «множество» и эстетика перформативности: новые формы публичной культуры // Философский журнал. Т. 2. С. 123–136.
- Эдмондс Д., Айдиноу Дж.* (2004). Кочерга Витгенштейна: История десятиминутного спора между двумя великими философами / Пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое литературное обозрение.
- Юнгер Ф. Г.* (2012). Игры: ключ к их значению / Пер. с нем. А. В. Перцева. СПб.: Владимир Даль.

- Becker H. (2007). Remembering Goffman. Available at: <http://cdclv.unlv.edu/archives/interactionism/goffman/becker.html> (accessed 01.03.2016).
- Ferris K. O. (2001). Through a Glass, Darkly: The Dynamics of Fan–Celebrity Encounters // *Symbolic Interaction*. Vol. 24. № 1. P. 25–47.
- Fine G. A. (1983). *Shared Fantasy: Role Playing Games as Social Worlds*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gallant M. J., Kleinman S. (1983). Symbolic Interactionism vs. Ethnomethodology // *Symbolic Interaction*. Vol. 6. № 1. P. 1–18.
- Garfinkel H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goffman E. (1961). *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction*. Ringwood: Penguin University Books.
- Goffman E. (1967). *Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior*. New York: Pantheon Books.
- Goffman E. (1969). *Strategic Interaction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Goffman E. (1983). The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address // *American Sociological Review*. Vol. 48. № 1. P. 1–17.
- Jarrett B. (2012). Making Mediation Work: A Sociological View of Human Interaction // *Studies in Symbolic Interaction*. Vol. 40. P. 1–26.
- Martin J. A. (2014). (Re)embodiment of the Digital Self and First Life Body in a New Social Media Environment: Paid Sex Work in Second Life // *Studies in Symbolic Interaction*. Vol. 43. P. 143–171.
- Maynard D. (1991). Goffman, Garfinkel, and Games // *Sociological Theory*. Vol. 9. № 2. P. 277–279.
- Mead G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Perinbanayagam R. S. (2005). The Other in the Game: Mead and Wittgenstein on Interaction // *Studies in Symbolic Interaction 2005*. Vol. 28. P. 341–353.
- Perinbanayagam R. S., McCarthy E. D. (2012). Interactions and the Drama of Engagement // *Studies in Symbolic Interaction*. Vol. 39. P. 191–224.
- Puddephatt A. J. (2003). Chess Playing as Strategic Activity // *Symbolic Interaction*. Vol. 26. P. 263–284.
- Rawls A. W. (1985). Reply to Gallant and Kleinman on Symbolic Interactionism vs. Ethnomethodology // *Symbolic Interaction*. Vol. 8. № 1. P. 121–140.
- Rawls A. W. (1987). The Interaction Order Sui Generis: Goffman's Contribution to Social Theory // *Sociological Theory*. Vol. 5. № 2. P. 136–149.
- Rawls A. W. (1989). Interaction order or Interaction Ritual: Comment on Collins // *Symbolic Interaction*. Vol. 12. № 1. P. 103–109.
- Richardson I. (2010). Ludic Mobilities: The Corporealities of Mobile Gaming // *Mobilities*. T. 5. № 4. P. 431–447.
- Scott M. B. (1968). *The Racing Game*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Scott S. (2012). Intimate Deception in Everyday Life // *Studies in Symbolic Interaction*. Vol. 39. P. 251–279.

- Sharrock W.* (1999). The Omnipotence of the Actor // *Smith G.* (ed.). *Goffman and Social Organisation: Studies in a Sociological Legacy*. London: Routledge. P. 119–137.
- Schelling T. C.* (1980 [1960]). *The Strategy of Conflict*. Cambridge: Harvard University Press.
- Smith R. J.* (2011). Goffman's Interaction Order at the Margins: Stigma, Role, and Normalization in the Outreach Encounter // *Symbolic Interaction*. Vol. 34. № 3. P. 357–376.
- Snow D. A., Zurcher L. A., Peters R.* (1981). Victory Celebrations as Theater: A Dramaturgical Approach to Crowd Behavior // *Symbolic Interaction*. Vol. 4. № 1. P. 21–42.
- Vollmer H.* (2013). What Kind of Game Is Everyday Interaction? // *Rationality and Society*. Vol. 25. № 3. P. 370–404.
- West C.* (1984). When the Doctor Is a «Lady»: Power, Status and Gender in Physician–Patient Encounters // *Symbolic Interaction*. Vol. 7. № 1. P. 87–106.
- Zurcher L. A.* (1985). The War Game: Organizational Scripting and the Expression of Emotion // *Symbolic Interaction*. Vol. 8. № 2. P. 191–206.

Erving Goffman's Gaming Concept of Everyday Life: Between Symbolic Interactionism and Ethnomethodology

Konstantin Glazkov

MA in Urban Studies and Planning, Postgraduate Student, Department of Sociology,
National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: glk@gorod.org.ru

The dramaturgical metaphor is inseparably linked with Erving Goffman's research optics. However, since the early 1960s, Goffman has distanced himself from the dramaturgical approach, and searched for a new source for theorizing. For Goffman, games became one of such sources. Despite the wide arsenal of analytical concepts and research experience formed during this period, Goffman is not perceived as a game theoretician, and his approach to the study of everyday life through the gaming metaphor has not found popularity among researchers of gamification practices. The article aims to reveal the theoretical potential of Erving Goffman's gaming encounter by briefly marking the main collisions of his approach with adjacent areas, although mostly with symbolic interactionism and ethnomethodology. We conclude that, unlike symbolic interactionism, the gaming concept tends to limit the extent of penetration of the symbolic content of interactions; a sequence of moves and results of an encounter only makes sense because of the recursive interpretation of the participants. In contrast, Goffman points out that the outcome of the gaming encounter depends on the previous sequence of moves and the situationally-available set of events. Ethnomethodologists note that everyday life is not interrupted during breaks and is not played by the rules, like games. According to Goffman, the gaming interaction eventually has an interrupted temporality, which, however, does not imply strategic timeouts. In turn, the existing gap with game theory is explained by the fact that Goffman deliberately excludes the strict calculation of everyday life interactions, leaving a significant role for the indeterminate. Despite the fact that Goffman's concept is both close to one

and then to another approach for the same reasons and causes many authors to try to find the similarities between them, it retains the original analytical advantages.

Keywords: gaming metaphor, gaming encounter, spontaneous involvement, euphoria function, dramaturgical approach, symbolic interactionism, ethnomethodology

References

- Becker H. (2007) *Remembering Goffman*. Available at: <http://cdclv.unlv.edu/archives/interactionism/goffman/becker.html> (accessed 1 March 2016).
- Caillois R. (2007) *Igry i ljudi: stat'i i jesse po sociologii kul'tury* [Games and Human Beings: Papers and Essays on the Sociology of Culture], Moscow: OGI.
- Edmonds D., Eidinow J. (2004) *Kocherga Vitgenshtejna: Istorija desjatiminutnogo spora mezhdu dvumja velikimi filosofami* [Wittgenstein's Poker: The Story of a Ten-Minute Argument Between Two Great Philosophers], Moscow: New Literary Observer.
- Ferris K. O. (2001) Through a Glass, Darkly: The Dynamics of Fan–Celebrity Encounters. *Symbolic Interaction*, vol. 24, no 1, pp. 25–47.
- Fine G. A. (1983) *Shared Fantasy: Role Playing Games as Social Worlds*, Chicago: University of Chicago Press.
- Gallant M. J., Kleinman S. (1983) Symbolic Interactionism vs. Ethnomethodology. *Symbolic Interaction*, vol. 6, no 1, pp. 1–18.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Goffman E. (1961) *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction*, Ringwood: Penguin University Books.
- Goffman E. (1967) *Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior*, New York: Pantheon Books.
- Goffman E. (1969) *Strategic Interaction*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Goffman E. (1983) The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address. *American Sociological Review*, vol. 48, no 1, pp. 1–17.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo pole.
- Goffman E. (2009) *Ritual vzaimodejstvija: ocherki povedenija licom k licu* [Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior], Moscow: Smysl.
- Jarrett B. (2012) Making Mediation Work: A Sociological View of Human Interaction. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 40, pp. 1–26.
- Jünger F. G. (2012) *Igry: kljuch k ih znacheniju* [Games: The Key to Their Understanding], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Martin J. A. (2014) (Re)embodiment of the Digital Self and First Life Body in a New Social Media Environment: Paid Sex Work in Second Life. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 43, pp. 143–171.
- Maynard D. (1991) Goffman, Garfinkel, and Games. *Sociological Theory*, vol. 9, no 2, pp. 277–279.
- Mead G. H. (1934) *Mind, Self, and Society*, Chicago: University of Chicago Press.
- Perinbanayagam R.S. (2005) The Other in the game: Mead and Wittgenstein on interaction. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 28, pp. 341–353.
- Perinbanayagam R.S., McCarthy E.D. (2012) Interactions and the Drama of Engagement. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 39, pp. 191–224.
- Puddephatt A. J. (2003) Chess Playing as Strategic Activity. *Symbolic Interaction*, vol. 26, pp. 263–284.
- Rawls A. W. (1985) Reply to Gallant and Kleinman on Symbolic Interactionism vs. Ethnomethodology. *Symbolic Interaction*, vol. 8, no 1, pp. 121–140.
- Rawls A. W. (1987) The Interaction Order Sui Generis: Goffman's Contribution to Social Theory. *Sociological Theory*, vol. 5, no 2, pp. 136–149.
- Rawls A. W. (1989) Interaction Order or Interaction Ritual: Comment on Collins. *Symbolic Interaction*, vol. 12, no 1, pp. 103–109.
- Richardson I. (2010) Ludic Mobilities: The Corporealities of Mobile Gaming. *Mobilities*, vol. 5, no 4, pp. 431–447.
- Scott M. B. (1968) *The Racing Game*, New Brunswick: Transaction Publishers.

- Shmeleva E. (2016) Gorodskoe "mnozhestvo" i jestetika performativnosti: novye formy publichnoj kul'tury [Urban "Multitude" and Aesthetics of Performativity: New Forms of Public Life]. *Journal of Philosophy*, vol. 2, pp. 123–136.
- Sirotkina I. (2016) *Iskusstvo performansy v svete social'noj teorii Irvinga Gofmana* [Performance art in light of the social theory of Erving Goffman]. Available at: <http://gefter.ru/archive/18774> (accessed 5 June 2016).
- Scott S. (2012) Intimate Deception in Everyday Life. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 39, pp. 251–279.
- Sharrock W. (1999) The Omnipotence of the Actor. *Goffman and Social Organization: Studies in a Sociological Legacy* (ed. G. Smith), London: Routledge, pp. 119–137.
- Schelling T. C. (1980 [1960]) *The Strategy of Conflict*, Cambridge: Harvard University Press.
- Smith R. J. (2011) Goffman's Interaction Order at the Margins: Stigma, Role, and Normalization in the Outreach Encounter. *Symbolic Interaction*, vol. 34, no 3, pp. 357–376.
- Snow D. A., Zurcher L. A., Peters R. (1981) Victory Celebrations as Theater: A Dramaturgical Approach to Crowd Behavior. *Symbolic Interaction*, vol. 4, no 1, pp. 21–42.
- Vakhshstein V. (2007) Pamjati Irvinga Gofmana [Remembering Erving Goffman]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 2, pp. 65–78.
- Vezhlian E. (2016) Literaturnyj vecher kak frejm, ili K voprosu o sociologicheskoy rekonceptualizacii form literaturnogo byta [Literary Evening as a Frame; or, Toward the Question of the Sociological Conceptualization of the Forms of Literary Life]. Available at: <http://gefter.ru/archive/18774> (accessed 5 June 2016).
- Vollmer H. (2013) What Kind of Game Is Everyday Interaction? *Rationality and Society*, vol. 25, no 3, pp. 370–404.
- West C. (1984) When the Doctor Is a "Lady": Power, Status and Gender in Physician–Patient Encounters. *Symbolic Interaction*, vol. 7, no 1, pp. 87–106.
- Zurcher L. A. (1985) The War Game: Organizational Scripting and the Expression of Emotion. *Symbolic Interaction*, vol. 8, no 2, pp. 191–206.

Прощение как опыт возможного: подходы Х. Арендт и П. Рикёра

Мария Сидорова

Аспирант школы философии факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: msi.8883@gmail.com

Тема прощения объединяет различные философские интересы Х. Арендт и П. Рикёра. Оба мыслителя анализируют данный феномен в контексте авраамо-христианской традиции прощения, задаются вопросом о возможности прощения как явления совместной жизни. В статье обосновываются причины обращения Рикёра к концепции прощения Арендт. Выдвинута идея о том, что именно переосмысление понятия натальности Арендт лежит в основе утверждения Рикёром концепта «прощения для нас». Автор рассматривает как преемственность, так и разногласие подходов Рикёра и Арендт к проблеме прощения. Если Арендт осмысляет прощение в терминах поступка, то Рикёр анализирует его с позиции вопроса о самости. В теории Арендт прощение оказывается не типичным действием, а событием, разрывающим каузальную структуру совместности, неким исключением из публичного пространства, но необходимым для его существования. Рикёр же анализирует прощение как константу совместного бытия, как трудный акт, но постоянно возможный «инкогнито». Несмотря на подобные разногласия, понятие натальности Арендт становится для Рикёра решающей категорией при обосновании константы прощения. Вводя условие отделения агента от акта, он рассматривает натальность в качестве причины возможного обновления самости виновного. В статье высказана гипотеза, что именно обращение к Арендт помогает Рикёру сформулировать собственную концепцию «возможного» прощения, основанную на пересмотре принципов авраамической традиции и их рецепции в философии Деррида, и что благодаря отсылкам к теории Арендт в философии Рикёра место прощения как «опыта невозможного» занимает трудное, но возможное «инкогнито» прощения.

Ключевые слова: прощение, действие, память, забвение, плюральность, натальность, Поль Рикёр, Ханна Арендт

Поль Рикёр и Ханна Арендт принадлежат к разным направлениям философской мысли XX столетия. Имя Рикёра является знаковым для герменевтики и феноменологии, имя Арендт — для политической философии. Мыслители по-разному рассматривают одни и те же вопросы, в том числе и важный для современной философии вопрос о *прощении*.

Рикёр пишет о прощении в связи с проблемой дара. Несмотря на то, что сильное влияние на него оказали работы М. Мосса, Ж. Деррида, В. Янкелевича, а полемика с Деррида вообще послужила непосредственным поводом, приведшим

к выработке собственного подхода, все-таки ключевое значение, на наш взгляд, имеет для него переосмысление концепции прощения Арендт. Именно ее теория действия во многом определяет наиболее важный для Рикёра ракурс анализа феномена прощения: вопрос о «прощении для нас», т. е. утверждение возможности прощения в совместном бытии.

Постановка проблемы прощения в философии П. Рикёра

Обращение философов XX столетия к проблеме прощения предполагает переосмотр ее традиционного религиозного основания. Божественное прощение, отпущение греха уходят на задний план, на передний же выступает этика дара и обмена. Прощение рассматривается по аналогии с даром: акт освобождения виновного от бремени вины подобен дарению. Но кто, если не Бог, может совершить этот дар? Кто «автор» прощения? Исследование этого вопроса является важным этапом в развитии философии Рикёра¹. В рамках данной статьи мы выносим за скобки те аспекты его социальной философии, которые рассмотрены, например, в сборнике эссе «Справедливое», где Рикёр обращается к категории прощения в связи с проблемами судебной практики и наказания преступления. Это важная тема, однако главное сказано философом при разработке герменевтической феноменологии самости, диалектики памяти и забвения. Ей он посвящает последние страницы книги «Память, история, забвение», разворачивая дискуссию с Деррида, Янкелевичем, Абелем, Н. Гартманом, а также с Арендт.

Концепция прощения формируется Рикёром путем переосмысления и синтеза идей указанных мыслителей. Так, он соглашается с Деррида в том, что язык прощения создан авраамо-христианской культурой, представляющей наследие общих подходов иудаизма, христианства и ислама к прощению (Рикёр, 2004: 647). Согласно основам этой культуры, прощение требует в качестве условия раскаяние, но в целом речь идет о безусловном акте (даре), который распространяется и на область непрощительного².

«Прощение есть» (Рикёр, 2004: 645) — такой авраамо-христианский ответ на невозможность прощения становится отправным тезисом для умозаключений Рикёра. Философ осмысляет «есть» как «оность», называя источником прощения саму субъектность. Однако в отличие от авраамической традиции он не отождествляет её с абсолютным субъектом или с божественным образом, а рассматривает как персонификацию. «У истоков „оности“ [прощения], вероятно, всё-таки нахо-

1. Проблематика причастности П. Рикёра к философии дара раскрыта в работах А. В. Ямпольской. В данной статье мы не предпринимаем ее дополнительного освещения, которое потребовало бы от нас сопоставления концепции прощения Рикёра не с идеями Арендт, а с мыслью Деррида.

2. Авраамо-христианская традиция прощения представлена в общей памяти религий Священного Писания (иудаизма, христианства, ислама). Она основана на принципе безусловности прощения со стороны божественной субстанции. Данное понятие Деррида применяет для обоснования противоречий безусловного и условного дара прощения. Этот термин использует и Рикёр, указывая на истоки становления проблемы прощения.

дится личность в том смысле, что она является первопричиной персонализации» (Рикёр, 2004: 645).

На «высоту» прощения Рикёр помещает не абстрактного субъекта, а самость (*ipseite*) — один из основных предметов его герменевтической феноменологии. С позиции философии самости проблема прощения ставится им как вопрос и о субъекте-авторе прощения, и о самости виновного. И в прощаемых, и в прощающих он предлагает видеть личностей, которым свойственны признаки самости.

Данные признаки описаны Рикёром в работе «Я сам как другой» с помощью четырёх вопросов о «кто»: «кто говорит? кто действует? кто рассказывает о себе? кто является субъектом вменения?» (Ricoeur, 1990: 28). Ответы на них формируют образ «человека могущего» (*homme capable*).

Быть *homme capable* означает реализовывать способности говорить, действовать, рассказывать о себе и нести ответственность за поступки. Ответственность же предполагает осознание вины³, что рассматривается Рикёром в качестве предпосылки для прощения виновного. Разговор о прощении ведётся им в контексте вопроса об ответственности за действия (Рикёр, 2004: 637). Тем самым, на наш взгляд, прощение включается в ряд способностей человека могущего. В герменевтической феноменологии Рикёра прощение предстаёт как акт признания виновного в качестве человека могущего. Условием же подобного акта со стороны тех, кто прощает, является признание виновным ответственности за собственные поступки.

Проблема прощения в философии Рикёра оказывается загадкой о *homme capable* (Рикёр, 2004: 633). Она ставится философом во многом в ответ на рецепцию авраамо-христианского подхода в концепции прощения Деррида. Обнаруживая противоречие между безусловностью прощения и требованием раскаяния в иудео-христианской традиции⁴, Деррида определяет прощение как безусловный акт, независимый от просьбы, однако приходит к выводу о невозможности *чистого* прощения. С его точки зрения, любой безусловный дар прощения предполагает экономическую логику дара-обмена (Derrida, 1991: 36). Деррида трактует прощение как чрезвычайное и исключительное явление, как *опыт невозможного* (Derrida, 2005: 32). Рикёр же задаётся вопросом о возможностях применения «гимна» прощения авраамической традиции в человеческом мире, он спрашивает: «существует ли прощение для нас?» (Рикёр, 2004: 648).

3. Рикёр не всегда последователен в рассуждениях о зависимости вины и ответственности. Так, в эпилоге сборника эссе «Справедливое» он описывает ситуацию «ответственен, но не виновен», возможную при подмене политической вины уголовной. На примере суда над французскими политиками о заражении крови (1999 год) он высказывает идею о необходимости разделения политической и уголовной вины, призывая к созданию собственного института наказания в сфере политики (Рикёр, 2005: 273–274).

4. «Деррида тщательно деконструирует двойственность условности и безусловности, присущую иудео-христианской традиции, показывая, что высший расчет встроен в саму историю Авраамова жертвоприношения: пускай поступок Авраама был бескорыстным, пускай он был абсолютной жертвой; тем не менее за ним следует божественное вознаграждение, вписывающее его постфактум в (сверх)экономику дара» (Ямпольская, 2012: 8–9).

Этот вывод следует понимать как прощение в совместном бытии — такой отсыл становится интригой предлагаемого Рикёром подхода. Философа интересует возможность применения противоречивой логики авраамической традиции безусловного прощения по отношению к персонифицированному субъекту, к людям в их совместной жизни. Для обоснования такой потенции он обращается к философии Х. Арендт.

Прощение как категория теории действия Х. Арендт

Тема прощения раскрывается Арендт в контексте решения одной из основных задач её философии действия — утверждения дления и бессмертия человеческого мира через поступки и речь. Стремясь обосновать совместное бытие в качестве пространства бессмертия дел, Арендт выстраивает теорию действия во многом как ответ на экзистенциальную аналитику «Dasein» Хайдеггера. В противовес его идее конечности как предельном основании бытия Арендт утверждает принцип бессмертия в политической жизни, в жизни среди многих. Если Хайдеггер ищет смыслы бытия с позиции личностной экзистенции, то Арендт предлагает рассматривать плюральность (plurality) в качестве основного условия человеческой жизни⁵.

Стремясь обосновать возможность бессмертия в мире «хрупких человеческих дел», Арендт и ставит вопрос о прощении как об условии продления человеческой способности действовать. Прощение для нее — «спасительное средство против неотменимости содеянного» (Арендт, 2000: 313). «Если бы мы не могли прощать друг друга, взаимно освобождать от последствий того, что сделали, то наша способность действовать ограничилась бы одним деянием, от последствий которого мы никогда не могли бы оправиться» (Arendt, 1998: 237), — рассуждает Арендт в работе «Ситуация человека». Прощение одного поступка рассматривается ею как возможность осуществления новых действий в совместной жизни, как принцип освобождения от «травм прошлого» (Misztal, 2011: 50), «от последствий этого прошлого и того, кто прощает, и того, кому прощено» (Arendt, 1998: 241), и как разновидность действия с-другими-и-для-другого.

Прощение, по Арендт, — акт, зависимый от плюральности (plurality) человеческого бытия и реализующийся в совместной жизни. «Без окружающих нас людей мы не могли бы простить себе никакого недостатка или проступка», — заявляет она и продолжает, — «потому что нам не хватало бы опыта той личности, ради которой можно простить» (Arendt, 1998: 243). Что это за «личность», которой не хва-

5. Н. В. Мотрошилова отмечает: «Х. Арендт не просто берет как нечто данное и далее не исследуемое (как это делает ранний Хайдеггер) сферу Mit-dasein, бытия-вместе-с-другими, но обнаруживает в ней специфический, как раз бытийный обуславливающий слой, который каждый отдельный человек, рождающийся в этот мир, непременно застаёт „в наличии“, в его „da-“ (здесь, вот, тут-существовании)» (Мотрошилова, 2013: 440).

тает актору для прощения? С точки зрения Арендт, это его «кто», явленное перед другими на сцене «совместного» бытия.

«Кто» актора — образ, неоднократно появляющийся на страницах «Ситуации человека», связан с проблемой авторства смысла действия. Вопрос его идентификации Арендт решает также посредством категории плюральности. Она рассматривает совместное бытие актора с другими в качестве основного условия для формирования его «кто»: «Публичное выступление и дискурс с другими призывает самость отделиться от своего внутреннего мира» (Tchir, 2011: 55). В полной мере поступок индивида дан только другим: зрителям, рассказчикам о его действии и слушателям рассказов об этом действии. Таковую определяющую роль других в вопрошании Арендт о «кто» отмечает и Рикёр: «...паутина человеческих отношений порождает процесс, из которого и может возникнуть уникальная история жизни каждого новоприходящего человека» (Ricoeur, 1983: 67).

Прощение рассматривается Арендт во многом в рамках продолжения разговора о «кто» актора, определяемого другими. В публичном пространстве другие, осуществляя акт прощения, оценивают прощаемого по его поступкам и создают образ его «кто»: «Именно поэтому я не могу простить себе сам: без других я не в состоянии установить отношение с кем меня самого» (Ямпольская, 2014: 20). «Только тот, кому уже простили, может простить сам себе» (Арендт, 2000: 315) — вот принцип арендтовского прощения.

Наличие других как предпосылка прощения не только постулируется Арендт в терминах плюральности совместной жизни, но и рассматривается как условие отношений взаимности в сфере приватного, отношений Я—Другой. «Любящих отделяет от человеческого мира их безмирность, мир между любящими сгорел» (Арендт, 2000: 321), — пишет Арендт, рассматривая любовь в качестве одного из самых антиполитических явлений человеческой жизни.

В её теории прощение предстаёт двойственным феноменом, принадлежащим и пространству публичного, и области личного бытия, однако здесь нет противоречия, так как в основе двойственности лежит одно представление об авторе прощения.

Другой из сферы приватного и другие из пространства публичного как авторы прощения анализируются Арендт в контексте авраамической традиции представления о субъекте прощения. Актор прощения осмысливается ею по аналогии с божественным субъектом, дарующим прощение (Arendt, 1998: 238–239), а акт прощения — по аналогии с божественным чудотворением прощения. «Действие является способностью человека совершать чудеса — этот факт Иисус из Назарета... должен был хорошо знать, когда сравнивал силу прощать с силой чудотворения» (Arendt, 1998: 246–247).

Религиозный контекст приводит Арендт к отождествлению прощения с неким «чудом», событием — исключением из совместного бытия. В её теории прощение оказывается мимолётным поступком, разламывающим каузальную логику публичной жизни. С одной стороны, оно рассматривается как явление совместной

жизни, с другой — как уникальный феномен, не свойственный принципам её организации (памяти, причинно-следственной связи поступков и речей), но необходимый для продолжения со-бытия друг с другом.

Подходы Арендт и Рикёра к проблеме прощения: преемственность и различие

Формулируя собственное представление о прощении, Рикёр то оспаривает, то всё же соглашается с Арендт и заимствует идеи её философии действия. Так, он берёт на «вооружение» темпоральный подход Арендт к прощению и вслед за ней предлагает анализировать прощение в качестве феномена, проясняющего временную структуру действия. Оба философа рассматривают прощение как темпоральный переход от прошлого действия к поступкам в настоящем и возможность для осуществления будущего акта. Рикёр соглашается и с принципом Арендт «прощать для того, чтобы действовать дальше». Прощение оказывается в их теориях условием продления способности действовать.

Тем не менее в целом Рикёра не устраивает событийный подход Арендт к прощению, её стремление анализировать прощение в терминах поступка. Он предлагает говорить о прощении «на том языке, на котором можно описать радикальную трансформацию самости (*ipse*) в её связи с самой собой и другими» (Ямпольская, 2015: 305).

Язык герменевтической феноменологии самости предполагает иное, чем у Арендт, отношение к роли других при определении прощаемого субъекта. С одной стороны, Рикёр соглашается с идеей Арендт, что прощение даёт возможность действовать не только тому, кого прощают, но и тем, кто прощает, развивая её мысль о том, что в основе способности прощать лежат опыты, «которые никто не может осуществлять в одиночестве» (Рикёр, 2004: 674). Однако другие не анализируются им в качестве авторов «кто» прощаемого.

На наш взгляд, Арендт и Рикёр задают вопросы о различных «кто»: для Арендт — это агент, образ которого формируется интерпретаторами его действия (Arendt, 1998: 179); для Рикёра «кто» «человека могущего» — это «Я-сам» (*soi-même*) в диалектических отношениях с собой и с другими (Ricoeur, 1990: 28).

Отвечая на вопросы о «кто» *homme capable*, Рикёр придерживается персоналистского определения личности⁶, а также диалектики самости и инаковости, диалектики отношений Я—Другой—Другие. Он соглашается с Арендт в том, что человек «несёт в себе инстинктивное стремление к совместной с другими жизни» (Вдовина, 2013б: 269), но определяющим критерием «кто» всё же остаётся для него самосознание самости как говорящей, рассказывающей о себе: «Личность обозначает себя как „я“ по мере того, как говорящий субъект сам говорит о себе» (Вдови-

6. Рикёр переосмысливает персонализм Мунье, сохраняя понятие позиции и применяя его в собственной концепции «вовлечения»: «личность, считает он, является очагом позиции», «личность отождествляет себя с превосходящим ее делом» (Вдовина, 2013а: 156).

на, 2013а: 161). По Рикёру, персонализация является задачей самого «кто». Другим же, на наш взгляд, он отдаёт функцию осознания этого «кто» как самодостаточного субъекта, обладающего способностью реализовать возможности говорения, действия, вменяемости.

В вопросе о прощении Рикёр остаётся верен собственному проекту герменевтической феноменологии самости и на его основе формулирует представление о субъекте, получаемом прощение. Он предлагает отличный от Арендт подход к «кто» виновного — не с позиции его определения как автора конкретного акта, а с позиции его осознания как самости, способной к действию вообще. Рикёр стремится анализировать прощение не в категориях поступка, как это делает Арендт, а в понятиях *homme capable*, что в результате приводит его к идее отделения агента от поступка.

Проблема разделения агента и акта

Отделить субъекта действия от его поступков — одна из основных задач концепции прощения Рикёра. Она ставится философом во многом в ответ на провозглашаемый в теориях Деррида, Гартмана принцип невозможности отделения виновного от его преступления. Если, например, Деррида под разделением виновного и его действия понимает прощение иного человека, а не того, кто совершил акт (Рикёр, 2004: 680), то Рикёр интерпретирует этот процесс как разъединение, совершаемое «в сердцевине возможности действия — *agency*, — иными словами, между осуществлением и возможностью» (Рикёр: 2004, 680). Актор понимается им не только как автор конкретного поступка, но и как субъект, потенциально обладающий способностью действовать.

К постановке задачи разъединения агента и его акта Рикёр приходит во многом благодаря переосмыслению концепции прощения Арендт, несмотря на различие их установок в вопросе о «кто». Он обнаруживает в её теории действия предпосылку для обоснования отделения агента от акта (Рикёр, 2004: 679) — принцип натальности (рождённости).

Многие комментаторы считают понятие натальности (*nativity*) центральной категорией концепции действия Арендт (Kohn, 2000: 114), называют ее «теоретиком начинаний» (Arendt, 1998: vii). Данный термин она заимствует из философии Августина и применяет для описания человеческой способности начинать *новое* в процессе действия: «Посредством действия... каждый актуализирует собственный факт рождённости в качестве нового начала» (Taminaux, 1986: 210). По Арендт, «...действие — это человеческий ответ на то, что удел человека — быть рождённым... без факта рождения мы бы даже не знали, что такое новизна, всякое действие было бы либо всего лишь поведением, либо консервированием» (Арендт, 2014: 96). При этом она трактует начинание действия не по аналогии с биологическим рождением, а как начало жизни в совместном бытии. «Говоря и действуя, мы включаемся в мир людей, существовавший прежде, чем мы в него родились, и это

включение подобно второму рождению, когда мы подтверждаем голый факт нашей рождённости, словно берем на себя ответственность за него» (Арендт, 2000: 230).

Идея натальности оценивается Рикёром как одно из достижений теории действия Арендт (Bragantini, 2013: 147). Вопросание к арендтовскому понятию натальности: «Каким образом связаны между собой господство над временем и чудо рождённости?» (Рикёр, 2004: 678–679) — даёт импульс всему предпринятому Рикёром обоснованию самости как духа прощения.

Философ перетолковывает идею натальности Арендт в контексте собственной герменевтики самости и принципа отделения актора от акта. Его проект прощения подразумевает виновного не столько как агента определённого проступка, сколько как самость, потенциально обладающую способностью *обновления* себя как человека могущего: «Виновный, способный начать всё с начала» (Рикёр, 2004: 680).

Задачу осознать возможность виновного на *обновление* Рикёр ставит не только перед самим виновным, но и перед теми другими, кто образует с ним совместное бытие и может выступить в роли авторов прощения. Он предлагает им проявить «доверие к возможностям возрождения „я“» (Рикёр, 2004: 680) виновного и даровать ему слово прощения: «Ты стоишь больше, чем твои действия» (Рикёр, 2004: 684–685).

Такое переоткрытие Рикёром смыслов арендтовского понятия натальности в контексте собственной философии самости становится основой решения загадки: возможно ли «прощение для нас»? С помощью переосмысления натальности он пытается перенести гимн прощения авраамической традиции с «высоты» абстрактного субъекта на «высоту» персонифицированных субъектов — участников совместного бытия, тех других, кто видит в виновном не только актора проступка, но и личность, способную на обновление.

Принцип натальности в интерпретации Рикёра наделяется функцией предпосылки возможного прощения, предстаёт аргументом, опровергающим позицию Деррида о прощении как об опыте невозможного. Натальность, понятая как возможность самости на обновление, утверждает прощение в качестве явления, присутствующего в совместном бытии постоянно. На наш взгляд, предполагаемая Рикёром константа прощения противоречит не только концепции Деррида, но и подходу Арендт к прощению как к событию-исключению, разламывающему каузальные отношения совместной жизни.

Предлагая собственный вариант понимания арендтовской идеи натальности, Рикёр в итоге занимает противоположную позицию как в вопросе о применении категории натальности, так и в вопросе о темпоральности прощения. Если Арендт рассматривает натальность как основание действия, не отделяя актора от поступка, то Рикёр предлагает применить натальность к личности актора. Если Арендт указывает на прощение как на «чудо» обновления совместной жизни, то Рикёр анализирует прощение как акт осознания постоянной возможности перерожде-

ния личности. Он мыслит «прощение субъекта не в терминах точечного события, которое единожды разрывает внутреннее сознание времени субъекта и его личную историю, а в терминах сложного, „кругового“ процесса, который включает в себя всю его жизнь» (Ямпольская, 2015: 308).

Идея постоянного «кругового» прощения формулируется Рикёром в рамках этики дара и взаимности (Fiasse, 2007: 370). Философ предлагает говорить о прощении как о явлении дара с присущей ему диалектикой возврата: «Я прошу у тебя прощения — Я тебя прощаю» (Рикёр, 2004: 671). Подобный дискурс Рикёр, как и Деррида, обнаруживает в религиях Священного Писания, предполагающего безусловность прощения, но в то же время требующего и просьбу о нём (Рикёр, 2004: 780). Однако он не останавливается на абсолютизации данного противоречия и абсолютизации экономической структуры дара, а видит логику цикла в религиозной модели безусловности и просьбы прощения. Соединение прощения и раскаяния мыслится Рикёром в виде круга, «где экзистенциальный ответ на прощение некоторым образом включён в сам дар, в то время как то, что предшествует дару, признаётся находящимся в сердцевине изначального жеста покаяния» (Рикёр, 2004: 681).

Проект «прощения для нас» во многом и выстраивается Рикёром на основе этой традиционной религиозной модели круга «диалектики дара и взаимности». В его теории просьба о прощении оказывается знаком вменяемости⁷ виновного и основой для его уважения в пространстве совместного бытия. Принцип же уважения, который отражает переосмысление Рикёром арендтовской идеи натальности, определяется им как осознание возможности обновления действующего и вменяемого «кто» виновного. «Следовало бы вернуться к его способности действовать, к действию, имеющему продолжение» (Рикёр, 2004: 684).

В теории Рикёра уважение становится единственной возможной моделью «прощения для нас». Задаваясь вопросом о прощении в совместной жизни, он, в отличие от Арндт, обращает внимание не только на пространство политических дел, но и на институциональную жизнь в целом, в частности — на сферу судебной практики. Осознавая, «что в правовом отношении виновная самость не может быть прощена» (Рикёр, 2004: 679), он всё же в ответ на юридическую невозможность прощения выдвигает требование «инкогнито» прощения (Рикёр, 2004: 684–685). Под этим *тайным* прощением Рикёр и подразумевает *уважение* к виновному по причине того, что тот обладает возможностью обновления своей деятельной самости.

Тема уважения личности в сфере юриспруденции и права получает дополнительное раскрытие в сборнике эссе «Справедливое». В нём Рикёр указывает: «прощение служит постоянным напоминанием о том, что правосудие бывает лишь человеческим» (Рикёр, 2005: 169).

7. По Рикёру, вменяемость — это способность действовать интенционально, то есть опираясь на разумные доводы, и инициативно вписывать свои намерения в ход вещей, в происходящие в мире события» (Ricoeur, 1992: 204).

«Прощение для нас»: диалектика памяти и забвения

В поисках оснований «прощения для нас» Рикёр осознаёт проблематичность его реализации в сфере общественной жизни, в судебной практике, именуя его «трудным актом», но возможным (Рикёр, 2004: 633). В теории же действия Арендт трудность прощения превращается подчас в невозможность. Понимая прощение как акт, исключительный для совместного бытия, Арендт накладывает на него дополнительные ограничения. Так, она считает, что существуют преступления, которые не поддаются ни прощению, ни наказанию (Arendt, 1998: 241). К ним в первую очередь относятся преступления против человечности. Об их акторах Арендт говорит словами Иисуса: «„Такому человеку было бы полезнее, если бы ему навесили жернов на шею и бросили в море“, или было бы лучше ему никогда не родиться — несомненно, самая страшная вещь, какую можно сказать о человеке» (Арендт, 2000: 320). Такое «проклятье» запрещает преступнику реализовать собственно человеческую природу, начать всё сначала. Постулируемый Арендт образ человека, способного к начинанию «нового», оказывается применимым не ко всем. В первую очередь она отказывает в возможности реализовать этот образ тем, кто в нацистских лагерях смерти пытался сделать людей «лишними человеческими существами» (Bernstein, 2006: 399).

Осмысляя трагедию Второй мировой войны, Арендт «заклинает» помнить об авторах преступлений против человечности. В лозунге её поздней политической теории: «где виноваты все, не виноват никто» (Arendt, 2003a: 28) она выступает против применения к военным преступлениям принципа коллективной ответственности, потому что он предполагает забвение их акторов.

Арендт не употребляет слова «забвение», но её критика феномена коллективной ответственности опосредованно содержит в себе представление о забвении как о стирании следов. Рассуждая об ошибочности применения коллективной ответственности к послевоенной Германии, она указывает: «на практике это оказалось эффективным обелением (whitewash) всех тех, кто действительно что-либо совершил» (Arendt, 2003a: 21).

Снятие индивидуальной ответственности может привести к феномену «коллективного прощения», что также не устраивает Арендт (Pettigrove, 2006: 493–495). В своих философско-политических эссе она призывает к поиску ответственных за нацистские преступления и к их осуждению. Следя за судебными процессами послевоенных лет, Арендт формулирует концепцию суждения, главным героем которой становится «зритель» (Бейнер, 2011: 205), способный судить о преступлениях других в соответствии с собственной совестью. Каждый человек как представитель совместного бытия с другими обладает возможностью выносить суждение о чужих поступках, что и делает его собственно причастным к политическому. В частности, роли судящих зрителей в драме нацистских преступлений Арендт предлагает всем участникам современного мира. Она призывает к коллективному осуждению конкретных преступников и к их индивидуальной ответственности.

В концепциях суждения и ответственности Арендт отрицается прощение в значении забвения авторства преступлений. Такие этико-моральные установки накладывают ограничения на представление Арендт о прощении как условии действия. Возьмём, например, Эйхмана. С одной стороны, Арендт описывает его как преступника, «банальные» злодеяния которого нужно помнить и судить (Arendt, 2003b: 160). С другой стороны, она проповедует прощение как условие продления совместного бытия действий, что требует в каком-то смысле забыть о преступлениях Эйхмана и дать ему «шанс». Таким образом, принцип прощения, «обновлённый» идеями о непростительности, приводит к противоречию: не можем простить, потому что обязаны помнить, но должны прощать, чтобы действовать дальше в совместном бытии.

Подход Рикёра к «прощению для нас» как к «трудному» явлению совместной жизни не содержит подобного конфликта между памятью о злодеянии и его забвением. Он тоже упоминает о невозможности прощения преступлений против человечности (Рикёр, 2004: 650, 654–655), но не из-за невозможности забвения, а в связи с диалектикой памяти и забвения. По Рикёру, прощение — это феномен, находящийся на пересечении памяти и забвения. Основой прощения становится в его теории забвение-резерв, означающий «незаметный характер постоянного сохранения воспоминаний, уклонение от бдительного контроля сознания» (Рикёр, 2004: 609).

Забвение-резерв превращается в ресурс, «из которого черпает и на надёжность которого рассчитывает в своей деятельности «человек могущий» — главный персонаж рикёровской феноменологической герменевтики» (Блауберг, 2013: 206). Данный феномен Рикёр называет также «хорошим» забвением (*ars oblivionis*), рассматривая по аналогии с ним и прощение.

Определяя *ars oblivionis* и анализируя прощение, Рикёр применяет принцип меры памяти и забвения. Предлагая отделять виновного от его поступка, философ отождествляет прощение и с забвением как с освобождением от вчерашней и завтрашней злобы, и с памятью о том, что виновный обладает возможностью начать всё с начала. Рикёр приписывает прощению установку «хорошего забывания», а именно — «без-заботности» (Рикёр, 2004: 699). Прощение в его теории предполагает снятие оков заботы-памяти, постоянно пребывающей в прошлом. Оно оказывается «этическим применением забвения» (Dessingue, 2011: 175).

Таким образом, концепция прощения Рикёра, в отличие от теории Арендт, не отягощается противоречием между памятью и забвением. Если Арендт понимает прощение по аналогии с забвением, то Рикёр предлагает соединить работу памяти и забвения в акте прощения. Диалектика памяти и забвения даёт ему возможность непротиворечиво применять арендтовский принцип натальности в качестве условия возможности «прощения для нас». Формулируя понятие «инкогнито» прощения, Рикёр подразумевает под ним «хорошее забвение», освобождающее от скорби о прошлом, выводящее из озабоченности прошлым, но и учитывающее память уз-

навания. «Вот он! Это он», — восклицает «хорошая память», она узнаёт виновного. А «хорошее забвение» дарует ему шанс на обновление, на «второе рождение».

В целом проект-поиск Рикёра «прощения для нас» предполагает константу прощения в качестве меры памяти и забвения. В нём место прощения как «опыта невозможного» занимает трудное, но постоянно возможное «инкогнито» прощения. В теории Рикёра константа прощения определяет историю совместной жизни и обосновывается не только цикличной моделью дара-раскаяния, но и идеей разделения актора и поступка, в основе которой лежит переосмысление арендтовского концепта натальности как источника постоянства возможности обновления самости виновного.

Для обоснования прощения в бытии «для нас» Рикёр во многом берёт на себя роль переоткрывателя идеи натальности Арендт, которая в своих представлениях о прощении остаётся сторонницей логики авраамо-христианского «чуда» прощения. С её точки зрения, прощение возможно в «сети межлических отношений», но только как событие-исключение, подобное божественному дару. При этом чудотворению прощения в её политической философии противоречит принцип памяти.

* * *

Концепции прощения Арендт и Рикёра разворачиваются в плоскости одних понятий: действие, возможность, обновление, совместное бытие, личность, память, забвение, но расходятся по своим внутренним принципам. Концепция прощения Арендт обладает апорийным содержанием: «чуду» прощения противоречит память, а концепция прощения Рикёра не содержит противоречия между памятью и забвением, между «чудом» и постоянством прощения. Если Арендт является сторонницей логики авраамо-христианского «чудотворения» прощения, то Рикёр критически применяет данный принцип. Его проект становится результатом критического подхода к теориям прощения, в которых присутствуют принципы авраамической традиции, в том числе — и к концепции Арендт.

Обращение к Арендт определяет интригу дискурса прощения в философии Рикёра. На наш взгляд, анализ данного обращения формирует новый подход к концепции прощения французского мыслителя — позволяет рассматривать её не только как теорию философии дара, не только как теорию — критику авраамического подхода, но и как проект-поиск возможного «прощения для нас».

Обнаружение в арендтовской идее натальности потенциала для решения вопроса «прощения для нас» делает концепцию Рикёра новаторской, придаёт ей формат дискуссии с идеей Деррида о «невозможном» прощении. Благодаря переосмыслению натальности Рикёр утверждает возможность прощения в сфере совместного бытия, раскрывает его участников как «видящих» в виновном не только актора проступка, но и личность, способную на обновление.

Литература

- Арендт Х.* (2000). *Vita activa, или О деятельной жизни* / Пер. с англ. и нем. В. В. Библихина. СПб.: Алетейя.
- Арендт Х.* (2014). *О насилии* / Пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство.
- Бейнер Р.* (2011). Ханна Арендт о суждении // *Арендт Х. Лекции по политической философии Канта* / Пер. с англ. А. А. Глухова. СПб.: Наука. С. 147–255.
- Блауберг И. И.* (2013). О памяти и забвении: П. Рикёр и А. Бергсон // *Поль Рикёр в Москве*. М.: Канон+. С. 191–206.
- Вдовина И. С.* (2013а). Поль Рикёр: герменевтический подход к истории философии // *Поль Рикёр в Москве*. М.: Канон+. С. 152–190.
- Вдовина И. С.* (2013б). Поль Рикёр: практическая мудрость философии // *Поль Рикёр в Москве*. М.: Канон+. С. 267–276.
- Мотрошилова Н. В.* (2013). *Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие—время—любовь*. М.: Академический проект.
- Рикёр П.* (2004). *Память, История, Забвение* / Пер. с фр. И. И. Блауберг, И. С. Вдовиной, О. И. Мачульской, Г. М. Тавризян. М.: Издательство гуманитарной литературы.
- Рикёр П.* (2005). *Справедливое* / Пер. с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. М.: Гнозис, Логос.
- Ямпольская А. В.* (2012). Прощение между даром и обменом: антипелагианская полемика Августина в контексте философии века // *Артикульт*. № 7(3). С. 1–18.
- Ямпольская А. В.* (2014). Речевой акт как событие: Деррида между Остином и Арендт // *Социологическое обозрение*. Т. 13. № 2. С. 9–24.
- Ямпольская А. В.* (2015). За пределами события: Поль Рикёр о даре и прощении // *Поль Рикёр: человек—общество—цивилизация*. М.: Канон+. С. 302–314.
- Arendt H.* (1961). *The Concept of History: ancient and modern* // *Arendt H. Between Past and Future*. New York: The Viking Press. P. 41–90.
- Arendt H.* (1998). *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H.* (2003а). *Personal Responsibility Under Dictatorship* // *Arendt H. Responsibility and Judgment*. New York: Schocken Books. P. 17–48.
- Arendt H.* (2003б). *Thinking and Moral Considerations* // *Arendt H. Responsibility and Judgment*. New York: Schocken Books. P. 159–192.
- Bernstein R. J.* (2006). *Derrida: The Aporia of Forgiveness?* // *Constellations* Vol. 13. № 3. P. 394–406.
- Bragantini A.* (2013). *Identité personnelle et narration chez Paul Ricœur et Hannah Arendt* // *Lo Sguardo: rivista di filosofia*. № 12 (II). P. 135–149.
- Dessingué A.* (2011). *Towards a Phenomenology of Memory and Forgetting* // *Ricœur Studies* Vol. 2. № 1. P. 168–178.
- Derrida J.* (1991). *Donner le temps. 1. La fausse monnaie*. Paris: Galilée.
- Derrida J.* (2005). *On Cosmopolitanism and Forgiveness*. London: Taylor & Francis.

- Fiasse G.* (2007). Paul Ricoeur et le pardon comme au-delà de l'action // Laval théologique et philosophique. Vol. 63. № 2. P. 363–376.
- Kohn J.* (2000). Freedom: The Priority of the Political // The Cambridge Companion to Hannah Arendt / Ed. D. Villa. New York: Cambridge University Press.
- Misztal B. A.* (2011). Forgiveness and the Construction of New Conditions for a Common Life // Contemporary Social Science. Vol. 6. № 1. P. 39–53.
- Pettigrove G.* (2006). Hannah Arendt and Collective Forgiving // Journal of Social Philosophy. Vol. 37. № 4. P. 483–500.
- Ricoeur P.* (1983). Action, Story and History: On Re-reading *The Human Condition* // Salmagundi. № 60. P. 60–72.
- Ricoeur P.* (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Seuil.
- Ricoeur P.* (1992). Approches de la personne // Ricoeur P. Lectures 2. La contree des Philosophes. Paris: Seuil. P. 203–221.
- Taminiaux J.* (1986). Phenomenology and the Problem of Action // Philosophy Social Criticism. Vol. 11. P. 207–219.
- Tchir T.* (2011). Daimon Appearances and the Heideggerian Influence in Arendt's Account of Political Action // Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt / Ed. C. Barbour and A. Yeatman. New York: Continuum. P. 53–68.

Forgiveness as a Possibility: The Approaches of H. Arendt and P. Ricoeur

Maria Sidorova

Postgraduate Student, School of Philosophy, National Research University Higher School of Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: msi.8883@gmail.com

The theme of forgiveness unites H. Arendt's and P. Ricoeur's different philosophical interests. Both thinkers analyze this phenomenon in the context of the Avraama-Christian tradition of forgiveness, and ask the question concerning the opportunity of forgiveness in common life. This article gives the reasons for Ricoeur's references to Arendt's concept of forgiveness. It puts forward the idea that the rethinking of natality is a basis of Ricoeur's concept of "forgiveness for us". This article describes both the continuity and disagreement in Ricoeur's and Arendt's approaches to the issue of forgiveness. If Arendt conceptualizes forgiveness in terms of act, Ricoeur examines this phenomenon from the perspective of selfhood. For Arendt, forgiveness is not a typical action, but an event breaking the causal structure of common being. For her, forgiveness is some exception from the public space necessary for its own existence. Ricoeur proposes to consider forgiveness as a constant of common being. He analyzes forgiveness as a difficult act, but always possible "incognito". Despite these differences, Arendt's notion of natality becomes the decisive category for Ricoeur in justifying the constant of forgiveness. In introducing the condition of the separation between agent and act, he recognizes natality as a cause of the possible update of a guilty selfhood. This article assumes that Ricoeur's appeal to Arendt helps him to formulate his own concept of forgiveness based on the review of the principles of the Avraamic tradition and its

reception in Derrida's philosophy. Thanks to Arendt, the place of forgiveness in Ricoeur's theory as an "experience of the impossible" takes the difficult, but always possible, "incognito" forgiveness.

Keywords: forgiveness, action, memory, forgetting, plurality, natality, Ricoeur, Arendt

References

- Arendt H. (2000) *Vita activa, ili O deyatelnoj zhizni* [Vita Activa; or, On Active Life], Saint Petersburg: Aleteja.
- Arendt H. (2014) *O nasilii* [On Violence], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Beiner R. (2011) Hanna Arendt o suzhenii [Hannah Arendt about judgment]. Arendt H. *Lekcii po politicheskoi filosofii Kanta* [Lectures on Kant's political philosophy], Saint Petersburg: Nauka, pp. 147–255.
- Blauberger I. (2013) O pamyati i zabvenii: P. Ricoeur i A. Bergson [On Memory and Forgetting: P. Ricoeur and A. Bergson]. *Paul Ricoeur v Moskve* [Paul Ricoeur in Moscow], Moscow: Kanon+, pp. 191–206.
- Vdovina I. (2013a) Paull Ricoeur: germenevticheskij podhod k istorii filosofii [Paul Ricoeur: Hermeneutic Approach to the History of Philosophy]. *Paul Ricoeur v Moskve* [Paul Ricoeur in Moscow], Moscow: Kanon+, pp. 152–190.
- Vdovina I.S. (2013b) Pol Ricoeur: prakticheskaya mudrost filosofii [Paul Ricoeur; practice wisdom]. *Paul Ricoeur v Moskve* [Paul Ricoeur in Moscow], Moscow: Kanon+, pp. 267–276.
- Motroshilova N. (2013) *Martin Haidegger i Hanna Arendt: butie-vremya-lyubov* [Martin Haidegger and Hannah Arendt: Being–Time–Love], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Ricoeur P. (2004) *Pamyat, Istoria, Zabvenie* [Memory, History, Forgetting], Moscow: Izdatelstvo gumanitarnoj literatury.
- Ricoeur P. (2005) *Spravedlivoe* [Just], Moscow: Gnozis<>Logos.
- Yampolskaya A. (2012) Prosshenie mezhdum darom i obmenom: antipelagianskaya polemika Avgustina v kontekste filosofii veka [Forgiveness Between Gift and Exchange: Antipelagic Controversy of Augustine in the Context of the Philosophy of the Century]. *Articult*, no 7(3), pp. 1–18.
- Yampolskaya A. (2014) Rechevoi akt kak sobutie: Derrida mezhdum Ostinom i Arendt [Speech Act as an Event: Derrida Between Austin and Arendt]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 2, pp. 9–24.
- Yampolskaya A. (2015) Za predelami sobutia: Paul Ricoeur o dare i prosshenii [Outside of an Event: Paul Ricoeur on the Gift and Forgiveness]. *Paul Ricoeur v Moskve* [Paul Ricoeur in Moscow], Moscow: Kanon+, pp. 302–314.
- Arendt H. (1961) The Concept of History: Ancient and Modern. *Between Past and Future*, New York: The Viking Press, pp. 41–90.
- Arendt H. (1998) *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Arendt H. (2003a) Personal Responsibility Under Dictatorship. *Responsibility and Judgment*, New York: Schocken Books, pp. 17–48.
- Arendt H. (2003b) Thinking and Moral Considerations. *Responsibility and Judgment*, New York: Schocken Book, pp. 159–192.
- Bernstein R. J. (2006) Derrida: The Aporia of Forgiveness? *Constellations*, vol. 13, no 3, pp. 394–406.
- Bragantini A. (2013) Identité personnelle et narration chez Paul Ricoeur et Hannah Arendt. *Lo Sguardo: rivista di filosofia*, no 12 (II), pp. 135–149.
- Dessingué A. (2011) Towards a Phenomenology of Memory and Forgetting. *Ricoeur Studies*, vol. 2, no 1, pp. 168–178.
- Derrida J. (1991) *Donner le temps 1: La fausse monnaie*, Paris: Galilée.
- Derrida J. (2005) *On Cosmopolitanism and Forgiveness*, London: Taylor & Francis.
- Fiasse G. (2007) Paul Ricoeur et le pardon comme au-delà de l'action. *Laval théologique et philosophique*, vol. 63, no 2, pp. 363–376.
- Kohn J. (2000) Freedom: The Priority of the Political. *The Cambridge Companion to Hannah Arendt* (ed. D. Villa), New York: Cambridge University Press.
- Misztal B. A. (2011) Forgiveness and the Construction of New Conditions for a Common Life. *Contemporary Social Science*, vol. 6, no 1, pp. 39–53.

- Pettigrove G. (2006) Hannah Arendt and Collective Forgiving. *Journal of Social Philosophy*, vol. 37, no 4, pp. 483–500.
- Ricoeur P. (1983) Action, Story and History: On Re-reading the Human Condition. *Salmagundi*, no 60, pp. 60–72.
- Ricoeur P. (1990) *Soi-même comme un autre*, Paris: Seuil.
- Ricoeur P. (1992) Approches de la personne. *Lectures 2: La contree des Philosophes*, Paris: Seuil, pp. 203–221.
- Taminiaux J. (1986) Phenomenology and the Problem of Action. *Philosophy Social Criticism*, vol. 11, pp. 207–219.
- Tchir T. (2011) Daimon Appearances and the Heideggerian Influence in Arendt's Account of Political Action. *Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah Arendt* (eds. C. Barbour, A. Yeatman), New York: Continuum, pp. 53–68.

Восстание культурных механизмов: протест как языковая игра*

АРХИПОВА А., АЛЕКСЕЕВСКИЙ М. (СОСТ.) (2014) «МЫ НЕ НЕМЫ!»: АНТРОПОЛОГИЯ ПРОТЕСТА В РОССИИ 2011–2012 ГОДОВ. ТАРТУ: ЭЛМ. 336 С. ISBN 978-9949-544-26-4

Алексей Титков

Доцент философско-социологического факультета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
доцент факультета социальных наук
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
преподаватель факультета социальных наук
и научный сотрудник Центра прикладной урбанистики
Московской высшей школы социально-экономических наук
Адрес: пр. Вернадского, д. 82/2, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: a-titkov@yandex.ru

Роль механизмов культуры в социальных изменениях — одна из ключевых тем культурсоциологии — анализируется в «Антропологии протеста», сборнике работ культурных антропологов и филологов о массовых протестах 2011–2013 годов в России. Авторы «Антропологии протеста» рассматривают протестные митинги как коммуникацию между протестующими и властью (макрокоммуникация), между участниками протестов (локальная коммуникация) и фокусируются на анализе высказываний, представленных на митинговых плакатах. Описываются роль и характер языковых игр в протестных высказываниях, влияние локального контекста небольших протестных акций («наномитинги», «Оккупай Абай» и др.) на форму и содержание политических высказываний. Работы сборника могут побудить культурсоциологов задуматься по крайней мере о двух проблемах: сложном нелинейном характере (со сгущениями, замещениями и т. д.) моральных классификаций, определяющих «социальное бессознательное», а также о роли медийной среды, в которой создаются идеи и лозунги протестных движений, и механизмах ее воздействия. В работах Йельской школы культурсоциологии моральные классификации представлены наборами бинарных оппозиций в стиле классического структуриализма. Языковые игры, на которые обращают внимание авторы «Антропологии протеста», предполагают более сложную модель. Роль медиа в социальных и культурных изменениях описывалась Дж. Александером (анализ Уотергейтского скандала) с помощью модели коллективного ритуала, в рамках дюркгеймовской традиции. Анализ циркуляции протестных текстов в социальных сетях побуждает обратить внимание на давнюю альтернативу дюркгеймовской программе, теорию Тарда о диффузии идей в межличностном взаимодействии.

Ключевые слова: высказывание, коммуникация, культурсоциология, медиасреда, митинг, протест, Россия, смех, языковая игра

© Титков А. С., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-208-233

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00286 «Мониторинг актуального фольклора: база данных и корпусный анализ».

«Показать, какие социальные, фольклорные и лингвистические явления стоят за... протестным движением, какие культурные механизмы актуализируются во время митингов» — так определяют задачу сборника его составители А. Архипова и М. Алексеевский (с. 11). Они напоминают, что представители гуманитарных наук «весьма оперативно» среагировали на протесты декабря 2011 года, раньше других начали полевую работу на митингах, организовали коллективный сбор материала (интернет-группа «Фольклор Снежной революции»), перевели свои наблюдения в академические публикации (тематический блок статей на «Антропологическом форуме Online» вышел в феврале 2012 года), на полгода с лишним раньше первой аналогичной подборки в социологическом журнале «Laboratorium» (№ 2)¹. Альбом «Азбука протеста» (Азбука протеста, 2012) в мае 2012 года оказался первым изданием о протестной волне 2011–2012 годов в книжном формате. Позднее ход дискуссии стали задавать социологи и политологи, но, настаивают Архипова и Алексеевский, «для полноценного изучения» протестной активности социальные науки должны сотрудничать в том числе с антропологами и лингвистами.

«Социология» без привязки к теориям и направлениям — слишком общий адрес, с которым послание рискует потеряться. Первое, что могут сделать социологи, это подсказать подходящую аудиторию, способную заинтересоваться «культурными механизмами» массового протестного движения. Больше других на такую роль подходит, пожалуй, культурсоциология с ее ключевыми идеями «автономии культуры» (Александр, 2007), «культурных структур», регулирующих общество (Александр, 2013: 42–48), в том числе в связи с революциями (Alexander, 2012) и революционными ритуалами (Смит, 2008). Другие подходы выявляют символические (когнитивные, риторические) механизмы вовлечения людей в социальную активность. Это прежде всего фрейм-анализ Д. Сноу и Р. Бенфорда (Snow et al., 1986; Сноу и др., 2013) и прагматическая социология Л. Болтански и Л. Тевено (см., например, анализ вовлеченности работников в современный капитализм: Болтански, Кьяпелло, 2011).

Статьи «Антропологии протеста» можно разбить на три больших блока: «социологический», «лингвистический» и «этнографический». Профильным является второй блок («Язык протеста»), посвященный в основном анализу лозунговых текстов в широком смысле, включая визуальные образы и перформативные акции.

1. В соревнование «кто раньше» стоит включить также вышедшие, соответственно, в августе и октябре 2012 года левадовский «Вестник общественного мнения» (№ 2, 2012) и выпуск журнала «Логос» (№ 2, 2012) о революциях, в котором, правда, протестам 2011–2012 годов напрямую посвящено только эссе В. Куренного (Куренной, 2012). Спор о приоритете становится более запутанным, если учесть исследования и концепции, которые были опубликованы в экспресс-режиме в популярных сетевых изданиях (Русский журнал, Слон.ру и др.), но затем оказались включенными в нормальную, «медленную», академическую дискуссию.

Неизвестные люди, необычные плакаты

Самые общие вопросы, вокруг которых строится анализ, обнаруживаются в исторических сопоставлениях, предложенных Д. Громовым, М. Алексеевским и Е. Струковой. В статье Громова, исследователя уличных политических акций 2000-х годов, подчеркивается, насколько столичные протесты 2011–2012 годов отличались от более ранних; описывается, как появление на публичных акциях массы новых людей изменило их привычный по прошлым годам формат²; как в декабре 2011 года в Рунете возник спрос на инструкции и советы митингующим. Изменился возрастной состав: с декабря 2011 по февраль 2012 года стали преобладать участники среднего возраста, в отличие от публичных акций предыдущего десятилетия, преимущественно молодежных (на коммунистических акциях — вместе с пожилыми). Появились волонтеры, которые раздавали атрибутику, следили за порядком, убирали мусор и др. Произошел небывалый взлет индивидуальных самопрезентаций, прежде всего оригинальных самодельных плакатов. Как следствие, общее «театрализованное действие» публичной акции раздробилось на множество «микроспектаклей». Децентрализация и дробление происходили также за счет того, что многие участники, вооруженные фото- и видеокамерами, выступали в роли журналистов-любителей, публикуя репортажи в блогах и социальных сетях. Появились также новые формы протестных акций, как флешмобы, утратили былую популярность (кричалки), которые «не работают» в большой толпе, где люди не знакомы друг с другом (с. 46–52).

Антрополог Алексеевский обращает внимание на «всплеск народного остроумия» на самодельных плакатах 2011–2012 годов, пытаясь понять его через историко-культурные сравнения с другими странами. Самым близким аналогом он считает уличные протесты в Сербии в 1996–1997 годах, преимущественно студенческие по составу, для которых были тоже характерны «карнавальные» формы и остроумные лозунги. Речь здесь может идти только о типологическом сходстве, о прямом влиянии сербских протестов едва ли можно говорить (с. 67). «Парадоксальные» плакаты в декабре 2011 года имели своим предшественником «монстрации», художественные первомайские шествия с нарочито бессмысленными лозунгами (с. 65) — их влияние вполне вероятно, но все равно непонятно, почему и зачем могли возникнуть такие заимствования. Протестные лозунги в России до

2. Этнографии уличной протестной активности 2000-х годов посвящена диссертация и монография Громова (Громов, 2012). Рецензируемый сборник открывается анекдотической историей об этой монографии: «Осенью 2011 г. Дмитрий Громов... заканчивал работу над новой монографией, посвященной уличным политическим акциям в современной России... Громов в заключение констатировал, что после выборов 2007 г. интенсивность уличных политических акций неуклонно снижалась и к 2011 г. практически достигла минимальных значений: «По сравнению с предыдущим этапом... период 2008–2011 годов характеризовался непрерывным спадом активности...» Буквально через несколько недель после того, как эти строки были написаны, в Москве прошли многотысячные митинги... Выпуск уже готовой монографии пришлось срочно задерживать» (с. 7–8). Статья в сборнике представляет собой сокращенную версию дополнительной главы (постскриптума) монографии об уличных акциях (Громов, 2012: 445–467).

сих пор были по преимуществу серьезными, то же можно сказать об Оранжевой революции в Киеве 2004 года и движении Occupy Wall Street 2011 года, с которыми протестную волну 2011–2012 годов часто сравнивают (с. 65–67)³. Историк-архивист Е. Струкова предлагает сравнение с перестроечными массовыми акциями 1988–1991 годов: общие для обоих периодов темы выборов, коррупции, отмены монополии на власть, отсылки к лозунгам времен Перестройки («Мы ждем перемен!», «Партия, дай порулить!») и авторитетам конца 1980-х годов (А. Сахаров, В. Гавел, М. Горбачев), к прямым параллелям с перестроечной ситуацией («Единая Россия — КПСС», «Путин — Брежнев») — полезные наблюдения, которые, однако, не объясняют другие ключевые особенности протестной волны 2011–2012 годов.

Итак, большие протестные митинги 2011–2012 годов — это множество новых людей без опыта политического активизма, множество самодельных плакатов, обилие лозунгов, удивляющих своей парадоксальностью. Как замечает Алексеевский, часть плакатов на митингах 2011–2012 годов выглядит «слишком абсурдной и непонятной», что ставит под сомнение серьезность протеста, — притом что, казалось бы, именно лозунги и плакаты, сделанные участниками протеста, должны точнее всего выражать их требования и цели (с. 63–64).

«Социология митинга»: опросить и посчитать

Социологические интересы авторов сборника состоят в логике выхода из привычной дисциплинарной программы, которая начинает казаться слишком ограниченной. Логику расширения определяет в значительной степени «антропологический поворот» в фольклористике — переключение интереса от анализа текстов к анализу социального контекста, в котором они создаются и распространяются. Такой «выход за рамки» наблюдается в статье Алексеевского, где автор, оценивая предыдущие работы фольклористов, посвященные уличной политической агитации, критикует своих предшественников за то, что они, анализируя тексты и образы плакатных лозунгов как «народное творчество», обычно представляют себе «народ» некой условной абстракцией, не интересуясь по-настоящему, «кто эти люди с плакатами» (с. 67–69).

«Поворот к социологии» выразился прежде всего в самом «социологическом», в популярном смысле, анкетном инструментарии. Статья А. Соколовой, М. Головиной и Е. Семихановой, построенная на серии анкетных опросов на московских митингах декабря 2011 — марта 2012 годов, заявляет задачу дать «социальный портрет митингующих в динамике», но, кажется, не справляется с ней в части «динамики». Причины тому и чисто технические: «содержание анкеты не было постоянным, а изменялось в соответствии с результатами предыдущего опроса» (с. 83–84), и содержательные: по мнению авторов, «динамичность исследуемой системы столь велика, что мы едва можем говорить о совокупности митингующих в

3. Исключение, как замечает Алексеевский, составляют самодельные плакаты и граффити защитников Дома Советов («Белого дома») в Москве в августе 1991 года.

течение всего межвыборного периода» (с. 100–101), так что «по сути мы имеем дело не с серией повторяющихся акций, а с объединенными „оппозиционным фреймом“ несколькими разными акциями» (с. 83–84). В итоге авторам все-таки удается составить обобщенный «социальный портрет» участника протестных акций в Москве 2011–2012 годов: мужчины (примерно две трети), в основном до 35 лет (больше половины), с высшим образованием (около 70 %), с достаточно высокими и стабильными доходами (с. 90–93, 101). Участники протестов поддерживают лозунг перевыборов, критически относятся к В. Путину и Д. Медведеву и хотели бы их отставки, считают главной проблемой коррупцию и надеются, что митинги могут повлиять на ситуацию в стране (с. 94–96). Полученные результаты мало что добавляют к более ранним «социальным портретам», основанным на опросах Левада-центра (Волков, 2012) и ВЦИОМ (ВЦИОМ, 2012). Статья тем не менее полезна, во-первых, обсуждаемыми в ней методическими сложностями и решениями, значимыми для опросов на больших публичных акциях; во-вторых, как документальное свидетельство об одной из первых независимых групп, проводивших опросы на московских митингах 2011–2012 годов (с. 84–86, 100–101)⁴.

Более оригинальной постановкой задачи отличаются статьи Алексеевского и Архиповой, Сомина и Шевелевой, в которых акцент сделан на ключевой группе участников митингов шестивий: людях с плакатами или другой символикой. По отношению к этой группе известно веберовское понятие «группы-носителя» (*carrier group*), применяемое в том числе и к политическим движениям (Вебер, 1994: 138–181; Alexander, 2012; Титков, 2012), приобретает еще и прямое материальное значение. Ее члены в буквальном смысле «носят на себе», как рабочие муравьи, фрагменты своего языка, нарратива, перенесенные на бумагу (картон, пластик и др.) и поэтому доступные для наблюдения. Алексеевский изучает эту группу на примере участников протеста, державших самодельные плакаты на московском митинге 24 декабря 2011 года, Архипова с соавторами — по фотографиям лозунгов и других знаков протеста, по которым были закодированы пол и возраст стоявших с плакатами людей⁵. В анкетном опросе Алексеевского преобладают мужчины (две трети), в основном молодые (половина) и среднего возраста (треть) (с. 70–71). Подсчеты Архиповой подтверждают, что среди людей с плакатами на больших московских митингах 2011–2012 годов большинство составляли мужчины (60–70 %), однако, по ее данным, самой многочисленной возрастной когортой в декабре 2011 года были люди средних лет (50–60 %), и только в марте 2012 года их доля снижается до 30–40 % при одновременном росте и молодых, и пожилых участников (с. 127–130). Опрос Алексеевского показал, что большинство в его выборке составили работающие люди (три четверти опрошенных) с высшим образованием (с. 70–71).

4. Составители сборника указывают, что М. Головина и Е. Семирханова были, возможно, единственной группой, проводившей анкетный опрос на митинге на Болотной площади 10 декабря 2011 года (с. 8).

5. Базу Алексеевского составили 52 интервью с шестью десятками участников митинга 24 декабря (с. 69–70), базу Архиповой — 832 (из общих 1538) единицы плакатных лозунгов, для которых оказалось возможным закодировать пол и возраст (с. 127–128).

Понять мобилизацию: от «группы-носителя» к медиасреде

Связка между участниками митинга и их текстами, заданная в статьях Алексеевского и Архиповой с коллегами, подсказывает, казалось бы, следующий шаг исследования: понять мотивы участия в протесте, механизмы мобилизации, исходя из анализа текстов, представленных на плакатах. Такой ход действительно был реализован не авторами «Антропологии протеста», а их риторическими адресатами, «социологами и политологами», и уже в другом исследовательском проекте. Социолог Н. Савельева и политолог М. Завадская (Завадская, Савельева, 2015) проверили на массиве митинговых лозунгов ключевые гипотезы своего исследования, выдвинутые по итогам интервью с участниками протестов. Предполагалось, что для массовых протестов 2011 года основным мобиливающим событием послужили именно прошедшие думские выборы и «двигателем» политизации стало чувство личного оскорбления у активных граждан, воспринимавших выборы как свое «личное дело». Для проверки гипотез лозунги протестных митингов 2011–2012 годов были отнесены к одному из семи мобилирующих фреймов («честные выборы» — недовольство фальсификациями на выборах, «оппозиционный» — недовольство существующим режимом, «правовой» — требования соблюдать законы и права граждан, «социальные требования» и др.) и закодированы по субъекту высказывания: «я», «мы» или безличные⁶. Расчеты показали, что в декабре 2011 года преобладали лозунги, относящиеся к фрейму «честных выборов», которые в январе-марте 2012 года уступили место «оппозиционному фрейму» и социальным требованиям, и лозунги от первого лица («я-обращения») статистически связаны с использованием фрейма «честных выборов» и с интенсивностью протеста (количеством сообщений СМИ о протестах) в определенный период (Завадская, Савельева, 2015: 243–261).

Авторы «Антропологии протеста» выбрали другое направление анализа: проследить, «как устроен оппозиционный дискурс... как он начинает функционировать в Интернете, чтобы потом оказаться... на протестном плакате» (с. 11). Решает эту задачу прежде всего исследование Д. Радченко, Д. Писаревской и И. Ксенофоновой⁷. Изучая «механизмы перехода от выражения недовольства в Интернете к реальным политическим действиям (в частности, к митингам)» (с. 18), авторы устанавливают, как в первую неделю после выборов (4–10 декабря 2011 года) менялись темы и жанровые особенности ключевых текстов, повлиявших на формирование уличного протеста. В первые дни после выборов популярностью пользовались свидетельства наблюдателей с избирательных участков. Тексты этого

6. Фреймы в исследовании Завадской и Савельевой понимаются в смысле Д. Сноу и Р. Бенфорда (Snow et al., 1986; Сноу и др., 2013) как схемы интерпретации ситуации, связывающих личное недовольство людей с коллективной повесткой какого-либо движения или партии. Источником для анализа лозунгов стала собранная М. Габовичем база «Protest Events Photos and Slogans (PEPS)», включавшая на момент расчетов около 6 тыс. лозунгов протестных акций 2011–2012 годов в разных регионах России.

7. См. также более раннюю версию (Радченко и др., 2012) с анализом сюжетов декабря 2011 года.

жанра отличали, во-первых, детальное изложение с множеством документов, фотографий, видеозаписей, подтверждавших достоверность сюжета; во-вторых, эффект «саспенса», ожидания развязки, создававшийся технологией описанных нарушений: большая их часть приходилась на последний этап, при подсчете голов или при занесении результатов в протоколы и компьютерную базу; в-третьих, отсутствие в историях развязки, эффект «незавершенной ситуации», в которой нарушения закона остаются безнаказанными, побуждает читателей вмешаться, сделать что-нибудь для восстановления справедливости (с. 23–25)⁸. 6–7 декабря распространяются фотоотчеты, видеотрансляции и впечатления очевидцев с первых протестных митингов, рассказы о задержаниях, судебные репортажи, слухи — весь этот набор текстов создавал эмоциональный фон, ориентировал людей на противостояние власти. 8–10 декабря на первый план выходят темы «почему надо идти на митинг», «советы митингующим» и «осмысление политической ситуации», в которых подчеркивался мирный характер предстоящего митинга и гражданский, а не оппозиционный, характер протестного движения. Такие тезисы сделали протесты максимально инклюзивными, позволили десяткам тысяч людей идентифицировать себя с протестом (с. 25–28). После митинга на Болотной площади в декабре 2011 года протестное сообщество осознает и обсуждает само себя. В этот период, по данным «Пульса блогосферы» Яндексса, ключевые слова, связанные с протестной деятельностью (митинг, белая лента, наблюдатель и др.), становятся сопоставимыми по популярности с ключевыми словами, описывающими действия власти (выборы, фальсификация и др.). К концу 2011 года протестная активность оказывается даже более заметной в интернет-сети темой, чем вызвавшие их нарушения на выборах (с. 33–36).

Самое большое отличие между исследованием Завадской и Савельевой и анализом Радченко с коллегами состоит в том, что первое обращает внимание на тексты, в которых выражены уже сформированные представления и эмоции участников, второй — на тексты, которые, предположительно, эти представления и эмоции формируют. Большое значение приобретает анализ текстовых приемов, с помощью которых достигается эффект вовлеченности в события. Это критически важная точка в теме, которая, с одной стороны, интересна политическим социологам, изучающим протестные акции 2011–2012 года (Матвеев, 2012), с другой — представляет собой подходящее поле для гуманитарных методов, будь то филологические (например, «эффект реальности» Р. Барта [Барт, 1994]), эстетические, философские, историографические и др. Тот же сюжет оказывается ключевым для традиции социологии и социальной антропологии, наследующей дюркгеймовский анализ ритуалов в «Элементарных формах религиозной жизни». «Дюркгеймовские эффекты», создающие чувство причастности к сообществу, рассматриваются прежде всего для ситуаций телесного соприсутствия, «лицом к лицу» (Гофман, 2014: 182–184), но такого же рода эффекты проявляются и в переживаниях, создаваемых

8. Образцы жанра «историй наблюдателей» были затем собраны в сборнике «Разгневанные наблюдатели» (Берлянд, 2012).

современными медиа⁹. Описанные Радченко с соавторами эффекты воздействия, заданные прежде всего структурой текстов наблюдателей на избирательных участках, — удачный, как мне кажется, пример анализа, показывающий, как может развиваться это направление.

Формирующий эффект текстов и/или медийных событий должен быть на следующем шаге подтвержден сравнением текстов медийной среды с текстами лозунгов, вынесенными на публичную акцию. Исследование Радченко с коллегами предлагает пример такого сравнения, не безупречный, но важный как прецедент. Авторы прослеживают связь между циркулирующей идеей в Интернете и уличным протестом, сопоставляя тематику политических анекдотов, распространявшихся в социальных сетях (Твиттер, «ВКонтакте», Живой Журнал) в первую неделю после выборов, и содержанием лозунгов на первом большом митинге в Москве на Болотной площади 10 декабря 2011 года. По их подсчетам, в «послевыборных» анекдотах 5-10 декабря 2011 года преобладали темы фальсификации выборов и искажения информации (33 % текстов), противопоставления власти и народа, включая избиения и задержания на митингах (16 %), и используемых властью и оппозицией интернет-технологий (11 %). В самых популярных в соцсетях плакатах митинга на Болотной площади 10 декабря 2011 года пропорции были похожими: тема фальсификаций — примерно на половине плакатов, тема противопоставления власти и народа — на 16 % плакатов (с. 32–33). Частота упоминания Путина (12 % плакатов) и Чурова (15 % плакатов, 11 % анекдотов) также оказалась примерно равной в обеих подборках (с. 32–33). Отсюда вывод: «люди склонны пересказывать и делать репосты анекдотов, содержащих идеи, с которыми они потом готовы выйти на улицу» (с. 32–33).

Слабое место в анализе Радченко и соавторов состоит в том, что для сравнения с корпусом анекдотов были взяты плакаты Болотной площади, «наиболее часто публикуемые» в соцсетях (с. 32), то есть подборка, которая может отражать не столько реальный состав плакатов на митинге, сколько вкусы интернет-пользователей. Подсчеты авторов, что интернет-мемы («Света из Иваново», «Путин — краб», *angry face* и др.) цитируются более чем в четверти плакатов из подборки, косвенно подтверждают догадку об искажении: привычные сюжеты и образы, тем более смешные, могли попасть в интернет-подборку с большей вероятностью, чем незнакомые и скучные. Несмотря на этот сбой, идея сравнить, в какой мере интернет-анекдоты и уличные плакаты выражают один и тот же набор идей, выглядит многообещающей. Кроме чисто технического довода, что исходную гипотезу можно проверить на данных базы Архиповой (с. 125–127) и выборки Алексеевского (с. 69–70)¹⁰, заслуживает внимания более общий содержательный вопрос, постав-

9. См., например, проанализированный Дж. Александером эффект телевизионных трансляций сенатских слушаний по «Уотергейтскому делу» (Александер, 2013: 431–449).

10. В анкетном опросе Алексеевского десятая часть опрошенных заявила, что они заимствовали идею плаката из Интернета или СМИ, еще три четверти сказали, что придумали сюжет плаката сами (с. 71–72). Мне кажется, интересно было бы сравнить такую самооценку с результатами филологического анализа, который для той же выборки текстов выяснил бы предполагаемые влияния (сюжетные,

ленный в исследовании Радченко и коллег: в каких случаях люди выражают свои эмоции или мысли в виде сетевого анекдота и при каких обстоятельствах возможен их «перевод» в формат митингового высказывания, — или, как формулируют авторы, переход к «реальным политическим действиям» (с. 18).

Стоит учесть также сюжеты, в которых авторы «Антропологии протеста» обращаются к проблематике «группы-носителя». Анкетный опрос Алексеевского на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года проверяет популярную тогда идею об особой роли в протесте «креативного класса». Опрос гипотезу не подтвердил: ни люди творческих профессий (1/10), ни студенты (14%), придававшие «карнавальный» характер протестам в Сербии, не составили в выборке критически значимую часть. Одинаковая доля с людьми творческих профессий (1/10) пришлось на научно-технических работников; некоторые из них рассказали в интервью, как при изготовлении баннеров и растяжек им помогли профессиональные навыки черчения (с. 70–71). Громов предлагает на уровне умозрительной гипотезы объяснение, почему люди среднего возраста составляли большинство на первой стадии протеста в декабре 2011 года, а с марта 2012 года стали отходить от движения. Дело, по его версии, в том, что люди среднего возраста включились в протест, руководствуясь прагматическими причинами («когда была возможность повлиять на предстоящие президентские выборы, они участвовали в протестных акциях, а после выборов потеряли к этому интерес»), а молодежи, наоборот, интересны протестные акции сами по себе (с. 46). Такая гипотеза на первый взгляд не находит очевидного подтверждения и даже, наверно, противоречит другим данным: интенсивные эмоции, о которых пишут другие авторы сборника, чувство личного оскорбления, описанное Завадской и Савельевой, плохо сочетается с рациональными прагматическими мотивами, которые предполагает Громов. Тем не менее гипотеза тоже заслуживает проверки на имеющихся полевых материалах (лозунги, фотографии, интервью и др.).

Рождение самодельных плакатов

Подходы, отсылающие к особенностям медийной среды и характеру «группы-носителя», конкурируют друг с другом при поиске объяснений самодельных плакатов, с которыми приходили многие участники митингов 2011–2012 годов. Гипотезу, выводящую распространенность индивидуальной самопрезентации на протестных митингах с влиянием социальных сетей, в которых «у пользователей появилась привычка к самопрезентации на собственных аккаунтах», предлагает Громов (с. 50–51). Его тезис требует уточнения в том, что сама по себе «привычка к самопрезентации», «установка на индивидуальную самопрезентацию» может считаться константой социального поведения, сложившейся задолго до интернет-сетей, — по крайней мере, думать так побуждает социологический здравый смысл,

стилистические и др.) разных медиа. Количественная оценка таких влияний, возможно, была бы значительно больше «анкетной» одной десятой.

воспитанный на «Презентации себя» И. Гофмана (Гофман, 2000). Речь может идти, скорее, о конкретных технических навыках и/или культурных формах, в том числе упоминаемая Громовым «привычка... к созданию визуальных объектов, текстов, флэшмобов и др.» (с. 50–51). Идея о влиянии социальных сетей на формы выражения протеста типична для литературы о митингах 2011–2012 годов¹¹. Дело за эмпирическими подтверждениями. Косвенным доводом в пользу своего тезиса Громов приводит тот факт, что самодельных плакатов в Москве в декабре 2011 года было заметно больше, чем на киевском Майдане 2004 года, — факт важный, но все-таки не решающий.

Альтернативное объяснение, что «значительную часть участников митингов составили яркие творческие люди, которые не желали быть частью обезличенной толпы» и для них самодельные плакаты стали «способом индивидуального самовыражения» (с. 78–80), выглядит неубедительно. Мы, во-первых, не объясняем, откуда происходит «яркий творческий характер» участников митингов (возможно, из тех же социальных сетей), во-вторых, не знаем других подтверждений их «творческого» и «индивидуального» характера, кроме того, что они пришли на митинг с самодельным плакатом, то есть логика такого объяснения оказывается опасно похожей на круговое доказательство. В защиту версии Алексеевского можно заметить, что она была выдвинута лишь после того, как в анкетном опросе не подтвердились две другие гипотезы: о преобладании среди протестующих с плакатами людей творческих профессий и о распространенности практики копирования готовых плакатов из Интернета. Более важным для развития темы выглядят данные опроса Алексеевского о практике изготовления плакатов: три четверти опрошенных сказали, что сами придумали сюжет плаката; почти три четверти делали плакат впервые; десятая часть подготовила плакат к митингу 10 декабря на Болотной площади; половина сделала плакат в день митинга, треть накануне. Иными словами, для многих опрошенных изготовление плаката было импульсивным актом, совершенным в последний момент: «Ну, экспромт просто» (с. 71–72). Для понимания, как сработали культурные механизмы протеста 2011–2012 годов, эти детали, говорящие, скорее всего, об импульсивном характере действия, вызванном сильными коллективными аффектами, могут оказаться полезными.

Изучение Интернета как среды для протестной мобилизации выглядит в целом одним из самых динамичных направлений в исследовании протестов 2010-х годов в России. Вводная статья «Антропологии протеста» называет «общим местом» утверждение, что «потенциальные участники смогли консолидировать свои действия через социальные сети» (с. 9). Обзор работ на эту тему (Алюков, 2015; Вань-

11. Несколько выделяются из общего ряда таких текстов рассуждения Куренного, который связывает «индивидуализированную театрализацию» протестов 2011–2012 годов не только с влиянием социальных сетей и фото- и видеокамер, но и с «российским дефицитом городских публичных пространств», которые создавали бы возможность для самовыражения повседневного, рутинизированного, а также в целом с современной культурой с ее «тенденцией к индивидуализации и фрагментации», которая тоже стимулирует «потребность в коллективном эмоциональном переживании» (Куренной, 2012: 32–36). Сложность здесь, как и в разбираемых статьях, в эмпирическом подтверждении.

ке, Ксенофонтова, Тартаковская, 2014; Ксенофонтова, 2013; Никипорец-Такигава, 2012; Никипорец-Токигава, Паин, 2016; Lonkila, 2012; Reuter, Szakonyi, 2015 и др.) заслуживает отдельной публикации. Отметим связанный с этой областью важный теоретический поворот: акцент на исследовании медийной среды предполагает уход от анализа в логике «группы-носителя», чье участие в протесте объясняется социальными, демографическими или экономическими характеристиками этой группы. Акцент на медийную среду уводит от «социологии общества», анализа стратификации, структурных противоречий к другой социологической традиции, ведущей отсчет от предложенного Г. Тардом понятия «публика», т. е. объединения индивидуумов, «физически разделенных и соединенных чисто умственной связью (например, общим кругом чтения)» (Тард, 1902: 1). Отношение между «публикой» и «толпой», физическим скоплением массы людей в одном месте в логике Тарда состоит в том, что публика может быть определена как «толпа в возможности», при этом каждая публика характеризуется «природой той толпы, которую она порождает» (Тард, 1902: 11, 24). Читая сегодняшние исследования глазами культур-социологов, считающих себя продолжателями традиции Дюркгейма (Александр, 2013: 65–67, 88–90; Куракин, 2010), стоит обратить внимание, как в исследованиях политической мобилизации набирают силу идеи, когда-то бывшие основной альтернативой дюркгеймовской линии в социологии.

«Карнавал» как лингвистическая задача

«Смеховой» характер значительной части плакатов — еще один нерешенный вопрос в изучении протестной волны 2011–2012 годов, где вклад исследователей-гуманитариев может оказаться существенным. Привычные по другим публикациям слова о «карнавальном» характере протеста, разумеется, проблему не решают. Указания на характерный для многих участников опыт интернет-пользователя, специфический сетевой юмор, следы которого обнаруживаются в митинговых плакатах, тоже недостаточны. Такие наблюдения важны, но они не объясняют, почему люди обращаются именно к этому пласту своего опыта (тем более что протестное остроумие лишь частично связано с интернет-средой, не менее важен, к примеру, «общий запас» песен и кинофильмов).

Заслуживает внимания вывод из опроса Алексеевского, согласно которому участники, приходящие на митинг со «смешными» плакатами, заявляют, что хотели «с юмором поговорить о серьезных вещах», «больше иронии, но по делу». Даже митингующие с абсурдными для внешних наблюдателей плакатами объясняли их актуальный политический смысл: к примеру, информант с плакатом «Ищу жену» сообщил, что выражает таким образом идею свободы выбора, протест против безальтернативности (с. 74–76). Отсюда следует, как резюмирует Алексеевский, что «в целом авторы серьезнее относятся к митингам и идее общественного протеста, чем может показаться на первый взгляд» (с. 76). Такое предположение, кажется, только усиливает парадокс, обозначенный тем же М. Алексеевским. Участники

протеста хотят заявить о серьезных проблемах, но плакатам, которые должны выражать их цели и требования, придают «смешной» характер, увеличивая риск непонимания и несерьезного отношения к себе (с. 63–64) — смысл такого действия выглядит по крайней мере неочевидным.

Подход «лингвистической» части рецензируемого сборника в самом общем виде может быть выражен тезисом Архиповой: «Если „карнавализация“ имела место, то хочется понять, как она устроена, в чем выражается, какие стороны этого процесса можно увидеть сквозь призму языка» (с. 141). Такой подход позволяет прежде всего хотя бы примерно оценить долю «смеховой» составляющей на плакатах 2011–2012 годов. Вопрос этот, как указывает Архипова, вызывал у ее коллег большие споры, доля «юмористических» плакатов оценивалась от 40 до 79 % (там же)¹². Подход Архиповой с соавторами состоит в том, чтобы отойти от субъективных представлений о «смешном» и «юмористическом» и считать долю случаев с языковой игрой, словесными или образными средствами, провоцирующими комический эффект (там же). Такая оценка скромнее остальных. Процент языковых игр был максимальным на митингах на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года (25 %) и Болотной площади 4 февраля 2012 года (30 %) и минимальным (5 %) на «грустном» митинге на Пушкинской площади 5 марта 2012 года, сразу после президентских выборов. В остальных случаях (Болотная площадь 10 декабря 2011 года, Новый Арбат 10 марта 2012 года) доля плакатов с языковыми играми составляла 10–15 %, а в среднем по массиву — 19 % (с. 141–145)¹³.

Л. Федорова и А. Архипова объясняют, почему участники протестов 2011–2012 годов выбирали «смеховые» формы выражения. По мнению Федоровой, в ходе демонстрации, в том числе за счет ее «карнавального» характера, ломается привычная иерархическая модель и складывается альтернативная картина солидарного общения равных между собой людей, обращающихся к власти тоже на равных (с. 247)¹⁴. Архипова предполагает, что языковые игры и цитаты, вернее, их распознавание и отгадывание, служат одним из критериев коммуникативной удачи во взаимодействии между «автором» лозунга и его адресатами, а также источником «радости понимания» от правильного разгадывания языковой игры (с. 141–145). Эти объяснения указывают на два направления коммуникации: «протестующие — власть» и «протестующие — протестующие», которые здесь, скорее, не конкурируют, а дополняют друг друга. В классической фрейдовской теории остроумия предположения Федоровой и Архиповой соответствуют тенденциозная и техническая составляющие остроумия и удовольствия от нее (Фрейд, 1991: 265–272). Тенденциозные остроумия в схеме Фрейда тоже предполагают трехстороннее отно-

12. В выборке Алексеевского доля «смешных» плакатов, по оценке автора, составила 47 % (с. 74).

13. По тем же данным, плакаты с цитатами составили 37 % от выборки, плакаты с цитатами и языковыми играми одновременно — около 7,5 % (с. 143–144).

14. В модели М. Дуглас, более социологической по жанру, речь идет о шутке как вызове доминирующей социальной структуре (Дуглас, 2015: 203).

шение: автор шутки, объект, на который направлен агрессивный импульс, и трети лица, призываемые автором в союзники (там же).

Отдельные статьи сборника посвящены конкретным примерам языковых игр: шуткам протестующих по темам «бандерлогов» (Ахметова, 2014), «презервативов» (Матлин, 2014), «хомячков и пингвинов» (Суханова, 2014). Все три разбираемых примера можно отнести к фрейдовскому типу «острого ответа» (Retourkutsche), представляющего собой реакцию на обидную реплику собеседника, имеющего, как правило, более высокий статус (Фрейд, 1991: 237). Все случаи действительно объединяет типологически похожая ситуация нанесенного протестующим публичного оскорбления: от первого лица режима (телевизионный «Разговор с Владимиром Путиным» 15 декабря 2011) и оскорбительной клички, данной политическими противниками («сетевые хомячки») и неосторожного высказывания о своих сторонниках одного из лидеров оппозиции Б. Немцова. Механизмы самоутверждения («хомяк расправил плечи»), выстраивания отношений «мы — они» («бандерлоги — Каа»), ответной символической агрессии в целом вписываются в логику фрейдовского «острого ответа». Объяснение, сводящее «смеховые» лозунги протеста 2011–2012 годов к «острому ответу», недостаточно хотя бы потому, что большое количество шуток не относилось напрямую к этому типу, в частности те, объектом которых выступали председатель Центризбиркома В. Чуров или результаты думских выборов декабря 2011 года¹⁵. Возможно, однако, что и здесь есть параллели между характером митингового остроумия и описанным Завадской и Савельевой восприятием нарушений на выборах как «личного оскорбления». Значимой для последующего анализа может стать также параллель с киевским Майданом 2004 года, где большинство лозунгов имело серьезный характер, но на плакатах, направленных против премьер-министра В. Януковича, главного раздражителя для митингующих, появлялись ирония и сарказм (с. 65–66).

Идеи авторов сборника относительно протестного остроумия 2011–2012 годов только наметили направление для более детального анализа. В последующем предстоит, в частности, выяснить, с какими темами и проблемами связаны «смеховые» плакаты, а какие, наоборот, чаще выражаются «серьезными» формами; существует ли связь между типом социально-политической проблемы, затронутой в «смеховых» текстах, и использованной техникой языковой игры; понять роль техники остроты, ее социального или культурного контекста для митинговых плакатов, которые стали в этот период популярными мемами в социальных сетях Web 2.0. Связь между массовыми протестами и смехом — перспективная, как мне кажется, тема политической социологии, которая пока еще недостаточно изучена.

15. В статье Архиповой с соавторами выделены пять фреймов (тематических сюжетов), связанных с В. Чуровым и результатами выборов: «Чуров — волшебник», «Борода Чурова», «146 %», «Арифметика Чурова», «Гауссиана» (с. 133–134).

Игрушки на асфальте: локальный контекст высказываний

Социальный контекст протестных высказываний, его влияние на их форму и содержание — тема последнего, «этнографического», раздела сборника («От общегражданского к локальному протесту»). Статьи по трем сюжетам раздела — «наномитингам» (А. Астапова), лагерю «Оккупай Абай» (Ю. Ляхова, В. Лурье), митингам в защиту больницы в Петербурге (В. Лурье) — по отдельности представляли бы обычные описания случаев. Однако в связке с остальным сборником, особенно его «лингвистической» частью, они обнаруживают сквозную интригу: как протестные высказывания приспосабливаются к особым условиям или к локальной проблематике¹⁶. Тезис предыдущего раздела, сводящий митинговый «карнавал» к языковой составляющей, авторы-этнографы дополняют вниманием к внешнему контексту высказываний.

Митинги игрушек «лего», как пишет Астапова, еще до волны протестов в России встречались, например, в американском движении Occupy Wall Street осенью 2011 года. В лагере протестующих в Зукотти-парке в Нью-Йорке была создана небольшая выставка игрушек «лего» с плакатами «We are 99 %», «Occupy the Lego Land» и др., которые повторяли или обыгрывали главные лозунги движения Occupy (с. 303). В России «наномитинги», составленные из мелких игрушек «лего» и «киндерсюрприз», возникли в другой среде: в городах, где из-за небольшого количества жителей и/или сложных климатических условий не могли собраться большие протестные акции. Город Апатиты Мурманской области, где в декабре 2011 года был устроен первый «наномитинг», отвечает сразу обоим критериям (с. 303–304)¹⁷. Судя по описанию Астаповой, «наномитинги», возникшие как «сравнительно безопасный вызов власти», «имитация того же митинга, но с дополнительной иронией над властями» (с. 304), не только повторяют лозунги «большого» протестного движения, но и создают свои собственные, подходящие для игрушечного «реквизита» способы выражения: лозунги типа «Мы не игрушки!» и «Маленький — не значит безголосый» обыгрывают игрушечный характер или мелкий размер «протестующих»; композиции, в которых, например, плакат «Эх, прокачу 04.03.2012» держит игрушечная лошадка, или мягкая игрушка с персонажем мультфильма стоит с лозунгом «Прощай, Ледниковый период!», используют

16. Рецензент «Нового литературного обозрения» М. Кулаев справедливо отмечает, что единственным случаем «действительно локального» протеста из всех трех описанных можно считать только движение против закрытия больницы в Петербурге, тогда как «Оккупай Абай» и «наномитинги» придерживались общей протестной повестки без перехода к более узким локальным проблемам (Кулаев, 2015). При анализе случая с петербургской больницей тоже прослеживается, скорее, обратная логика, «от локального протеста к общегражданскому»: местная проблема, которая «выглядела неполитической» (или «могла бы выглядеть... неполитической»), оказывается в итоге привязанной к общей протестной повестке (с. 324–326). Тем не менее «локальный», в другом смысле, характер всех трех описанных случаев все-таки обнаруживается в своеобразии локальных условий, к которым протестующим надо было приспособиться, найти свой собственный, адекватный ситуации способ выражения.

17. Количественную оценку влияния факторов концентрации населения и холодного климата на протестную активность см.: Соболев, 2013.

культурные смыслы, связанные с этими игрушками (с. 295–296). «Митинг игрушек» представляет собой использование литоты, риторического тропа нарочитого преуменьшения или смягчения (с. 304), по такому же принципу лозунги «большого» протестного движения в «наномитингах» иногда переводятся в «игрушечный» регистр языка: «Жульчики и ворчики, пять минут на сборчики» (с. 296). Механизмы такого рода игровых преобразований могут быть полезными, как мне кажется, и для понимания высказываний «больших» протестных акций. Автор статьи лишь в минимальной степени использует такую возможность, но для будущих исследований она остается открытой.

Пример акции «Оккупай Абай» в Москве в мае 2012 года важен для Ляховой и Лурье прежде всего тем, как «в результате запрета на привычные способы и атрибуты протеста... начался активный поиск новых форм» (с. 318)¹⁸. В ситуации, когда полиция не позволяла участникам лагеря держать плакаты и скандировать лозунги, ответом стало «перемещение протестных форм в горизонтальную плоскость (на землю)»: протестные лозунги стали писать мелом на асфальте. Кроме того, способом выражения протеста стали одежда и головные уборы, появились элементы «наномитинга» мягких игрушек (с. 315–316). Другой важный сюжет статьи, к сожалению, лишь намеченный в самом общем виде, состоит в том, что за время существования лагеря на Чистых прудах (7–16 мая 2012 года) «больше внимания стало уделяться... попыткам договориться друг с другом, а не с властью», поэтому протестные надписи на асфальте «исчезли сами собой, без запрета и принуждения: для новой формы протеста они оказались неактуальны» (с. 318).

В митингах в Петербурге января-февраля 2013 года за сохранение больницы с детским онкологическим отделением (городские власти планировали отдать ее переезжающим в Петербург судьям Верховного суда) Лурье анализирует прежде всего «коллективный текст, который создается авторами плакатов» (с. 326), точнее, упорядочивает основные составляющие, из которых складывается этот «коллективный текст». Полторы сотни плакатов, зафиксированных на двух митингах в защиту больницы, автор делит на плакаты против переезда судей, «составленные без эмоций и инвектив», «эмоционально насыщенные», и плакаты, в которых «больничная проблематика увязывается с другими протестными темами и общей ситуацией в городе и стране» (с. 324). Интерес вызывают в основном плакаты и лозунги последнего типа: как на сцене повторного митинга в феврале 2013 года размещается лозунг петербургских регионалистов «Наш город — нам решать»,

18. Рецензент в «Новом литературном обозрении», посчитавший, что этот тезис относится к «макромасштабу» всей страны, ответил на него понятными в этом случае возражениями: 1) «запрет привычных форм» в смысле жестких запретительных поправок в законодательство о митингах в мае 2012 года еще не произошел и 2) «Оккупай Абай» представляет собой не новую форму, а «механический перенос опыта других стран» (Кулаев, 2015). Авторы статьи, скорее всего, имели в виду другое: локальные запреты, сложившиеся на площадке лагеря, как, например, в следующем эпизоде из полевого дневника Лурье: «14 мая... Некто вывесил плакат «Вся власть Учредительному собранию!». Сперва его просили убрать участники «Оккупай Абай» (под предлогом того, что им разрешено здесь находиться без лозунгов), потом — милиционер» (с. 313).

как в текстах плакатов выстраивается связь с актуальными в тот момент общеполитическими темами («закон Димы Яковлева», суд над Pussy Riot), проблемами градозащиты, федерализма и др. — притом что подобных плакатов было, по оценке автора, «небольшое количество» и приносили их в основном «постоянные протестанты», присоединившиеся в какой-то момент к инициативе врачей и родителей онкобольных детей (с. 324–326). Определение/переопределение локальной ситуации и личных поводов для недовольства в их привязке к общим проблемам и универсальным ценностям — один из ключевых сюжетов для изучающих мобилизацию новых участников в общественные движения (Сноу и др., 2013; Клеман и др., 2010: 285–289, 313–534). Проблема в том, что «коллективный текст» в итоге так и остался, скорее, броской метафорой, техника реконструкции общего коллективного нарратива из отдельных лозунговых высказываний никем еще из авторов сборника не предложена.

Коммуникация большая и малая

Сквозным для исследований сборника оказывается определение протестного движения как *коммуникации*, в которой первичными единицами анализа выступают *высказывания* участников протеста. «Как, с кем и о чем... разговаривают протестующие?» (с. 125) — выяснение этого становится общей задачей «лингвистической» части сборника¹⁹.

Идея митинга как коммуникации работает прежде всего благодаря множеству плакатов типа «Чуров, покатай на карусели», «Жулик! Не воруй!», «Я не верю вашим сказкам» и т. п., явно подходящих для анализа в коммуникативной логике «адресат — адресант»²⁰. Из ряда текстов, в которых модель «коммуникации» принята как самоочевидная, выделяется статья Л. Федоровой. Она считает, что «митинг не является ситуацией коммуникации с властью, поскольку нет установленного контакта: акции митингующих... не получают непосредственного отклика целевого адресата, власти», что имеет место лишь «поиск контакта, попытка коммуникации», или, точнее, «ситуации демонстрации (выставления напоказ, привлечения всеобщего внимания), драматизм которой в том, что мы не знаем, будет ли получено наше сообщение и... будет ли на него ответ» (с. 245–246). Можно предположить, что для того, чтобы рассматривать что-то в качестве события коммуникации, достаточно только убежденности адресанта. Такова, например, коммуникация с сакральным миром в ритуале жертвоприношения, как его описывают М. Мосс (Мосс, 2000) и Э. Лич (Лич, 2000: 99–114)²¹. Аргументы Федоровой другие. Во-первых, участники протеста рассчитывают, что «послание, направлен-

19. В общую логику изучения коммуникации меньше других вписываются статьи И. Седаковой и группы филологов Петербургского университета (Ягунова и др.), в которых единицами анализа выступают не целые высказывания, а отдельные ключевые слова.

20. Примеры из альбома «Азбука протеста» (Азбука протеста, 2012: 56–57, 149, 153).

21. Аналогию между митинговой коммуникацией с правительством и коммуникацией в ритуале можно считать обоснованной хотя бы в том отношении, что политика оказывается похожей на «са-

ное адресату, сможет его достичь при поддержке всех, кто его поддержит», если послание подхватят сторонники, свидетели, журналисты, все, кто будет распространять его во внешней среде (с. 246). Во-вторых, митинг это не только «попытки установления контакта с властью», но и коммуникация иного масштаба: между оратором на трибуне и толпой, между участниками митинга, между митингующими и полицией, обращение митингующих «вообще ко всем» с выражением собственной позиции (с. 247–248).

Два измерения митинговой коммуникации — с властью и с другими участниками — при количественном анализе протестных лозунгов 2011–2012 годов оказываются относительно устойчивыми: доля лозунгов, обращенных к власти, колеблется вокруг 20 %, а доля лозунгов, обращенных к другим протестующим, меняется в диапазоне от 5 до 10 % (с. 145–146). Авторы называют их, соответственно, «глобальным» и «локальным» (с. 145). Связи между двумя типами коммуникации — вопрос, который авторы сборника, скорее, заявили на будущее, чем разрешили. Возможно, контекстом такой связи определяется в том числе значимость языковых игр, тенденциозного (агрессивного) остроумия, по своей природе предполагающего два измерения коммуникации. «Пародийный диалог» с властью, который велся в значительной мере в технике фрейдовского *Retourkutsche*, остроумных ответов на властный дискурс, к марту 2012 года стал терять популярность, — вероятно, из-за того, что возможности коммуникации таким способом себя исчерпали (с. 144–147).

Более значимой техникой в «локальной» коммуникации между протестующими становится использование цитат, причем скорее культурных (из песен, кинофильмов и др.), чем политических. Цитаты, как и остроумные высказывания, предполагают удовольствие в случае коммуникативной удачи, если слушатели/зрители правильно распознают цитату, поэтому рост цитат из массовой культуры в текстах плакатов может свидетельствовать о «желании... консолидироваться, организовать вокруг себя собственное дискурсивное поле» (с. 143–147).

В рамках привычных социологических трактовок митинга внимание обращается прежде всего на «локальную» составляющую, отношения между участниками, их роль в создании и поддержании сообщества, в частности через механизмы репрезентации и интенсивные эмоциональные переживания (Ваньке, 2012). Модель двухмерной коммуникации, выводимая из разработок авторов сборника, позволяет, с одной стороны, по-новому взглянуть на способы «сборки» протестного единства, с другой — находить (или, по крайней мере, искать) связь между микро- и макроизмерениями коммуникации, направленными к другим участникам протеста и во внешний мир.

кральную среду», по У. Уорнеру, в той мере, в которой они не поддаются контролю и/или пониманию людей, которые от них зависят, и вызывают глубокую тревогу (Уорнер, 2000: 531–541).

Высказывание в фокусе

Целый ряд исследований в «лингвистической» части сборника приходится на разработку типологий и классификаций, подходящих для изучаемого материала (статьи А. Архиповой, А. Мороза, Л. Федоровой). Рецензент «Нового литературного обозрения» замечает, что классификаторские усилия авторов выглядят «как составление еще одной базы данных» (Кулаев, 2015). Предлагаемые авторами категории явно не ограничиваются такой прикладной задачей и могут помочь в разработке «системы координат», позволяющей понять высказывания публичного протеста. Первая важная задача в этом направлении (которую сами авторы сборника, к сожалению, не выполнили) — разобраться, как соотносятся между собой категории, предложенные разными авторами.

Статья Федоровой предлагает описывать «языковой ландшафт» протестных акций с помощью набора регистров, к которым могут быть сведены высказывания на плакатах: а) патриархальный стиль, имитирующий народную мудрость или детскую простоту («Каравай, каравай, переборы давай!»); б) общий жаргон «рассерженных горожан» с типичной для него негативной экспрессией, сниженной лексикой, фамильярными обращениями («Достала эта власть!»); в) интернет-жаргон «сетевых хомячков» («В Бобруйск, животное!»); г) сказочно-иронический регистр («Царь не настоящий!»); д) «активный политический язык», для которого характерны формулы-определения, призывы к действию, прямые выражения без иронии или языковых игр («Отменить результаты выборов!») (с. 248–258).

Выделяются также формы, которые в сравнении со стиливыми регистрами выглядят менее устойчивыми. Архипова, Сомин и Шевелева называют их «фреймами», понимая под ними содержащуюся в протестном плакате отсылку к прецедентному событию или тексту, к возникающему вокруг них ассоциативному полю (с. 130–131). Фреймы, в отличие от регистров, не являются сплошной универсальной характеристикой: в массиве 2011–2012 годов к определенным фреймам удалось отнести примерно треть всех лозунгов и невербальных знаков (там же). Значительная часть фреймов отличается сравнительно коротким «сроком жизни»: сравнение частотности фреймов на крупных московских акциях декабря 2011 — марта 2012 показывает, что каждый раз «актуальные фреймы превалируют над старыми фреймами и угасают на последующих митингах»: «чуровские» фреймы на Болотной площади 10 декабря, фрейм «Бандерлоги» на проспекте Сахарова 24 декабря, фрейм «Мороз» на Якиманке и Болотной площади 4 февраля, фрейм «Путин плачет» на Пушкинской площади 5 марта (с. 138–139). Фреймы в понимании Архиповой с коллегами могут быть основаны на прецедентном тексте («Партия жуликов и воров», «Мы стали более лучше...»), в том числе на цитатах из дискурса власти («Бандерлоги», «Раб на галерах», «Деньги Госдепа» и др.) или на прецедентном событии (Путин плачет на Манежной площади, амфоры на дне Таманского залива и др.), возможны также сложные промежуточные случаи (с. 133–138).

Нетрудно заметить, что «фреймы» Архиповой представляют собой образование более «летучее», эфемерное, чем регистры в понимании Федоровой. Сложнее разобраться, как соотносятся друг с другом фреймы и регистры: можно ли, в частности, разложить описанные Архиповой фреймы по предложенным в статье Федоровой регистрам, или отношения между ними не такие однозначные? Набор регистров, в свою очередь, тоже, наверно, должен быть упорядочен в понятной общей логике, основой которой могло бы стать, например, классическое — от Аристотеля до Н. Фрая — деление жанров по признаку изображения в них «лучших», «обыкновенных» или «худших» (Аристотель. Поэтика, 1448а). Такой принцип деления кажется подходящим для анализа митинговых высказываний по крайней мере тем, что позволяет увидеть, как протестующие определяют по отношению друг к другу себя и своих предполагаемых адресатов (например, власть).

Статья А. Мороза обращает внимание на «синкретический» характер митинговых высказываний: в них могут сочетаться изображение, действие и другие выразительные средства (с. 149). В зависимости от соотношения текста, изображения и материального «носителя» Мороз выделяет: «эпический плакат» с длинным подробным текстом по конкретной проблеме, своего рода замена устного высказывания; «лозунг», крупный текст из одного предложения с единичным тезисом, нередко дополненный графическими средствами типа выделения крупными буквами (капитализации), цветом, шрифтом, подчеркиванием и т. п.; единство дополняющих друг друга текста и изображения, их взаимные отсылки друг к другу, типологически сходное с «демотиваторами» в современной интернет-культуре; плакаты с изображением без текста, но с прозрачным смыслом, который позволяет их расшифровать, перевести в текст (например, плакат в виде запрещающего дорожного знака с перечеркнутым изображением велосипеда-тендема); плакаты, включенные в сложно устроенный перформанс, где визуальная информация может быть заключена в материальном объекте, на котором сделан плакат (ракетка для бадминтона, воздушный шарик и др.), или в живом носителе плаката, человеке или животном: костюм «робокопа» или Деда Мороза, ходули («Встал с колен»), медицинская маска («Мой голос украли») и т. д. (с. 149–156, 160–161)²².

Типология Мороза затрагивает два измерения: одно — соотношение «слово — образ», другое — связанное с материальными носителем знака. В этом типология Мороза близко связана с предложенной Алексееским (с. 72–73) классификацией способов, которыми был изготовлен плакат. Последний тип Мороза («плакаты, включенные в перформанс») соответствует выделенному Алексееским типу «необычных форм» агитации. Точно так же можно увидеть «избирательное сродство» между типом «эпического плаката» Мороза и типом «человека-транспаранта» с

22. Набор типов Мороза стоит дополнить еще одним: узнаваемые символы с предельно широким, но эмоционально значимым содержанием (белая лента, красная звезда, «имперка» и т. д.) — доминантные символы В. Тернера (Тэрнер, 1983: 36–37) и эвокативные символы У. Уорнера (Уорнер, 2000: 496), которые можно рассматривать как парную оппозицию типу «изображений с прозрачным смыслом» (примерно соответствуют референтным символам Уорнера и энклитическим символам Тернера) и как противоположный «эпическим плакатам» полюс на оси «словесный — образный».

плакатом, висющим на шее. Типы Алексеевского выглядят, скорее, набором обнаруженных в поле эмпирических вариантов, чем готовой классификацией, но выделенные им различия полезны как «кирпичики» для такой классификации. Описанный Алексеевским массив плакатов на митинге 24 декабря 2011 года делится им на «нарисованные вручную» и «созданные в компьютере» (сложные по технике... сделанные в графических редакторах). На московском митинге плакатов этих типов оказалось примерно поровну, в отличие, например, от акции Оссиру Wall Street, где почти все плакаты рисовались вручную (с. 72). Можно предположить, что «плакаты вручную» чаще оказываются текстовыми («эпическими» или «лозунговыми» по Морозу), а компьютерные — с визуальными образами, но зависимость здесь, конечно, не такая очевидная и нуждается в проверке.

Уроки для культурсоциологии

Сравнивая результаты «Антропологии протеста» со схемой, предложенной Дж. Александером для анализа протестного события (Alexander, 2012; Титков, 2012), мы обнаруживаем, что в нашем случае авторы мало интересовались — и, как следствие, мало в них продвинулись, — двумя темами, которые Александер считает ключевыми. По версии Александера, культурная основа (cultural background) политического конфликта упорядочена в виде бинарных моральных классификаций и выражена в нарративах, которые выстраивают эти моральные бинарные оппозиции во временной последовательности, связывают их с конфликтующими сторонами. Интерес к бинарным моральным оппозициям в «Антропологии протеста» обнаруживается в статье И. Седаковой, где анализируется концепт «честного (честности)» в языке оппозиции. До реконструкции нарратива хотя бы одной стороны — протестующих — дело так и не дошло. Из сборника мы узнаем о множестве протестных высказываний, сделанных, например, по модели, заданной фреймом «Бандерлоги» (с. 134–140, 165–196), о персонажах, образах, языковых приемах, — но в конечном счете мало что поймем о содержании нарратива, который существовал у протестующих, упорядочивал для них ситуацию, связывал ее с ключевыми моральными оппозициями.

С другой стороны, в «Антропологии протеста» мы находим даже, может быть, более важное, чем решение, — проблематизацию.

В версии Александера моральные классификации оказываются неустойчивыми за счет социальной укорененности и подвижных интерпретаций (Alexander, 2012: 23–25), однако сами по себе выглядят простыми аккуратными наборами парных оппозиций. Рецензируемые исследования показывают, что моральные классификации могут строиться по правилам языковой игры, с их замещениями, сгущениями, пропусками, неожиданными связями. Представление об этом может дать даже единственный пример понятия «честный (честность)», которое в языке протестующих противопоставляется сразу двум различным значениям — «неправда (ложь)» и «воровство», а при более плотном анализе оказывается зонтичным и

полисемичным термином, включающим в себя большой ряд моральных понятий (с. 233–238)²³.

Реконструкция нарративов протестного движения оказывается на порядок более сложной задачей, если мы учитываем разнообразие регистров и фреймов (в том числе игровых, иронических), сложный и неоднозначный характер между ними. Мы на самом деле даже не знаем, идет ли речь об одном и том же нарративе, по-разному переданном («транспонированном») в разных фреймах и регистрах, или каждый из них служит для передачи какого-то своего сообщения, которые вместе создают более сложную смысловую конструкцию.

Александр сравнивает свое направление с фрейдовским психоанализом, имея в виду, что культуросоциология «являет собой роль социального психоанализа» и ее цель состоит в том, чтобы «вывести на свет социальное бессознательное, открыть людям мыслящие через них мифы» (Александр, 2013: 44). Ставя такую задачу, мы должны быть готовы, что проявления «социального бессознательного» окажется таким же сложным и запутанным, полным сгущениями, замещениями, переносами, всем набором игр подсознания, которое предполагает фрейдовское Оно. Если дело так и обстоит, значит, тем больше поводов для «встречного движения» социологов с одной стороны и специалистов по языку и культуре — с другой. Сборник «Антропология протеста», неровный по качеству материалов и степени их готовности, в целом представляет собой полезный шаг в эту сторону.

Литература

- Александр Дж. (2007). Аналитические дебаты: понимание относительной автономии культуры / Пер. с англ. М. Шуровой под ред. Д. Куракина // Социологическое обозрение. Т. 6. № 1. С. 17–37.
- Александр Дж. (2013). Смыслы социальной жизни: культуросоциология / Пер. с англ. Г. К. Ольховикова. М.: Праксис.
- Алюков М. (2015). От публик к движению: контрпубличные сферы в российском интернет-пространстве перед протестом // Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011–2013 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 181–218.
- Барт Р. (1994). Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, Универс. С. 392–400.
- Берлянд И. (сост.). (2012). Разгневанные наблюдатели: фальсификации парламентских выборов глазами очевидцев. М.: Новое литературное обозрение.

23. Таким же многозначным является понятие «выборы», второй концепт ключевого лозунга «честных выборов», связанный, с одной стороны, с набором доступных политических альтернатив, с другой — с возможностью лично влиять на состав власти, на принимаемые политические решения. Многозначность ключевых понятий протестного языка во многом объясняет, почему содержание лозунга «честных выборов» оказывается «предельно широким», связываемым участниками протеста со множеством актуальных проблем — от коррупции до социального неравенства, т. е. в конечном счете абстрактным «пустым означающим» (Савельева 2013: 74–76).

- Болтански Л., Кьяпелло Э.* (2011) Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение.
- Ваньке А.* (2013) Коллективное тело протеста // Социология власти. № 4. С. 79–103.
- Ваньке А., Ксенофонтова И., Тартаковская И.* (2014). Интернет-коммуникация как средство и условие политической мобилизации в России на примере движения «За честные выборы» // Интеракция. Интервью. Интерпретация. № 7. С. 44–73.
- Вебер М.* (1994 [1925]). Социология религии (типы религиозных сообществ) / Пер. с нем. М. И. Левиной // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист. С. 78–308.
- Волков Д.* (2012). Протестные митинги в России конца 2011 — начала 2012 гг.: запрос на демократизацию политических институтов // Вестник общественного мнения. № 2(112). С. 73–86.
- ВЦИОМ. (2012). Социальный портрет протестного движения в Москве. Пресс-выпуск № 2056. 27 июня. URL: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112859> (дата доступа: 16.05.2016).
- Гофман И.* (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Гофман И.* (2014). Порядок взаимодействия / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социология власти. № 1. С. 163–199.
- Громов Д.* (2012). Уличные акции (молодежный политический активизм в России). М.: Ин-т этнологии антропологии РАН.
- Дуглас М.* (2015). Социальный контроль сознания: некоторые факторы восприятия острот / Пер. с англ. П. Степанцова под ред. И. Напреенко // Социология власти. № 4. С. 195–219.
- Завадская М., Савельева Н.* (2015). «А можно я как-нибудь сам выберу?»: выборы как «личное дело», процедурная легитимность и мобилизация 2011–2012 годов // Политика аполитичных: Гражданские движения в России 2011–2013 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 219–268.
- Клеман К., Мирясова О., Демидов А.* (2010). От обывателей к активистам: зарождающиеся социальные движения в современной России. М.: Три квадрата.
- Ксенофонтова И.* (2013). Новые солидарности в Интернете: от дискуссии к действию (на примере движения «За честные выборы») // Этнографическое обозрение. № 2. С. 109–125.
- Кулаев М.* (2015). Рецензия: Мы не немые: антропология протеста в России 2011–2012 годов (Тарту, 2014) // Неприкосновенный запас. № 6(104). С. 274–278.
- Куракин Д.* (2010). «Сильная программа» в культурсоциологии: историко-социологические, теоретические и методологические комментарии // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 155–178.
- Куренной В.* (2012). Новая городская романтика: политические и культурсоциальные аспекты новейшего российского протеста // Логос. № 2(86). С. 30–45.
- Лич Э.* (2001). *Культура и коммуникации: логика взаимосвязи символов* / Пер. с англ. И. Ж. Кожановской. М.: Восточная литература.

- Лурье В. Ф. (сост.). (2012). Азбука протеста: народный плакат. По материалам 15 митингов и акций в Москве и Санкт-Петербурге 10.12.2011–01.04.2012. М.: ОГИ, Полит.ру.
- Матвеев И. (2012). Эффект подлинности // Русский журнал. 12 марта. URL: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Effekt-podlinnosti> (дата доступа: 16.05.2016).
- Мосс М. (2000). Очерк о природе и функции жертвоприношения // Мосс М. Социальные функции священного / Пер. с фр. И. В. Утехина. СПб.: Евразия. С. 9–104.
- Никипорец-Такигава Г. (2012). О роли Интернета в гражданском протесте: российский опыт в глобальном контексте // Вестник Института Кеннана в России. Вып. 22. С. 13–24. URL: <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/V22.pdf> (дата доступа: 16.05.2016).
- Никипорец-Такигава Г., Паин Э. (сост.). (2016). Интернет и идеологические движения в России. М.: Новое литературное обозрение.
- Радченко Д., Писаревская Д., Ксенофонтова И. (2012). Логика виртуального протеста: неделя после выборов // Антропологический форум. № 16. С. 108–126.
- Савельева Н. (2013). Единство разных: популизм и представительство в движении «За честные выборы» // Социология власти. № 4. С. 58–78.
- Смит Ф. (2008). Рассуждения о гильотине: карательная техника как миф и символ / Пер. с англ. И. Тартаковской под ред. Д. Куракина // Социологическое обозрение. Т. 7. № 2. С. 3–23.
- Сноу Д., Рочфорд Э., Водэн С., Бенфорд Р. (2013). Процессы согласования фрейма, микромобилизация и участие в общественном движении / Пер. с англ. К. Поповой // Социология власти. № 4. С. 187–224.
- Соболев А. (2013). География, технологии и политика: факторы коллективного протеста в России 2011–2012 годов // Социология власти. № 4. С. 104–138.
- Тард Г. (1902). Общественное мнение и толпа / Пер. с фр. под ред. П. С. Когана. СПб.: Тов-во тип. А. И. Мамонтова.
- Тэрнер В. (1983). Символы в африканском ритуале / Пер. с англ. В. А. Бейлиса // Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука. С. 32–46.
- Титков А. (2012). Культурсоциология против фараона: «перформативная революция» в Египте // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 122–130.
- Уорнер У. (2000). Живые и мертвые / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М., СПб.: Университетская книга.
- Федорова Л. (2014). Языковой ландшафт: город и толпа // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 13. Вып. 6. С. 70–80.
- Фрейд З. (1991). Остроумие и его отношение к бессознательному / Пер. с нем. Я. Когана // Фрейд З. «Я» и «Оно»: труды разных лет. Кн. 2. Тбилиси: Мерани. С. 175–406.
- Alexander J. (2012). Performative Revolution in Egypt: An Essay in Cultural Power. London: Bloomsbury Academic.

- Lonkila M. (2012). Russian Protest On- and Offline: The Role of Social Media in the Moscow Opposition Demonstration in December 2011 // FIIA Briefing Paper. № 98. URL: <http://www.fiaa.fi/en/publication/244/> (accessed 16 May 2016).
- Reuter O. J., Szakonyi D. (2015). Online Social Media and Political Awareness in Authoritarian Regimes // British Journal of Political Sciences. Vol. 45. № 1. P. 29–51.
- Snow D., Rochford E., Worden S., Benford R. (1986). Frame Alignment Process, Mobilization, and Movement Participation // American Sociological Review. Vol. 51. № 4. P. 464–481.

Culture Mechanisms in Rebellion: Protest as a Language Game

Alexey Titkov

Associate professor, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration;
Associate professor, National Research University Higher School of Economics
Lecturer and Research Fellow, Moscow School of Social and Economic Sciences
Address: Prospect Vernadskogo 82/5, Moscow, Russian Federation 119571
E-mail: a-titkov@yandex.ru

Students in the humanities (cultural anthropology, philology, etc.) address the problem of cultural mechanisms in social changes. This problem is one of the key topics in the cultural sociology of the collective monography *Anthropology of Protest*, written about the popular protest in Russia in 2011–2012. In the *Anthropology of Protest*, protest rallies are described as a nexus of communication between protesters and the government (macro-level communication), and among protesters (local level communication). The authors focus on the analysis of the protest rallies' slogans and statements as seen on placards and banners. Special issues in the *Anthropology of Protest* are the role of language games in protest statements, and the effect of the local (topographic, etc.) context of small protest rallies on the form and content of protest statement (in the cases of Occupy Abay, toy "nano-rallies", and others). The *Anthropology of Protest* provokes cultural sociologists to more actively discuss the nature of moral classification, as well as the role and impact of the media. The Yale school of cultural sociology realizes moral classification rather in a structuralist style than as a tool of plain binary oppositions. The revised study describes moral classifications as complex non-linear phenomenon with condensation (*Verdichtung*), displacement (*Verschiebung*), or other types of effects which are characteristic of language games. The role of the mass media was described by J. Alexander (in the case of the Watergate affair) through the Durkheimian model of collective ritual. An analysis of the circulation of protest texts and topics in social media incline our attention into an alternate theoretical agenda, that of Tarde's model of inter-personal influence and diffusion.

Keywords: communication, cultural sociology, jokes, language games, media environment, proposition, protest, rally, Russia

References

- Alexander J. (2007) Analiticheskie debaty: ponimanie otnositel'noj avtonomii kul'tury [Analytical Debates: Understanding of the Relative Autonomy of Culture]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 1, pp. 17–37.

- Alexander J. (2013) *Smysly kul'turnoj zhizni: kul'tursociologija* [The Meanings of Social Life: Cultural Sociology], Moscow: Praksis.
- Aliukov M. (2015) *Ot publik k dvizheniju: kontrpublichnye sfery v rossijskom internet-prostranstve pered protestom* [From Publics to Movement: Counter-Public Spheres in Russian Internet before Protest]. *Politika apolitichnyh: grazhdanskije dvizhenija v Rossii 2011–2013 godov* [Politics of Apolitical Ones: Civic Movements in Russia, 2011–2013], Moscow: New Literary Observer, pp. 181–218.
- Barthes R. (1994) *Effekt real'nosti* [The Effect of Reality]. *Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika* [Selected Works: Semiotics. Poetics], Moscow: Progress, pp. 392–400.
- Berlyand I (ed.) (2012) *Razgnevannye nabljudateli: fal'sifikacii parlamentskih vyborov glazami ochevidcev* [Enraged Observers: Parliamentary Elections Fraud in Witness Narratives], Moscow: New Literary Observer.
- Boltanski L., Ciapello E. (2011) *Novyj duh kapitalizma* [The New Spirit of Capitalism], Moscow: New Literary Observer.
- Clement K., Miriasova O., Demidov A. (2010) *Ot obyvatelej k aktivistam: Zarozhdajushhiesja social'nye dvizhenija v sovremennoj Rossii* [From Commoners to Activists: Emerging Social Movements in Contemporary Russia], Moscow: Tri kvadrata.
- Douglas M. (2015) *Social'nyj kontrol' soznaniya: nekotorye faktory vosprijatija ostrot* [The Social Control of Cognition: Some Factors in Joke Perceptions]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 195–219.
- Fedorova L. (2014) *Jazykovej landshaft: gorod i tolpa* [Language Landscape: City and Crowd]. *Novosibirsk State University Bulletin. History and Philology Series*, vol. 13, no 6, pp. 70–80.
- Freud S. (1991) *Ostroumie i ego otnoshenie k bessoznatel'nomu* [Jokes and Their Relation to Unconscious]. "Ja" i "Ono": *trudy raznyh let* [The Ego and the Id: Selected Works, vol. 2], Tbilisi: Merani, pp. 175–406.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo pole.
- Goffman E. (2014) *Porjadok vzaimodejstvija* [Interaction Order]. *Sociology of Power*, no 1, pp. 163–199.
- Gromov D. (2012) *Ulichnye akcii (molodezhnyj politicheskij aktivizm v Rossii)* [Street Actions (Youth Political Activism in Russia)], Moscow: Institut etnologii i antropologii RAN.
- Ksenofontova I. (2013) *Novye solidarnosti v Internete: ot diskussii k dejstvuju (na primere dvizhenija "Za chestnye vybory")* [New Solidarities in Internet: From Discussion to Action (Case of Movement for Fair Elections)]. *Ethnographic Review*, no 2, pp. 109–125.
- Kulaev M. (2015) *Recenzija na: My ne nemy. Antropologija protesta v Rossii 2011–2012 godov* (Tartu, 2014) [Review: We Are Not Mute: Anthropology of Protest in Russia, 2011–2012 (Tartu, 2014)]. *Neprikosnovennyj zapas*, no 6(104), pp. 174–178.
- Kurakin D. (2010) "Sil'naja programma" v kul'tursociologii: istoriko-sociologicheskie, teoreticheskie i metodologicheskie kommentarii ["Strong Program" in Cultural Sociology: Historico-Sociologic, Theoretical, and Methodological Commentaries]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 155–178.
- Kurennoj V. (2012) *Novaja gorodskaja romantika: politicheskie i kul'tursocial'nye aspekty novejshego rossijskogo protesta* [New Urban Romanticism: Political and Cultural Aspects of Recent Russian Protest]. *Logos*, no 2(86), pp. 30–45.
- Lich E. (2001) *Kul'tura i kommunikacii: logika vzaimosvjazi simvolov* [Culture and Communication: The Logic, by Which Symbols Are Connected], Moscow: Vostochnaja literatura.
- Lonkila M. (2012) *Russian Protest On- and Offline: The Role of Social Media in the Moscow Opposition Demonstration in December 2011*. FIIA Briefing Paper, no 98. Available at: <http://www.fiaa.fi/en/publication/244/> (accessed 16 May 2016).
- Lurie V. (ed.) (2012) *Azbuka protesta: narodnyj plakat. Po materialam 15 mitingov i akcij v Moskve i Sankt-Peterburge 10.12.2011–01.04.2012* [ABC of Protest: Popular Placard; by Materials of 15 Protest Rallies and Actions in Moscow and Saint Petersburg], Moscow: OGI, Polit.ru.
- Matveev I. (2012) *Jeffekt podlinnosti* [Authenticity Effect]. *Russian Journal*, May 12. Available at: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Effekt-podlinnosti> (accessed 16 May 2016).

- Mauss M. (2000) Oчерk o prirode i funkcii zhertvoprinoshenija [Sacifice: Its Nature and Function]. *Social'nye funkcii svyashhennogo* [Social Functions of the Sacred], Saint Petersburg: Evrazia, pp. 9–104.
- Nikiporec-Takigava G. (2012) O roli Internetе Interneta v grazhdanskom proteste: rossijskij opyt v global'nom kontekste [On Role of the Internet in Civic Protest: Russian Experience in Global Context]. *Vestnik Instituta Kennana v Rossii*, no 22, pp. 13–24.
- Nikiporec-Takigava G., Pain E. (eds.) (2016) *Internet i ideologicheskie dvizhenija v Rossii* [Internet and Ideological Movements in Russia], Moscow: New Literary Observer.
- Radchenko D., Pisarevskaja D., Ksenofontova I. (2012) Logika virtual'nogo protesta: nedelja posle vyborov [Logic of Virtual Protest: A Week After Elections]. *Anthropological Forum*, no 16, pp. 108–126.
- Reuter O. J., Szakonyi D. (2015) Online Social Media and Political Awareness in Authoritarian Regimes. *British Journal of Political Sciences*, vol. 45, no 1, pp. 29–51.
- Savelieva N. (2013) Edinstvo raznyh: populizm i predstavitel'stvo v dvizhenii "Za chestnye vybory" [Unity of Different Ones: Populism and Representation in the Movement for Fair Elections]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 58–78.
- Smith P. (2008) Rassuzhdenija o gil'otine: karatel'naja tehnika kak mif i simvol [Narrating the Guillotine: Punishment Technique as Myth and Symbol]. *Russian Sociological Review*, vol. 7, no 2, pp. 3–23.
- Snow D., Rochford E., Worden S., Benford R. (2013) Processy soglasovanija frejma, mikromobilizacija i uchastie v obshhestvennom dvizhenii [Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 187–224.
- Sobolev A. (2013) Geografija, tehnologii i politika: faktory kollektivnogo protesta v Rossii 2011–2012 godov [Geography, Technologies and Politics: Factors of Collective Protest in Russia in 2011–2012]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 104–138.
- Tarde G. (1902) *Obshhestvennoe mnenie i tolpa* [The Public and the Crowd], Saint Petersburg: Tipografija Mamontova.
- Titkov A. (2012) Kul'tursociologija protiv faraona: "performativnaja revoljucija" v Egipte [Cultural Sociology Against the Pharaoh: "Performative Revolution" in Egypt]. *Russian Sociological Review*, vol. 11, no 2, pp. 122–130.
- Turner V. (1983) Simvol v afrikanskom rituale [Symbols in African Ritual]. *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka, pp. 32–46.
- Vanke A. (2013) Kollektivnoe telo protesta [Collective Body of Protest]. *Sociology of Power*, no 4, pp. 79–103.
- Vanke A., Ksenofontova I., Tartakovskaja I. (2014) Internet-kommunikacija kak sredstvo i uslovie politicheskoj mobilizacii v Rossii na primere dvizhenija "Za chestnye vybory" [Internet-Communication as a Tool and Requirement for Political Mobilization in Russia: Case of Movement for Fair Elections]. *Interaction. Interview. Interpretation*, no 7.
- VCIOM (2012) Social'nyj portret protestnogo dvizhenija v Moskve. Press-release no 2056, June 27. Available at: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=112859> (accessed 16 May 2016).
- Volkov D. (2012) Protestnye mitingi v Rossii konca 2011 — nachala 2012 gg.: zapros na demokratizaciju politicheskikh institutov [Protest Rallies in Russia, End of 2011 — Beginning of 2012: Demand for Political Institutions Democratization]. *Russian Public Opinion Herald*, no 2(112), pp. 73–86.
- Warner W. (2000) *Zhivye i mertvye* [The Living and The Dead], Moscow, Saint Petersburg: University Book.
- Weber M. (1994 [1925]) Sociologija religii (tipy religioznyh soobshhestv) [Sociology of Religion (Types of Religious Communities)]. *Izbrannoe: Obraz obshhestva* [Selected Works: The Image of Society], Moscow: Jurist, pp. 78–308.
- Zavadskaja M., Savelieva N. (2015) "A možno ja kak-nibud' sam vyberu?": vybory kak "lichnoe delo", procedurnaja legitimnost' i mobilizacija 2011–2012 godov ["May I Choose Somehow in My Own Way?": Elections as "Personal Deal," Procedural Legitimacy and Mobilization in 2011–2012]. *Politika apolitchnyh: grazhdanskie dvizhenija v Rossii 2011–2013 godov* [Politics of Apolitical Ones: Civic Movements in Russia, 2011–2013], Moscow: New Literary Observer, pp. 219–268.

Хроника последних лет Императорского Московского университета

САВИН А. Н. (2015) УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДЕЛА: ДНЕВНИК 1908–1917 / ОТВ. РЕД. А. К. ГЛАДКОВ;
ПУБЛ., ВСТУП. СТ. А. В. ШАРОВОЙ. М., СПБ.: ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ. 524 С. (СЕРИЯ
«MEDIAEVALIA».) ISBN 978-5-98712-524-3

Андрей Тесля

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии
социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского национального университета
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 136, г. Хабаровск, Российская Федерация 680035
E-mail: mestr81@gmail.com

Александр Николаевич Савин (1873–1923) — видный русский историк, специалист по тюдоровской Англии, ученик П. Г. Виноградова, однокурсник Ю. В. Готье¹, оставившего воспоминания о его студенческих годах², младший коллега Д. М. Петрушевского, учитель Е. А. Косминского и (в меньшей степени) С. Д. Сказкина. Уже одного этого более чем достаточно, дабы вызвать интерес исторической корпорации к его дневникам, однако их ценность определяется не столько историей российской медиевистики, сколько огромным материалом по истории Московского университета с 1908 по 1917 год.

Изданных профессорских дневников, мемуаров и некрологов, освещающих данный период, немало. Так, сравнительно недавно вышли в свет дневники коллеги А. Н. Савина по историко-филологическому факультету М. М. Богословского³, а дневник Ю. В. Готье⁴ подхватывает записи Савина там, где они обрываются: если последняя дата, проставленная Савиным, — 4 сентября 1917 г. по старому стилю, то Готье начинает «Слово о гибели Русской земли» с 8 июля того же года. Дневник

© Тесля А. А., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-234-239

* Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6 «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)»; научно-исследовательской работы в рамках международного научно-образовательного сотрудничества по программе «Иммануил Кант» по теме: «Федералистские проекты в истории русской и украинской общественной мысли XIX века», № 28.686.2016/ДААД.

1. Готье Юрий Владимирович (18(30) июня 1873 — 17 декабря 1943) — российский и советский историк, академик.

2. Готье Ю. В. (1923). А. Г. Савин // Голос минувшего. № 2. С. 183–187.

3. Богословский М. М. (2011). Дневники. 1913–1919. Из собрания Государственного Исторического музея / Отв. ред. С. О. Шмидт; вступ. ст. С. О. Шмидта; публ. и коммент., биогр. справка Е. В. Неберекутиной и Т. В. Сафроновой. М.: Время.

4. Готье Ю. В. (1997). Мои заметки / Подготовка к изданию Т. Эммонс, С. Утехин. М.: Терра.

Савина, однако, и в череде профессорских дневников — редкое явление, поскольку сфокусирован практически лишь на университетских делах. Если сравнить его с другими объемными академическими дневниками последней трети XIX — первых десятилетий XX в., например, А. Ф. Кистяковского⁵, А. Е. Преснякова⁶, М. М. Богословского или Б. В. Никольского⁷, то следует сразу же зафиксировать ряд отличий.

Во-первых, это дневник исключительно тематический. Савин заносит в него только то, что относится к университету, обстоятельства общероссийской или московской жизни в него практически не попадают, они появляются только в военные годы, когда автор сетует на ничтожность университетской жизни по сравнению с происходящими вокруг событиями. Так, 24 января 1917 г. он начинает запись словами: «Мне прямо тягостно писать. До такой степени малы теперь университетские дела. С насилем над собой записываю, что Вормс вернулся в „казенный“ университет и будет читать лекции по гражданскому праву...» (с. 430), а 11 марта того же года, после кратких известий о событиях в Петрограде и положении на фронте, отмечает: «На этом грозном фоне высшие учебные заведения кажутся подробностью. Но все-таки запишу коротко несколько слов» (с. 437).

Такого рода суждения заставляют усомниться в несколько прямолинейном предположении А. В. Шаровой о концептуализации дневника А. Н. Савиным, которая пишет: «Не так часто приходится сталкиваться с тем, что источник личного происхождения целенаправленно создается, будучи посвящен одной-единственной теме» (с. 12). 25 октября 1913 г. Савин фиксирует: «Я ничего не пишу здесь о русском политическом положении, потому что я вовсе не занимаюсь политикой» — и далее: «Но не могу не отметить в качестве простого наблюдателя, что положение делается неустойчивым, если не прямо тревожным, и что смута идет гораздо больше справа, чем слева» (с. 308–309). До событий последних лет высшие учебные заведения не казались Савину «подробностью», да и в обстановке весны 1917 г. подобная оценка университетов для него самого — лишь кажимость. Он убежден не только в их высокой ценности, но и в самооценности, самостоятельности интереса — вносимые им в дневник сведения если и есть результат самоцензуры, то, во всяком случае, не концептуального замысла. Личное и политическое отпадают не потому, что автор себя целенаправленно ограничивает, ставит препятствие собственной воле, а потому, что это лежит за пределами его внимания, для них существуют другие пространства выражения.

Примером такого рода дневника являются записи другого московского профессора, бывшего ректора и в дальнейшем попечителя Московского учебного

5. Кистяківський О. Ф. (1994). Щоденник (1874–1885). У 2 тт. / Предмова І. Л. Бутича; примітки, покажчики, словник рідковживаних слів і термінів, список скорочень В. С. Шандра; упорядники В. С. Шандра (ст. упорядник), М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко. Київ: Наукова думка.

6. Пресняков А. Е. (2005). Письма и дневники. 1887–1927 / Руководитель проекта и отв. ред. А. Н. Цамутали; подгот. текста Т. Н. Жуковской и Д. Н. Лепина при участии А. В. Антощенко и Е. А. Ростовцева; коммент. и указ. им. Т. Н. Жуковской и Б. С. Кагановича. СПб.: Дмитрий Буланин.

7. Никольский Б. В. (2015). Дневник. 1896–1918. В 2-х т. / Изд. подгот. Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. СПб.: Дмитрий Буланин.

округа и министра народного просвещения, Н. П. Боголепова⁸. Как у Савина, Боголепов заносит в тетрадь лишь то, что относится к жизни университета, — из сопоставления этих текстов можно видеть, насколько в действительности университет выступает автономным пространством, независимо от действующего устава. Без существенных затруднений он превращается в самостоятельный объект описания, со своей внутренней логикой и ограниченными зонами внешних воздействий и контактов (в рамки этих «воздействий» попадает и студенчество — в обоих дневниках оно лишь «учащиеся»).

Во-вторых — и здесь аналогом могут служить дневник А. Ф. Кистяковского с подробным описанием повседневной жизни Университета св. Владимира или недавно опубликованные письма его коллеги В. И. Модестова⁹, — университет для Савина тождественен профессорской корпорации. Он начинает вести свои записи с избрания в экстраординарные профессора по кафедре всеобщей истории, подробно описывая процедуру и вхождение в корпорацию (первое присутствие в университетском совете, обсуждение и т. д.), а также разочарование от столкновения с повседневностью:

Первое мое впечатление было такое, что на совете, к которому приват-доценты относятся с известного рода ироническим благоговением, ибо это святая святых, куда их в Москве никогда, даже в разгар революций, не пускали, это впечатление было неблагоприятно. Мало торжественности. Я разочаровался. Правда, дела заседания (за исключением выборов П. Г. Виноградова) были не важные. Как бы то ни было, плохо слушают, разговаривают друг с другом, иногда голосуют, совершенно не зная, о чем идет речь. И это несмотря на то, что ректор А. А. Мануйлов превосходный председатель и по общим отзывам строго держит совет. (С. 27)

Напряжение между младшими преподавателями (организовавшими в 1905 г. свой союз) и профессурой вновь выйдет наружу в 1917 г., о чем еще успеет записать Савин и что обстоятельно с профессорской точки зрения будет фиксировать в дальнейшем Готье.

При всем многообразии затрагиваемых Савиным университетских дел четыре предмета находятся в неизменном фокусе внимания: совет университета, совет историко-филологического факультета и связанные с ним защиты диссертаций; и министерская политика (примечательно, что политика министерства в отношении иных университетов находится на периферии внимания, за исключением лишь Петербургского — по последнему можно судить, чего ожидать и чего опасаться или на что надеяться).

8. [Боголепов Н. П.] (1913). Страница из жизни Московского университета. Из записок профессора Н. П. Боголепова // Русский архив. Т. СХLI. Вып. 1. С. 8–86.

9. Модестов В. И. (2014). Воспоминания, письма / Сост. А. Е. Иванов, В. С. Шандра; коммент. А. Е. Иванов, А. И. Любжин, В. С. Шандра, именной указатель А. И. Любжин, В. С. Шандра. М.: Принципиум.

Но при всем многообразии тем и вопросов, освещаемых Савиным, один сюжет оказывается центральным — уход большой группы профессоров и доцентов Московского университета в феврале 1911 г. (так называемый «кассовский погром»), который останется постоянной проблемой университетской жизни вплоть до 1917 г. Не снимет ее и возвращение ушедших, поскольку сохранится водораздел теперь между «вернувшимися», «оставшимися» и пришедшими в университет за этот шестилетний промежуток, — возвращающиеся поставят университету ультиматум, потребовав отставки всех, кто занял должности с февраля 1911 г. не по выборам (т. е. министерским назначением), и университет в обстановке 1917 г. будет вынужден удовлетворить его, начав «ревизию» своего состава. Савин неоднократно отмечает, что «примирения» так и не состоялось, «вернувшиеся» придут с желанием отомстить и теперь уже самим единовластно руководить университетом, образовав большинство за счет соглашения с частью «оставшихся [в 1911]». Конфликт окажется исчерпан лишь в 1918 г., когда возникнет новая угроза — теперь уже противостояния новым властям с их планами (весьма разноречивыми) преобразования университетской жизни со ставкой на младших преподавателей.

Автор дневника, вначале весьма сочувственно отнесшийся к коллективной отставке руководства университета (ректора А. А. Мануйлова, помощника ректора М. А. Мензибра и проректора П. А. Минакова) и последовавшей волне прошений об отставке, поданных поддержавшими их профессорами и приват-доцентами¹⁰, в скором времени дистанцируется от отставников, мотивируя это для себя следующим образом:

...я считаю глубоким и вредным заблуждением мнение некоторых подавших в отставку (я это мнение не слышал, знаю о нем лишь по слухам), будто мы возвращаемся к положению 1903–1904 года. По моему мнению, Россия еще далека от сильного революционного движения, хотя правительственная политика сильно способствует усилению и распространению политического недовольства. А сверх того, я вообще считаю вредной для университета связь между политикой и университетом. Я хорошо знаю, что эта связь неизбежна, но неизбежное зло остается злом. И по моему мнению, долг университетского преподавателя по мере сил ослаблять эту связь. Вот почему, даже помимо эгоистических побуждений самосохранения, подача прошения об отставке представляется мне вещью далеко не бесспорной: при теперешних обстоятельствах подача прошения, несомненно, приобрела в глазах правительства и его сторонников привкус политической манифестации. Между тем как в глазах огромного большинства подающих профессоров это исполнение нравственного, товарищеского долга, изъявление готовности подать вместе с товарищами-профессорами и только, без всякой политической примеси. Как тяжело жить в этой роковой и безвыходной смуте и путанице! (С. 151–152, записи от 12 февраля 1911 г.)

10. *Ростовцев Е. А.* (2012). 1911 год в жизни университетской корпорации (власть и Петербургский университет) // Кафедра истории России и современная отечественная историческая наука / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб.: Издательский дом СПбГУ. С. 473–507.

Чуть позже, после того, как оставшийся в университете Савин столкнется с резко неприязненным отношением к нему части ушедших коллег, с которыми он вместе будет продолжать преподавать на Высших женских курсах, он запишет куда определеннее, аттестовав «дело Кассо» как неудавшуюся политическую демонстрацию: «А ведь среди московских профессоров, уходивших в феврале в отставку, несомненно, были люди, мечтавшие одолеть министерство в университетском вопросе. Выборгское воззвание их ничему не научило; в своей малой области они повторили своих предшественников 1906 года и... разделят их участь» (с. 181, запись от 25 мая 1911 г.).

Дальнейшие далеко не всегда лицеприятные оценки действий и процессов, происходивших среди «отставников»¹¹, обнаруживших ту же партийность, которую осуждали в коалиции «правых» профессоров (см., например, с. 314, запись от 4 декабря 1913 г.), не приводили, однако, Савина к более терпимому отношению к министерской политике, расценивавшей им как направленной на разрушение внутрикorporативной солидарности и поощрявшей тех, кто был готов действовать в обход принятых университетских процедур и коллегиальных обычаев. О меняющихся настроениях достаточно «правого» в своих взглядах М. К. Любавского, избранного после событий февраля 1911 г. ректором Университета, Савин писал:

После советского заседания [3 мая 1914 г.] я иду с ректором [М. К. Любавским] по университетскому двору. И он, этот смиреннейший любоначалник, против которого не голосовали ни черные, ни касьяновцы, горько жалуется на теперешнее растление профессорских нравов, на доносчиков Станкевича и Плотникова, на присоединившуюся к ним «баранью голову» Челинцева; ректор не меньше бранит и старика Соколова. А в советской зале октябрист Лопатин, друг Огнева, в разговоре со мною поносит Станкевича и жалуется на неслыханное разложение правительственной среды, грозящее России великими бедствиями. Если таким языком заговорили такие люди, то какова же должна быть глубина той позорной ямы, в которую мы постепенно скатились. Становится так нестерпимо душно, что даже очень робкие люди начинают желать свежего грозового ветра, громовых раскатов возмездия насильникам и их приспешникам, или, по крайней мере, начинают бояться недалекой бури. Недовольство растет. Но пока все еще совсем тихо. (С. 342, запись от 4 мая 1914 г.)

Понятно, что университетская повседневность при близком рассмотрении весьма далека от парадного портрета — и девять лет жизни Московского университета, регулярно фиксируемые в хронике Савина, преимущественно состоят из деловых дразг, обсуждения смет, внимательного наблюдения за тем, чтобы

11. Например, инициированное отставниками газетное противопоставление успехов Коммерческого института (возглавляемого П. И. Новгородцевым) Университету как пример свободного, общественного учебного заведения — при забвении о том обстоятельстве, что институт является учебным заведением Министерства торговли и промышленности и если уж что здесь возможно противопоставлять, так это разные ведомственные порядки (с. 277, запись от 12 января 1913 г.).

младший по выслуге лет не обошел в чинах и званиях, и т. п. Но одновременно хроникальные записи Савина демонстрируют и другое, то, что давало основания для торжественного облика университета, — высокие корпоративные научные стандарты, отделение личных отношений от профессиональных, строгость исследовательских принципов. Политика была неотделима от университетской жизни — вытесненная с улицы, она мало где могла поместиться — и университет традиционно был одним из них. При этом для всех основных фигур университетской жизни при различии взглядов и подходов было очевидно, что основание их статуса — неполитическое, и только сохраняя автономную академическую иерархию, они могут конвертировать ее в политическое влияние, в том числе работающее на устранение политики из университета.

The Chronicle of Last Years of the Imperial Moscow University

Andrey Teslya

Associate Professor, School of Social Studies and Humanities, Pacific National University

Address: Tihookeanskaya Str., 136, Khabarovsk, Russian Federation 680035

E-mail: mestr81@gmail.com

Review: Alexander Savin, *Universitetskie dela: dnevnik 1908–1917* [University Routines: The Diary, 1908–1917] (Moscow, Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 2015) (in Russian).

Диалоги памяти*

АССМАН А. (2014) ДЛИННАЯ ТЕНЬ ПРОШЛОГО: МЕМОРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА / ПЕР. С НЕМ. Б. ХЛЕБНИКОВА. М.: НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2014. 328 с. ISBN 978-5-4448-0146-8

Александрина Ваньке

Кандидат социологических наук, доцент

Государственного академического университета гуманитарных наук

Адрес: Мароковский пер., д. 6., г. Москва, Российская Федерация 119049

E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

Выход русскоязычного перевода книги «Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика» ознаменовался приездом ее автора, немецкого культуролога Алейды Ассман, в Москву. Презентация книги и дискуссия вокруг нее, состоявшаяся при поддержке издательства «Новое литературное обозрение», Гёте-Института и других культурных организаций 17 октября 2014 года в Международном обществе «Мемориал»¹, с одной стороны, показали наличие разных контекстуальных условий, в которых формируется память о прошлом в России и Германии, а с другой — приоткрыли возможность для диалога между немецкими и российскими исследователями, обозначив новые способы говорения о мемориальных культурах обеих стран.

Книга Ассман, впервые вышедшая на немецком языке в 2006 году, до сих пор не утратила своей актуальности. Она отвечает запросу современного немецкого общества, ступившего на путь глубинного переосмысления и проработки травматической памяти о Второй мировой войне и Холокосте, а также соответствует потребностям европейских государств, формирующих сегодня свои мемориальные политики. Российскому читателю книга представляет альтернативную модель создания памяти, которая возникает в процессе коммуникаций и интеракций участников различных сообществ, находящихся друг с другом в постоянных перекрестных диалогах и взаимодействиях.

Оригинальная методология «Длинной тени прошлого» позволяет рассматривать различные нарративы памяти, которые генерируются в рамках конвенций на пересечении культуры, истории и медиа. Мирно сосуществуя, конкурируя или бо-

© Ваньке А. В., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-240-245

* Статья подготовлена в рамках проекта «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре поколения российской истории», поддержанного Российским научным фондом. Грант № 14-28-00217.

1. Ассман А. (2014). Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. Стенограмма московской презентации книги. 19.11.2014. Доступно по ссылке: <http://urokiistorii.ru/node/52273> (дата доступа: 05.05.2016).

рясь друг с другом, эти мемориальные нарративы служат объектом пристального изучения Ассман, создающей новый концептуальный аппарат. Учитывая, что сегодня в русскоязычном пространстве довольно остро ощущается «нехватка» мета-языка для описания мемориальных процессов, происходящих в современной России, книга будет особенно интересна отечественным историкам, культурологам, социологам, антропологам и философам, работающим в области *memory studies*.

Книга состоит из двух частей. В первой излагаются теоретические основания авторского подхода и обращается внимание на многочисленные дискуссии, которые ведутся по теме памяти в немецком публичном пространстве; во второй — детально рассматриваются конкретные примеры, относящиеся к сложной и противоречивой памяти «преступников» и «жертв» (с. 74–75), «победителей» и «побежденных» (с. 70–71).

В авторской концептуальной схеме, описанной в первой части книги, устоявшаяся уже (во многом благодаря работам Мориса Хальбвакса²) бинарная оппозиция «индивидуальное»/«коллективное» не отвергается, но заменяется четырьмя видами памяти, сгруппированными по выполняемым ими функциям и размеру сообществ, на которых они ориентированы. Так, исследовательница предлагает разделять память на *индивидуальную, социальную, политическую и культурную* (с. 19).

Индивидуальная память «является динамичным средством проработки индивидуального опыта» (с. 21), однако она имеет социальную основу и функционирует за счет межличностного общения. На протяжении всей книги Ассман рассматривает индивидуальную память в соотношении с другими видами памяти (см., например, главу 8) и пытается проследить переходы с одного уровня на другой (с. 223).

Граница между индивидуальным и социальным, по мнению автора, проницаема, поэтому *социальная память* динамична и подвижна; формируется «снизу» в социальной среде и в определенном временном горизонте, становясь результатом многочисленных согласований, дискуссий и споров (с. 22, 29). Она представляет коммуникативную память социальных групп, общностей и поколений, имеющих консолидирующие воспоминания о тех или иных событиях. Примером в данном случае может послужить память семьи, которая передается от старших к младшим (с. 223).

Если понятия индивидуальной и социальной памяти³ привычны для слуха русскоязычного читателя, поскольку они уже обрели статус конвенциональных в

2. В начале XX века французский социолог М. Хальбвакс ввел понятие «коллективная память», которой противопоставляются индивидуальные воспоминания. Последние подчинены работе над-индивидуальных структур и помещены в социальные рамки: «...получается, что существует коллективная память и социальные рамки памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти» (Хальбвакс М. [2007]. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Новое издательство. С. 29).

3. См. подробнее: Рожественская Е., Семенова В. (2011). Социальная память как объект социологического изучения // Интеракция. Интервью. Интерпретация. № 6. С. 27–48; Васильев А. (2014). Со-

работах отечественных социальных ученых, то *политическая и национальная память* в России до сих пор служат предметом изучения лишь немногих российских исследователей⁴. Как пишет Ассман, «национальная память оказывается долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией, которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество „сверху“» (с. 35). Она воспроизводится с помощью ритуалов, национальных праздников, мемориалов и памятников, а также обретает себя в гранд-нарративах. Перспективы изучения политической памяти в российском контексте пока не ясны. Однако, отмечает Ассман в интервью немецкой радиокomпании Deutsche Welle, без изучения памяти этого уровня и «признания былых преступлений» россияне не смогут преодолеть забвение и проработать травматические воспоминания, связанные с темными пятнами российской истории⁵.

Наконец, *культурная память* сравнима с резервуаром, выполняющим накопительную функцию. Она носит транспоколенческий характер и основывается на символических средствах репрезентации, «характеризуется необходимым многообразием воплощения в текстах, визуальных образах, трехмерных артефактах» (с. 58). Вместилищем культурной памяти выступают архивы, музеи, библиотеки, кинофильмы и художественная литература, обеспечивая ей долговременность, а ритуалы и традиции служат средствами ее воспроизводства (с. 59).

Во второй главе автор предпринимает попытку расширить теоретические границы и определить ключевые понятия, позволяющие осмыслить механизмы порождения индивидуальной и коллективной памяти. К трем вопросам историка Райнхарта Козеллека: «О ком следует помнить? Что следует помнить? Как следует помнить?» — она добавляет вопрос «Кто помнит?», проблематизируя тем самым статус вспоминающего (с. 65). Опорными пунктами в данном случае служат прошлый опыт и деяния вспоминающего, актуализация которых сопровождается эмоциями гордости и стыда или вины и страдания. Так, господствующая *память «победителей»* с ее триумфальными нарративами противопоставляется угнетенной *памяти «побежденных»* с характерными для нее поражениями и травмами на национальном уровне (с. 69, 71). Однако постепенные трансформации немецкой исторической политики привели к замене структурной оппозиции «победители»/«побежденные» на разделение «жертвы» и «преступники», что выразилось в новом противопоставлении *памяти «жертв»* со свойственными ей сакральными элементами героизации и виктимизации и *памяти «преступников»* (с. 74) с чувствами коллективной вины, практиками вытеснения воспоминаний, их замалчивания и подмены. Сопоставление памяти «жертв» и «преступников» в авторской концепции Ассман осуществляется на границе понятия «травма», ко-

циональная память на подмостках театра новых медиа // Неприкосновенный запас. № 4(128). С. 310–317.

4. См. раздел «Полевые исследования: политика памяти в современной России» (Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2014. № 8).

5. Ассман А. (2014). «Россияне старательно пытаются стереть из памяти очень многое...» // Deutsche Welle. 23.10.2014. Доступно по ссылке: <http://dw.com/p/1DZvO> (дата доступа: 05.05.2016).

торое в первом случае применяется к специфическому опыту субъекта, пережившего насилие, а в последнем — к «внезапной, шоковой конфронтации с личной ответственностью и совестью» тех, кто осуществлял насилие (с. 102).

Освободительный потенциал выделенных видов памяти Ассман рассматривает во второй части книги. В третьей и четвертой главах исследовательница задается вопросом о том, насколько правдивы воспоминания. Социологу-конструктивисту подобный вопрос покажется странным, если не бессмысленным, однако заметно, что проблема мемориальной аутентичности беспокоит автора. Для ее осмысления она вводит два понятия — разграничивает два биографических модуля: «Я-память» и «меня-память». Ассман прослеживает различия между ними на примере публичной речи писателя Гюнтера Грасса, произнесенной им в Вильнюсе в 2000 году. «Я-память» относится к действующему субъекту; она активна и экстернализирована. Ее задача «состоит в том, чтобы сознательным усилием вызвать из памяти те или иные воспоминания и облечь их в форму рассказа» (с. 128). В то время как «меня-память» атрибутируется объекту — *памятному месту* (*lieux de souvenir*) или *человеческому телу*; она пассивна и инкорпорирована, подчинена работе подсознания и соотносится с понятием «*телесной памяти*», введенным в оборот немецким социологом Алоисом Ханом⁶. Примером «меня-памяти» могут послужить воспоминания, нахлынувшие на Грасса, оказавшегося в послевоенном Гданьске, где прошло его детство, которые вызваны ощущениями от внешних «зацепок», оживляющих в воображении писателя картины прошлого: тех же самых запахов школьных коридоров, звуков волн Балтийского моря, знакомого вкуса шипучего напитка (с. 129).

Установление статуса воспоминаний — их «правдивости» — необходимо Ассман для анализа феномена «ложной памяти», которая приводит к метаморфозам идентичности и/или психическим расстройствам вследствие ее принятия индивидом (с. 147). В качестве примера ложных воспоминаний исследовательница приводит несколько случаев «переписывания» автобиографии, смены имени, «подмены» личности с единственной целью: встроиться в нормативные рамки мемориальной морали и следовать общепринятым правилам культуры памяти, хорошо распознавая, какие воспоминания корректны, а какие нет (с. 180), о чем автор пишет в пятой главе своей книги.

В шестой главе на многочисленных примерах рассматриваются стратегии вытеснения воспоминаний преступников, коих Ассман насчитывает пять. Во-первых, *взаимный зачет вины*, когда используется самооправдание, а акцент переносится на память о жертвах (с. 183). Во-вторых, *экстернализация*, предполагающая «отрицание собственной вины и приписывание ее другому» (с. 184). В-третьих, *пробелы*, представляющие собой сбой памяти, — то, что не было запомнено когда-то и, как следствие, не извлекается из памяти сегодня (с. 189). В-четвертых, *замалчивание* как молчание жертв и преступников в течение первых двадцати лет после окон-

6. Hahn A. (2010) Körper und Gedächtnis. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 131.

чания Второй мировой войны (с. 190). И, наконец, *фальсификация* на уровне семейных историй (с. 194), расходящихся с общепринятыми жертвенными мемориальными нарративами в Германии, о которых Ассман подробнее пишет в седьмой главе, показывая множественный характер индивидуальных и семейных воспоминаний, а также отмечая гомогенизацию на уровне репрезентации (с. 219).

Восьмая глава посвящена пересечению между живой памятью-опытом поколений, переживших Вторую мировую войну и Холокост, и медиализированной культурной памятью, существующей на уровне репрезентаций (с. 222). Рассуждая о понятийных границах и переходах от одного вида памяти к другому, Ассман выстраивает их иерархию и показывает, что память дифференциальна. Для российского читателя особый интерес представит девятая глава, посвященная мемориальным местам, памятным датам и праздникам. Хорошо известному понятию «место памяти» Пьера Нора Ассман противопоставляет «памятное место» (с. 237), которое значимо для индивидуальной биографии и служит свидетельством реальных событий. Празднование Дня Победы и актуализация 9 мая мемориалов Великой Отечественной войны в России и на постсоветском пространстве могут быть рассмотрены через призму этих понятий, что делает ряд исследователей постсоветской мемориальной культуры⁷.

Как уже было сказано выше, одним из центральных сюжетов книги является тема Холокоста. Перспективы и будущее памяти об этом травматическом событии Ассман осмысляет в десятой главе. Исследовательница отмечает тенденцию к институциональному закреплению памяти о Холокосте в музеях, памятниках, библиотеках, архивах, мемориалах и памятных местах (с. 260). Она также пишет о процессах ее медиализации и коммодификации за счет серийного производства культурных медиапродуктов, посвященных данной теме. В качестве примера приводится популярный американский телесериал «Холокост», который был запущен в 1978 году. С одной стороны, он привлек внимание мировой общественности к теме Холокоста, с другой стороны, навлек на себя немалую критику профессиональных историков. Беспокойство Ассман по поводу создания «Индустрии Холокоста» вылилось в написание ею в 2013 году другой книги, посвященной становлению новой мемориальной культуры в Германии и за ее пределами⁸. В социальных рамках этой культуры память о Холокосте становится предметом политического и экономического торга, борьбы за право называться жертвами.

Завершает книгу одиннадцатая глава, в которой автор рассматривает Европу как мемориальное сообщество с характерными для него проблемами создания ев-

7. Например, участники международного проекта «Памятник и праздник: празднование 9 мая и взаимодействие советских военных памятников с местными сообществами стран-наследниц советского военного блока», проводившегося под руководством М. Габовича и Е. Никифоровой при поддержке «Мемориала» и Центра франко-российских исследований в 2013 году. Подробнее о результатах исследования см.: *Габович М.* (ред.). (2016). Памятник и праздник. М.: Новое литературное обозрение. [В печати].

8. *Ассман А.* (2016). Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение.

ропейской идентичности и успешными примерами консолидации стран Евросоюза на основе поствоенной памяти. Как отмечает итальянский историк Серджи Романо, Европа, несмотря на исторические, политические, экономические и культурные различия ее стран, тем не менее после окончания Второй мировой войны движется в сторону объединения⁹. Во многом эта реюнификация оказывается возможной благодаря формированию и признанию мультилокальных памятей, выстраивающихся вокруг Холокоста как парадигматического «места памяти», которое и составляет на сегодняшний день основу общеевропейской идентичности (с. 279). В этом смысле проект политической памяти в России строится на основании другого топоса — победы многонационального народа в Великой Отечественной войне, что задает иную перспективу для национальной консолидации.

Подводя итоги, следует сказать, что большинство приводимых во второй части книги примеров относятся к немецкой памяти со значимыми для нее фигурами таких немецких интеллектуалов, как Гюнтер Грасс, Мартин Вальзер, Райнхарт Козеллек, Харальд Вельцер и другие. Тем не менее, как хорошо показал Лутц Нитхаммер¹⁰, немецкая память имеет свою специфику. В ней преобладают чувства коллективной вины и жертвенности, наряду с требующими длительной проработки травматическими воспоминаниями. В силу того, что российская память тоже специфична своей монологичностью и триумфальными нарративами, перенос в российские реалии понятий, предложенных Ассман, оказывается проблематичным, но тем самым он позволяет четче увидеть различия и сходства мемориальных культур в Германии и России, чьи истории переплетены не только мировыми войнами, но и тесными связями. В этом смысле «Длинная тень прошлого» своевременна еще и потому, что она предлагает идею транснациональных диалогов памяти, которые куда продуктивнее любых мемориальных войн.

Dialogues of Memory

Alexandrina Vanke

Associate Professor, The State Academic University for the Humanities
Address: Maronovskiy pereulok, 26, Moscow, Russian Federation 119049
E-mail: alexandrina.vanke@gmail.com

Review: Aleida Assmann, *Dlinnaja ten' proshlogo: memorial'naja kul'tura i istoricheskaja politika* [The Long Shadow of the Past: Cultures of Memory and the Politics of History] (Moscow: New Literary Observer, 2014) (in Russian).

9. Romano S. (1990). Le poids de l'histoire // Six manières d'être européen. Essais réunis par D. Schnapper, H. Mendras. Paris: Gallimard. P. 25.

10. Нитхаммер Л. (2012). Вопросы к немецкой памяти: статьи по устной истории / Пер. с нем. К. Левинсона, Е. Щербаковой. М.: Новое издательство.

Энциклопедия правосудия

ВОЛКОВ В., ДМИТРИЕВА А., ПОЗДНЯКОВ М., ТИТАЕВ К. (2015) РОССИЙСКИЕ СУДЬИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИИ. М.: НОРМА, 2015. 272 с. ISBN 978-5-91768-721-6

Александр Кондаков

Научный сотрудник Центра независимых социологических исследований,
ассистент профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге
Адрес: Лиговский пр., д. 87, офис 301, Санкт-Петербург, Российская Федерация 191040
E-mail: kondakov@cisr.ru

Российская система правосудия в разные периоды своего существования привлекала внимание отечественных и зарубежных исследователей¹. Тем не менее авторам настоящей работы приходится многое объяснять заново. В книге «Российские судьи: социологическое исследование профессии» детально анализируются система правосудия в современной России и то особое место, которое занимает в этой системе ее ключевая фигура — судья.

Тех, кто надеется найти здесь теоретический прорыв, ждет разочарование — книга не претендует на приращение теоретических знаний. Ожидающих скандальных подробностей о практике судейства она также не сможет порадовать — речь в ней идет не о частных случаях злоупотреблений и не о системности последних, а о статистически значимых корреляциях между широким разнообразием характеристик, полученных в ходе анкетирования и других способов сбора социологической информации. Судейский корпус показывается именно в энциклопедической форме, то есть максимально полно и кратко. Это социологическая энциклопедия правосудия.

Профессию судьи авторы осмысливают через то напряжение, которое возникает между нормативной общественной ролью судейства и эмпирической ситуацией, регистрируемой исследователями. Нормативная роль не может исполняться в полном виде. Этот конфликт прослеживается в разных своих проявлениях, но наиболее глубоко описывается как противоречие между судьей, воплощающим правосудие, и судьей, представляющим бюрократическое ведомство юстиции. В социологическом смысле эти судьи являются противоположностями друг друга, поскольку рациональность первого направлена на исполнение и истолкование закона, а второго — на коллекционирование предоставляемых в высшие инстанции

© Кондаков А. А., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-246-249

1. Фрирсон К. (2015). «Я всегда должен отвечать перед законом»: правила и порядки в реформированном волостном суде // Общество и право: исследовательские перспективы / Ред.-сост. А. Кондаков. СПб.: Центр независимых социологических исследований. С. 93–124; Соломон П. (мл.). (2008). Советская юстиция при Сталине / Пер. с англ. Л. Максименкова. М.: РОССПЭН.

формальных показателей работы, на отчетность. Иными словами, это вопрос о том, кто такой российский судья — юрист или чиновник (с. 22). Мне кажется, важно задуматься о судьбе и как о гражданине.

Книга предлагает читателям самим определиться относительно профессии судьи. Авторы явно склоняются к феноменологической социологии, но готовы видеть в судьях также основополагающую для общественного устройства функцию или просто сообщество, вступающее в борьбу за свою автономию и власть. Книга не богата на теоретические рассуждения — она написана в жанре, который этого просто не требует. Дискуссии о меняющихся реалиях судебных и вообще правовых профессий в мире в последние десятилетия² могут продолжиться позже, когда на отечественном материале будет предложено договориться об основных терминах социально-правовых дебатов из этой области. Книга вносит вклад именно в поиск конвенций языка научных дискуссий через описание базовых понятий области знаний, их социологического содержания.

Энциклопедический жанр повествования полностью оправдан. Многие читатели только думают, что хорошо знают существующую систему правосудия, хотя бы в каком-то из ее проявлений. В силу многочисленных и не всегда законченных реформ, а также объединения разных судов и открытия новых судебных инстанций даже формальный уровень правосудия требует отдельного подробного описания. Волков и коллеги привлекают множество статистических материалов, чтобы предоставить это описание читателю в наиболее детализированном виде (Глава 1) — о количестве судей, числе рассматриваемых дел, финансировании судов и пр. Важно, что историческая перспектива (Глава 2) позволяет увидеть институт правосудия в динамике. Обобщение этого материала дает возможность оценить масштаб вопроса, с которым придется разбираться авторам и читателям книги дальше.

Обсуждение результатов эмпирических материалов команды Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге разбито на несколько глав, постепенно открывающих разные грани судебской профессии: основные демографические, социальные и политические характеристики; траекторию попадания в судьи; представления о внутренних правилах судейства.

Авторы бережно относятся к изучаемому объекту. Любая критика, нестандартные интерпретации, облачение идей в сложные теоретические конструкции лишь вредят энциклопедическому жанру, а потому судьи предстают в книге преимущественно в своих собственных высказываниях: иногда личностных — из полуструктурированных интервью, а иногда в качестве обобщенных данных ответов на вопросы анкеты. Это предоставляет доступ к живым историям и большому

2. *Dezalay Y., Garth B. G.* (2011). Introduction: Lawyers, Law, and Society // *Dezalay Y., Garth B. G.* (eds.). *Lawyers and the Rule of Law in an Era of Globalization*. London: Routledge. P. 7. См. также: *Bancaud A., Boigeol A.* (1995). A New Judge for a New System of Economic Justice // *Dezalay Y., Sugarman D.* (eds.). *Professional Competition and Professional Power*. London: Routledge. P. 104–113; *Friedman L., Perez-Perdomo R.* (eds.). (2003). *Legal Culture in the Age of Globalization: Latin America and Latin Europe*. Stanford: Stanford University Press.

количественному аналитическому массиву. В этом смысле полезно обратить внимание на приложения, представляющие полный перечень проделанных с данными статистических манипуляций.

С другой стороны, столь бережное отношение к мнению судей о самих себе порой делает повествование однобоким. Как показывают данные анкет, судьи хорошо знакомы с законодательством в области собственного статуса и определяют «правильные» ответы на вопросы анкеты в соответствии с существующими правовыми источниками. В этом проявляется легалистская ориентация судейского корпуса не только в видении собственной профессиональной миссии (с. 163), но и в логике воспроизводства только определенного дискурса, безопасного для их ведомственного положения. Такая ситуация типична для чиновников, артикулирующих суждения лишь в рамках существующего законодательства и без его интерпретаций³. Исследователи, конечно, в значительной степени усложнили судейскую перспективу собственным анализом, однако частично остались верны более формалистским трактовкам судейского профессионализма, которые предложили сами судьи.

Правосудие (или законность) — отличная от справедливости легалистская категория, означающая формальное применение закона⁴. Закон часто может противоречить справедливости, а история и современность предлагают множество примеров, позволяющих в этом убедиться. Например, должны ли были полицейские применять несправедливые законы национал-социалистической Германии и отправлять некоторые категории людей на смерть только потому, что это предполагал закон⁵? Формально они применяли существующее право, но на самом деле — нарушали принципы справедливости, которые нетождественны такому «правосудию» или законности. Кажется, в современной России и в других странах от профессионалов права требуется порой нарушать закон, чтобы обеспечивать справедливость. Однако сами они вряд ли готовы в этом признаться, по крайней мере, такие случаи в основном остались за скобками книги «Российские судьи».

В своих ответах на вопросы интервьюера и анкеты судьи оставались судьями, то есть представляли свои профессию, ведомство и государство. Это в значительной степени осложняет возможность понять их как людей, обычных граждан. В то же время именно человеческий фактор или гражданский долг является столь значимым, когда речь заходит о конфликте между законностью и справедливостью. Авторы в какой-то степени пишут именно об этом, когда приходят к выводу о необходимости преодолеть изолированность судейского сообщества от внеш-

3. Кондаков А. (2015). Возможности взаимодействия между акторами в миграционной политике России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 4(81). С. 180–181.

4. Hart H. L. A. (2012). *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press. P. 229; Sen A. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press; Кондаков А. (2015). Неюридические подходы к изучению права // Кондаков А. (ред.). *Общество и право: исследовательские перспективы*. СПб.: Центр независимых социологических исследований. С. 4.

5. Köhler T. (2015). Learning with History? Human Rights Education Work with Police Officers in Germany // *Journal of Social Policy Studies*. Vol. 13. № 3. P. 477–488.

него мира (с. 210). Ограниченность жизни судьи работой и профессиональными контактами в значительной степени осложняет путь справедливости, который совершается в зале суда.

Книге Волкова и коллег не хватает заключения, в котором были бы обобщены все полученные ими данные. Конечно, окончательного ответа на поставленный вопрос о роли судьи в современном российском обществе не существует. Книга тем не менее дает достаточно материала для того, чтобы ответ на такой вопрос мог попробовать дать для себя каждый читатель. Эта энциклопедия современного российского правосудия предоставляет возможность разобраться во всех деталях судебской профессии, в особенности в том виде, в котором ее понимают сами судьи.

The Encyclopaedia of Justice

Alexander Kondakov

Researcher, Centre for Independent Social Research

Assistant Professor, European University at Saint Petersburg

Address: Ligovskij prospekt, 87, office 301, Saint Petersburg, Russian Federation 191040

E-mail: kondakov@cisr.ru

Review: Vadim Volkov, Arina Dmitrieva, Mikhail Pozdniakov, Kirill Titaev, *Rossijskie sud'i: sociologicheskoe issledovanie professii* [Russian Judges: A Sociological Study of Profession] (Moscow: Norma, 2015) (in Russian).

Всегда актуальная классика: об истории социологических идей, профессионализме в социологии и главных проблемах социологической теории*

ГОФМАН А. Б. (2015). ТРАДИЦИЯ, СОЛИДАРНОСТЬ И СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ.
М.: НОВЫЙ ХРОНОГРАФ. 496 с. ISBN 978-5-94881-293-9

Ольга Симонова

Кандидат социологических наук, доцент кафедры общей социологии
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: osimonova@hse.ru

В истории социологических идей можно обнаружить разнообразнейшую проблематику, но искусство ученого заключается в выборе действительно злободневной темы. К примеру, противостояние этнической солидарности и социетальной солидарности более широкого сообщества, характерное для современных мультикультурных обществ, является источником огромного числа конфликтов, что делает эту проблему и, соответственно, дальнейшую разработку темы социальной солидарности актуальной. Композиция книги А. Б. Гофмана «Традиция, солидарность и социологическая теория», в которую вошли работы прошлых лет и интервью, позволяет проследить актуализацию историко-социологического знания. Книга связана с главными проблемами современного общества и одновременно касается главных проблем социологической теории — социальной солидарности и интеграции, социального неравенства, модернизации, роли традиций и инноваций, профессиональной этики и профессионализма в социологии. Работы сборника представляют собой образцы историко-социологического исследования, методологически и исторически выверенные эссе и этюды, имеющие непосредственное отношение к происходящему в России. Их основное свойство состоит в *тесной взаимосвязанности* выделенных ниже ключевых принципов подхода к социологической проблематике. Во-первых, исследовательская область автора — социологическая теория и история социологии: «...я всегда был и остаюсь, говоря словами Парсонса, „неизлечимым теоретиком“, хотя и постоянно стремящимся к тесному взаимодействию с эмпириками и эмпирическим материалом» (с. 415). Поэтому

© Симонова О. А., 2016

© Центр фундаментальной социологии, 2016

DOI: 10.17323/1728-192X-2016-2-250-258

* Рецензия является частью исследования, проводившегося при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Многообразие видов социокультурной сплоченности в условиях российских реформ: концептуализация и квалиметрия», грант № 14-18-03784.

каждый текст содержит в себе в качестве необходимого элемента *историко-социологическую работу*, во-вторых, — *работу с понятиями*, в-третьих, *работу с проблемами* (в данном случае — проблемами социологии), и, наконец, в-четвертых, *работу с профессиональной этикой и критериями профессионализма*. Гофман подчеркивает «размытость критериев профессионализма в нашей социологии», когда профессионалы нередко только играют роль профессионалов и научное сообщество признает это нормальным, поскольку институционально-властные позиции этих «как бы профессионалов» в нем довольно сильны (с. 460).

Формально книга делится на две части, в первую входят статьи и главы в коллективных трудах, во вторую — интервью, данные коллегам и раскрывающие личную и профессиональную биографию Гофмана, его отношение к различным темам и проблемам в социологии и его понимание профессионализма. Нам показалось интересным перегруппировать отдельные работы, чтобы показать, каким образом строится теоретико-социологическое исследование, как приобретает актуальность для решения прикладных задач, как вписывается в образовательный процесс и какое значение имеют данные работы для образованной публики.

Историко-социологическая работа. К «чистым» историко-социологическим исследованиям, представленным в сборнике, можно отнести «О франко-российском социологическом пространстве: первые путешествия слов, идей и людей» (полный текст впервые публикуется в настоящем издании) и «Классики пишут письма: эпистолярный жанр в истории социологической мысли» (2014). В первой работе Гофман рассматривает термин «социология» в тот период, когда он еще не стал общераспространенным, погружая читателя во франко-российское историческое пространство. Термин возник во Франции, но первая книга «Социология» вышла в России и написана Е. В. де Роберти. Работа скорее посвящена влиянию европейской социологии на русскую социологическую мысль, взаимопроникновению значений известных понятий из Франции и России — «общество», «революция», «прогресс», «социальный институт», «принуждение» и «социальный контроль» и др., истории использования этих понятий. Гофман реализует важную особенность историко-социологического исследования — установление связи высказанных когда-то идей с тем, что происходит в настоящем, их объяснительные и эвристические возможности.

Во второй названной работе автор обращается к отдельным биографическим моментам и частным аспектам жизни классиков, анализируя письма знаменитых социологов. Письма, по мнению Гофмана, — особая форма репрезентации социологических идей, где коммуникативная функция ограничивает течение мысли, но наполняет его дополнительными специфическими значениями и комментариями, необходимыми для научного поиска. В истории социологии эпистолярный жанр как таковой изучен и осмыслен довольно слабо.

Благодаря этому источнику исследование таких явлений, как *распространение и влияние* социально-научных идей, способно становиться гораздо ме-

нее произвольным, метафорическим, более достоверным и обоснованным, обретая «подлинно эвристическую ценность»... Вместе с тем изучение эпистолярного наследия позволяет проникать в глубинные механизмы интеллектуального творчества и преодолевать воздвигаемые вокруг него личные, социально-групповые и нормативные барьеры. (С. 365)

Гофман сравнивает особенности эпистолярного жанра двух классиков социологии — Э. Дюркгейма и К. Маркса. Для Маркса переписка была очень важным видом творчества, а для Дюркгейма это скорее вспомогательный вид. Принцип, или метод сравнения, к которому прибегает Гофман, не только позволяет более глубоко постичь сравниваемые идеи, но и обеспечивает возможности теоретического синтеза.

Для Маркса письма были основным коммуникативным средством в «рекламе» своих произведений, а Дюркгейм в письмах отстаивал интересы социологии, защищал от ложных и вульгарных интерпретаций. Гофман характеризует Маркса как научного индивидуалиста, а Дюркгейма как научного коллективиста, включая и эмоциональные аспекты их творчества, в которых они тоже были антиподами — первый яростный и гневный разоблачитель, радикал, второй — тревожный моралист и меланхолик с бережным отношением к социальной реальности (с. 384–385).

Понятийная работа в социологии. Соответственно этому принципу можно объединить статьи «Социология и гражданская религия в современной России» (2003), «Социальное-социокультурное-культурное. Историко-социологические заметки о соотношении понятий „общество“ и „культура“» (2010), «Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности» (2005), «Мартовские тезисы о социологии равенства и неравенства» (2004), «Апрельские тезисы в защиту идеи модернизации» (2012).

Статья о гражданской религии и социологии написана более 10 лет назад, но до сих пор не теряет своей актуальности. Гофман выбирает термин «гражданская религия» (фактически речь идет о теории легитимации социального порядка), поскольку именно он отражает особенности установления и поддержания социальной солидарности в культурно-разнородном пространстве современной России. Автор ставит неблагоприятный диагноз: в нашей стране сегодня недостает уважения к законам, праву, да и вообще к правилам со стороны как обычных граждан, так и элит, а это значит, что ослаблены лежащие в основе единства нравственные ценности. Именно здесь социология может сыграть свою функциональную роль: в формировании и культивировании гражданской религии, прежде всего через просвещение и образование.

В работе «Социальное-социокультурное-культурное. Историко-социологические заметки о соотношении понятий „общество“ и „культура“» (2010) отслеживается «путешествие» данных понятий в социологической мысли. В наши дни социология культуры становится, по сути, самой социологией, понятие «общество»

вытесняется понятием «культура». Автор показывает, почему и как произошла эта метаморфоза. Автономизация понятия «культура» по отношению к понятию «общество» произошла к середине XX века и уже на рубеже XX–XXI веков понятие «культура» обрело статус, который ранее занимало понятие «общество», — статус парадигматической категории и универсального объяснительного принципа. Социальные структуры и их развитие стали рассматриваться как результат действия совокупности культурных образцов, ценностей, традиций, символов и смыслов, осуществилась так называемая «культурализация общества». Гофман не оценивает это явление как негативное. Его заботит то, что какие бы понятия ни предпочитались специалистами, происходит ослабление представления об обществе как надындивидуальной реальности, той, что является предметом социологической науки, а с этим может быть связан упадок самой социологии. Кризис понятия «общество» подробнее обсуждается в работе «Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности...» (2005). Автор критикует знаменитое высказывание А. Турена «сама идея общества должна быть отброшена» (с. 251–252) и предлагает восстановить статус понятия «общество». При этом он не призывает реифицировать это понятие, а разрешает проблему, обращаясь к представлению о социологии и социологическом профессионализме: «Социология даже на теоретическом уровне занимается изучением *общества* в его различных воплощениях (будь то социальные нормы, ценности, институты, действия, взаимодействия, агенты, акторы и т. д.), а не *природы общества*» (с. 255). С его точки зрения, отказ от понятия «общество» в социологии ведет к отказу от самой социологии.

Отдельные понятия анализируются в «Мартовских тезисах о социологии равенства и неравенства» и «Апрельских тезисах в защиту идеи модернизации». Гофман убедительно и в крайне лапидарной форме доказывает, что понятия «равенство» и «неравенство» в социологических исследованиях часто искажаются или вовсе забываются, формулирует закономерности о соотношении объективного состояния и субъективного переживания неравенства, а также дает рекомендации для решения проблем неравенства в России, возвращаясь к проблеме солидарности и социального порядка. Необходимо не только выравнивание условий, связанных с территориальной и региональной инфраструктурой, создание равных условий развития и конкуренции, но и соблюдение нормативных правил.

В общем, как социологи мы всегда должны стремиться к максимально ясным и точным вопросам и ответам относительно того, *кто, кому, когда, в чем, почему и зачем должен быть равен или неравен*. Тогда наше представление об обсуждаемом предмете перестанет носить упрощенный дихотомический характер и станет более основательным, конкретным и более адекватным такому сложному явлению, как равенство и неравенство в социальной жизни. А это, в свою очередь, позволит нам более серьезно и реалистично подходить к теории и практике социальной справедливости, к разработке и осуществлению экономической и социальной политики. (С. 329)

Сказанное можно отнести и к тезисам о модернизации, где обсуждаются возможности и ограничения данного понятия в социологии в контексте современного российского общества.

Работа с проблемами. В эту группу входят наиболее фундаментальные и значимые материалы сборника. В статье «Мода, наука, мировоззрение. О теоретической социологии в России и за ее пределами» (2009) автор утверждает, что социология особенно подвержена моде и здесь существует следующая примечательная закономерность: чем меньше мода на социологию, тем больше мод внутри социологии (с. 275). Гофман обсуждает теоретико-социологические моды — на критику позитивизма, на провозглашение упадка и смерти социальных явлений, институтов и процессов, на радикализм, на утилитаризм, критику либерализма, их функции и дисфункции для социологии в целом. По его мнению, парадоксальным образом сегодня *не в моде* в социологической теории оказывается *стремление к истине* и сама *истина*, ее поиск является «признаком старомодности, отсталости и непонимания новейших тенденций в развитии науки» (с. 296–297). Гофман направляет свои рассуждения к главным проблемам социологии как науки: холизма и индивидуализма в социологическом познании, соотношения теории и эмпирического исследования, о мультипарадигмальности социологической науки, недооценки кумулятивного характера научного знания и др. Более того, автор ставит вопрос о возможностях мировоззренческих функций социологии в современной России, продолжая в новом ключе и на новом уровне некоторые идеи Э. Дюркгейма и О. Конта.

Другая фундаментальная проблема — о роли традиций и инноваций в обществах разного типа — объединяет целый ряд работ: «От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX–XXI веков» (2008), «Теории традиции в социологической традиции: от Монтескье и Бёрка до Макса Вебера и Хальбвакса» (2008), «Рационализм, либерализма и традиция: Карл Поппер и Фридрих Хайек» (2011). Эти внутренне связанные работы посвящены различным аспектам проблематики традиции в социологии. Своего рода программным вопросом является следующий: как оценивать и интерпретировать сегодняшний российский традиционализм и социальные изменения в современном российском обществе? Традиция выступает у автора в качестве концептуального и методологического средства. Рассматривая динамику традиции, конструирование традиций, их многообразие в современном мире, он формирует теоретическую основу для изучения модернизации и социальных изменений в нашей стране.

Гофман придерживается точки зрения, что социологи должны прежде всего изучать различные типы традиций, их смыслы и функции, оперируя такими понятиями, как *трансформация традиционности* и *модернизация традиционности* и настаивая на изменении функциональной роли традиций в современном обществе. Он осуществляет историко-социологический экскурс, рассматривает трактовки традиций и представления о динамике традиций и инноваций от классиче-

ских до современных, в частности развенчивает стереотипные взгляды о том, что рационализм и либерализм принципиально враждебны традиции и противопоставляют ей разум и свободу. Известные либералы К. Поппер и Ф. Хайек, подчеркивает Гофман, доказывают, что традиция — одно из оснований социального порядка, что разум или рационализм как методологическая позиция основывается на традиционных институтах и ценностях и предполагает рациональную критику традиции, и последняя сама должна стать традицией, противостоящей идеологии традиционализма.

Социальная солидарность и социальная регуляция. Работа «Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции» (2013) является, по нашему мнению, краеугольным камнем настоящего сборника. Понятие социальной солидарности в социальной науке анализируется в контексте последнего столетия в следующей динамике — маргинализация этого понятия, исчезновение и возвращение. От эпохи Третьей республики во Франции, золотого века идеи солидарности до вытеснения на периферию и даже за пределы социологии в XX веке, а затем — к возвращению в XXI веке. Основной проблемой является соотношение различных форм групповой солидарности (классовой, этнической, религиозной...) между собой, с более широкими социетальными солидарностями (гражданскими, общенациональными, государственными) и, наконец, с общечеловеческой солидарностью (с. 180).

Гофман рассматривает проблему солидарности у классиков-антиподов — Э. Дюркгейма и Ф. Хайека. Он выходит на понятие социальной интеграции как более общее, нежели социальная солидарность, и полагает, что солидарность — это только часть социальной интеграции, ее в основном «субъективное» измерение. Другой составной частью социальной интеграции является социальная регуляция, социально-нормативная сфера, которая в равной мере интересовала и Дюркгейма, и Хайека. Современные общества представляют собой большие агрегации индивидов — в них регулятивная сфера становится относительно автономной, солидарность уходит на второй план, межгрупповая солидарность строится на более общих абстрактных правилах, тогда как в традиционных обществах и небольших сообществах/группах правила и солидарность неразделимы. Главная проблема современных обществ — постоянно воспроизводящиеся условия для конфликтов, расколов, разрывов социальных связей вследствие противоречия между партикуляристскими сплоченностями/групповыми солидарностями/идентичностями (к примеру, меньшинствами) и универсальными регулятивными правилами. Кроме того, добавляются новые виды социальной солидарности или сплоченности на основе современных технологий, которые переплетаются с традиционными формами и также вносят вклад в противостояние.

Гофман полагает, что универсалистский потенциал регулятивной сферы более высок, чем у социальной солидарности, в силу индивидуализма и ценности отдельной человеческой личности в современных обществах. Но при ослаблении регулятивной сферы сохраняется опасность возвращения механической солидар-

ности по Дюркгейму или архаических форм солидарности: «каменного мешка иррациональности» (с. 224). Оба вида солидарности — механическая и органическая переплетаются в современном мире. Гофман привлекает идеи Хайека, чтобы подвергнуть сомнению некоторые идеи Дюркгейма, Мертона и других социологов и показать, что надо разделять социальную солидарность как социальный факт и моральную обязанность, что продвигая социальную солидарность как идеал общественного развития, необходимо помнить: она является только частью социального порядка и может превратиться в специфическую солидарность фашистских и коммунистических режимов.

Сравнительный анализ взглядов Дюркгейма и Хайека демонстрирует, насколько важную роль играют такие формы социальной интеграции, как солидарность и регуляция (символическая, нормативная, ценностная). Гофман формулирует следующую закономерность:

...чем больше и сложнее общество, тем большее значение в нем имеют правила и тем меньшее значение — солидарность, и наоборот. Таким образом, современные, большие, глобальные, индустриальные и постиндустриальные общества интегрируются главным образом признаваемыми и выполняемыми правилами, а входящие в них общества меньшего масштаба — солидарностями. Успешное существование и тех, и других зависит от эффективного взаимодействия между этими двумя интегрирующими сферами. (С. 229)

Но в современном обществе они носят конфликтный характер. Распространение морали малых обществ на большие несет с собой серьезную опасность для выживания последних. Большие общества не могут существовать, придерживаясь морали маленьких, — в этом Хайек, с точки зрения автора, был прав.

Рассматривая данную проблему в современной России, автор делает неутешительный вывод: в нашей стране правовые нормы часто подчинены партикулярным солидарностям. Но все они — политические (включая государственно-бюрократическую), семейно-родственные, национально-этнические, религиозные, классовые, корпоративные, профессиональные и пр. — «имеют и могут иметь позитивное значение только при их включенности в солидарность гражданскую... Именно на гражданской солидарности может базироваться другая интегративная форма, способная успешно соединять в рамках общества его ценностное ядро, универсализм и плюрализм партикулярных солидарностей... эта форма состоит в общих социальных правилах, совместно вырабатываемых... признаваемых гражданами, эффективных и справедливых» (с. 239).

Профессионализм и профессиональная этика. Вокруг этой проблематики можно объединить опубликованные в сборнике интервью Гофмана: «Социальная реальность... — Это сфера свободы» (интервью Борису Докторову) (2007), «Как в СССР изучали буржуазную социологию» (интервью Любови Борусяк) (2009), «О личном отношении к науке» (интервью Юрию Резнику) (2010).

Все интервью объединены несколькими сквозными темами, но каждое из них не теряет своей уникальности — это послания специалистам, коллегам, студентам и друзьям, в которых раскрываются личная и профессиональная биография автора и его научные интересы. Как и в письмах классиков, в интервью проясняются и комментируются основные идеи, выдвигаемые социологом, проговариваются ключевые критерии профессионализма в социологии. Это тем более важно, что социологическая культура и образование в нашей стране претерпевают негативные последствия экономического кризиса, а также коммерциализации и бюрократизации, что выражается в ориентации на утилитаризм и упрощение образования, утрату академичности. Фундаментальные теоретические дисциплины начинают исчезать из учебных планов, перестают пользоваться популярностью у студентов ввиду кажущейся избыточности и непонимания того, чем может быть полезна, к примеру, история социологии. Ослабляются социологическое мышление, общая социологическая культура, размывается профессиональная этика. В этих условиях необходимо постоянно напоминать о том, что такое историко-социологическое исследование, профессиональная этика, работа с понятиями и теориями.

Кроме того, широкая публика в нашей стране до сих пор не имеет точного представления о том, что такое социология, начиная с простых стереотипных образов социолога как человека с анкетами или специалиста, работающего исключительно со статистикой, закачивая сложными — как ученого, погруженного в классические труды и говорящего на научном, непонятном языке. По мнению Гофмана, «быть профессионалом в науке — это прежде всего придавать научной деятельности первостепенное значение в своей жизни и подчинять ей все другие занятия» (с. 455). Любая профессия может становиться делом жизни, но социология — *обязана*, видимо, так следует понимать мысль Гофмана.

В интервью Борису Докторову Гофман освещает темы, которые отражаются в его основных публикациях, но в новом ключе. К примеру, на вопрос об отношениях позитивизма и социологии он отвечает: «Я позитивист в том смысле, что, несмотря на признание специфики социологии как гуманитарного знания, исхожу из принципиального единства науки, эпистемологического и этического» (с. 391). Здесь же Гофман рассуждает о причинах популярности своей книги «Семь лекций по истории социологии»¹. С его точки зрения, секрет успеха в том, что она написана специалистом, но популярно: «...мы, социологи, должны стремиться к максимально возможной ясности своих высказываний, особенно, конечно, в учебной литературе» (с. 393). История социологии теснейшим образом связана с тем, как, собственно, понимается сама социология. Это дает нам возможность выбирать, что должно войти в историю социологии как образец подлинной и настоящей социологии (с. 396). В связи с этим Гофман сетует на то, что современные молодые люди больше ориентированы на те или иные формы практической и утилитарной деятельности, на то, что «приходится доказывать, что невежество и отсутствие

1. Последнее издание: Гофман А. Б. (2006). Семь лекций по истории социологии. 8-е изд. М.: Университет.

теоретической подготовки совсем не означает будущих успехов на практическом поприще» (с. 399).

Из интервью мы узнаем, что хотя Гофман — известный переводчик и популяризатор творчества Дюркгейма, он не считает себя дюркгеймианцем. «Я вообще люблю переводить классиков, потому что я как бы парю вместе с ними в их идеях и получаю от этого эстетическое наслаждение» (с. 447). Для Гофмана классики социологии — идеал профессионализма. «Я не призываю повторять классиков и никоим образом не пытаюсь проповедовать традиционализм в науке. Наука, не ориентированная на получение нового знания, на творчество, на оспаривание прошлого и даже разрыв с ним, — это нонсенс... Я хочу лишь подчеркнуть, что классики представляют собой результат, пусть и не вечный и не окончательный, своего рода естественного отбора в сфере идей, и в этом смысле классики — профессионалы высшего класса...» (с. 461). К творчеству классиков следует относиться аналитически и критически, сочетая такое отношение с глубоким уважением. В интервью Гофман восторженно рассказывает о своих учителях — И. С. Коневе, Э. В. Соколове, Ю. А. Леваде и высоких стандартах профессионализма, которым он у них научился.

Сборник работ А. Б. Гофмана, безусловно, полезен и специалистам, и широкой читающей публике. Он напоминает нам о профессиональных стандартах теоретического исследования, книжного, библиотечного, порой рутинного, выверенного до каждой запятой, но вместе с тем подлинно продуктивного и захватывающего.

Always Timely Classics: The History of Sociological Ideas, Professionalism in Sociology, and the Major Problems of Sociological Theory

Olga Simonova

Associate Professor, Department of Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: osimonova@hse.ru

Review: Alexander Gofman, *Traditsiya, solidarnost' i sotsiologicheskaya teoriya: izbrannye teksty* [Tradition, Solidarity, and Sociological Theory: Selected Texts] (Moscow: The New Chronograph, 2015) (in Russian).

Между демоном и гегемоном: о нелегкой судьбе понятия «демократия»

МАГУН А. В. (2016). ДЕМОКРАТИЯ, ИЛИ ДЕМОН И ГЕГЕМОН. СПБ.: ИЗД-ВО ЕУСПБ. 154 С. (СЕРИЯ «АЗБУКА ПОНЯТИЙ»; ВЫП. 1). ISBN 978-5-94380-205-8

Мария Юрлова

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Института социально-гуманитарных и политических наук
Северного (Арктического) федерального университета

Адрес: наб. Северной Двины, д. 17, г. Архангельск, Российская Федерация 163002

E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

«Демократия, или Демон и гегемон» Артемия Магуна — первая книга серии «Азбука понятий» издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге — заявлена как научно-популярное издание, претендующее на разъяснение того, почему слово «демократия» в последние десятилетия так популярно. Кажется бы, этот вопрос вообще не должен вставать в силу кажущейся очевидности ответа на него, но автор задает его снова и снова, показывая, что ответ каждый раз может быть разным.

На протяжении всего текста А. Магун выдерживает полемическую, даже провокационную интонацию, уже на первых страницах заявляя, что «все вроде бы очевидные аргументы в пользу демократии — достояние XX века» (с. 11). По его словам, привычное для нас сейчас представление о демократии как о благе, о чем-то хорошем и правильном — далеко не само собой разумеющееся, более того, оно во многом основано на изменении смысла самого понятия. Автор выделяет три так называемые «загадки демократии». Первая касается вопроса о том, не являются ли аргументы в пользу демократии прикрытием для оправдания совсем иного строя. Вторая связана с так называемой «ограниченной применимостью» демократии, которая, несмотря на осознаваемые многими преимущества, почему-то не может стать международной, сложно даже несколько государств объединить демократическим путем. Наконец, третья загадка состоит в том, что демократическим путем к власти могут прийти и противники демократии, причем выборы могут быть честными. Получается, что, несмотря на несомненный позитивный бэкграунд данного понятия, на практике это не всегда помогает: народ не всегда выбирает «власть народа».

Читателю книги предлагается самому проследить историю демократии как понятия и лично убедиться в том, что автор, с отсылкой к Гегелю, называет «диалектической логикой истории». Позволю себе привести объемную цитату, в кото-

рой Магун, как мне кажется, лучше всего проговаривает собственное понимание «судьбы» данного понятия: «Когда рефлексия обнаруживает за понятием его скрытую систему отсылок, выясняется, что оно зависит от своего иного и делает свою бессознательную основу собственной противоположностью. То есть чтолюбое понятие есть на деле отношение понятий. И вот эти моменты рефлексии и есть моменты кристаллизации и переформулирования исторических понятий. Потому, в моменты рефлексии, они зачастую переворачиваются: подавленная и противоположенная предпосылка выходит на первый план в момент кризиса. Предпосылка, от которой понятие отталкивалось и даже идеологически дистанцировалось, выходит наружу как его скрытая истина. Отсюда — переворачивание властных иерархий, причинно-следственных связей, и классификаций. А это переворачивание означает, что и мы, как субъекты последней инстанции, меняем свою позицию по отношению к данному понятию и его объекту. Так, демократия чудесным образом превращается из альтернативного и анархического антирежима в синоним стабильного правопорядка и идеала правления» (с. 23). Намек, который мы можем здесь уловить, означает, что история трансформации понятия «демократия» еще не закончена, и не исключено, что в следующих попытках осмысления оно приобретет значение, противоположное нынешнему. Кроме того, у читателя сразу возникает вопрос, есть ли у понятия «демократия» какой-то собственный, исходный смысл, ставший отправной точкой для последующих трансформаций.

Продолжая разговор о попытках определения демократии, А. Магун отмечает, что исследователи в целом осознают парадоксальность этого понятия и порой даже не связывают демократии современного типа с «народом» как ее источником (с. 27), говоря о том, что представительная демократия — это власть и борьба не народа, а элит (лидеров, представителей), или говорят о том, что демократия вообще предполагает не стабильность субъекта (народа), а, напротив, возникновение и признание новых политических субъектов (с. 35). Логичным следствием этого становится представление о том, что «демократический компонент» режима предполагает не «власть народа» (которую стоит, наконец, признать фикцией), а его реальную возможность влиять на власть и критиковать ее.

Каким образом мы пришли к такому положению дел, по сути, делающему понятие «демократия» противоречивым, парадоксальным и почти безнадежно неопределимым? Отвечая на этот вопрос, автор выделяет основные вехи в истории понятия «демократия». Он ставит своей задачей «не рассказать, „как все было на самом деле“, а взглянуть на ныне существующий институт с неожиданной точки зрения, „остранить“ его, описав: его прецеденты, порой неожиданные; процессы и события его возникновения из этих прецедентов» (с. 54).

Итак, «античная демократия» — это вроде бы то историческое место, где нужно искать источник демократии — и как понятия, и как феномена, — но А. Магун иронично напоминает, что режим народовластия в Древней Греции назывался не только демократией, что само это понятие имело там полемическую природу и понятия «демос» и «кратос» имеют сложный, интересный смысл (с. 64). Однако

важным для автора оказывается то, что демократия возникает как результат «событий» — революции, путча (с. 66), в которых народ выступал как субъект, а режим, установившийся в результате, можно было назвать демо-кратией.

В Древнем Риме на первый план выходит термин *res publica*, а в позднее Средневековье теоретики, осмысляющие понятие «народ», говорили о нем как об опоре светской власти монарха, народе, имеющем совещательный голос через своих представителей, а иногда — как об источнике суверенитета. Последнюю линию продолжают теории радикального народовластия (с. 84), права народа на революцию (с. 86) и появившиеся в Новое время теории общественного договора и народного суверенитета (с. 90–91). XVIII век приносит с собой идею представительной (репрезентативной) демократии (с. 97), которая уже почти не имеет ничего общего с тем, как понимали демократию в античности. Все это время отношение к демократии колеблется от признания ее неприемлемой и опасной формой государственного устройства до восприятия как идеала, который в реальном мире с трудом достижим.

По сути, автор описывает развитие представлений о демократии как пульсацию, когда наблюдать ее «воплощение» можно отчасти только время от времени, осмыслять, фиксировать изменение содержания. Получается, что демократия (или демократические тенденции, элементы) «была всегда», по крайней мере, опознать ее элементы можно почти во всех режимах древности. Не является ли такой взгляд следствием нынешнего отношения к демократии как к безусловной ценности?

«Новую историю» демократии, по мнению автора, следует отсчитывать с идей де Токвиля (с. 98), который указывает на США как страну победившей демократии, а саму демократию называет чертой не общества, а государства (в этом прорывается возникшее еще в Новое время напряжение между идеей государства как *stato* и демократией) и судьбой, которая ожидает все европейские страны.

С этого момента можно говорить о более или менее демократических режимах, революционно активных «массах», о парламентах как элементах демократии в монархиях, связанной с демократией надеждой на лучшее устройство общества — и в то же время о связанном с ней страхе, боязни явления народа в бунте, революции, государственном перевороте. Демократия оказывается не только позитивным идеалом, ее субъект — народ — начинает восприниматься как реальная и потенциально разрушительная сила, потому что «народ» опознается в тех, кто выходит на улицы. Выясняется, что ее можно признать только с условием, что постоянно присутствующий в ней анархический потенциал будет под контролем власти. Таким образом, демократия — это проблема, поскольку последствия ее установления непредсказуемы.

Как считает А. Магун, к концу XX века в бэкграунд демократии добавились проблемы, связанные с критикой парламентской демократии, либеральной демократии, а также с «поиском» народа, от имени которого осуществляется управление. Демократия стала восприниматься как панацея от тоталитаризма, фашизма, а по мнению некоторых теоретиков — и от советского варианта социализма. Побе-

да над диктатурами под лозунгом демократии, демократизация стран, которые не могут самостоятельно эмансипироваться, демократия как щит от правых и левых радикалов — все это делает однозначное определение того, что же такое демократия, крайне затруднительным.

Как бы то ни было, демократия — это уже не власть демоса в греческом смысле, это режим, отражающий интересы среднего класса, для легитимации которого ведется борьба за идентичность с народом, за то, чтобы верно выражать его интересы, а часто и рассказывать ему о них. «Народ» здесь остается достаточно неопределенным понятием, и возможно, поэтому демократии в современном мире можно добиваться разными комбинациями составляющих.

Одна из причин возникновения демократии в Новое время — революционность, событийность. Демократии без революции в XVIII веке во Франции не было бы. Революции легитимируют суверенитет народа и отчасти поэтому от «власти народа» и ее возможных последствий государственная власть должна защищаться. «Материальная» причина — появление класса буржуазии, «формальная» — капитализм, при котором развитие промышленности зависит от наличия свободных и небогатых трудовых масс, т. е. того самого «демоса» (с. 129). Если же говорить о цели и смысле, то демократия — единственный вариант режима, где общество предоставлено самому себе (с. 131), где есть место для публичной дискуссии и есть ротация управляющих и управляемых.

Однако рассуждения о смысле демократии не ограничиваются только этими рассуждениями. Далее автор пишет о «демоне», вынесенном в подзаголовок книги:

Иначе сложилась современная либеральная демократия. Здесь действительно было предоставлено право *голоса* бедным и «простым», и на обвинение в анархической бунтарской «демократии» было отвечено: «да, мы демократы». Но отвечено кем? — правящими элитами, близкими к крупной буржуазии! Вслушиваясь в народные «голоса», они при этом не собирались выпустать из рук власть. И в этом отношении «власть народа» остается заигрыванием буржуазного гегемона с опасными классами, а «демос», который никогда физически не присутствует, действует не столько как Христос, сколько как прирученный демон, мифический герой наводящей ужас анархии. (С. 133–135)

Итак, народ — это демонический субъект, призрак Целого нации, фантом, единый и одинокий, как пишет о нем А. Магун в другой своей книге, посвященной политической философии Нового времени¹, потенциально несущий в себе возможность объединения и партнерства, федерации, но и разделения, анархии.

Споры о демократии, требования к ней оказываются сродни своеобразному заклинанию этого демона, попыткам призвать его, но оставить под контролем призывающего. «Демократия», таким образом, становится чем-то одновременно пугающим, опасным, но и привлекательным. Это не самая распространенная трак-

1. Магун А. В. (2011). Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение.

товка данного термина, но отчасти отвечающая на загадки, о которых говорится в начале книги. Демократия в терминологии автора — не проблема и не решение проблемы, это диалектическое напряжение между демоном и гегемоном.

Итак, «современная демократия — это конституционный режим представительного правления с обязательным разделением законодательной и исполнительной властей, в отсутствие наследственных привилегий и иерархии. Его отличительными... чертами являются... признание и поддержка самоорганизации граждан... постепенное движение к идеалу делиберативного самоуправления на всех уровнях» (с. 37–38). В этом определении есть слабый момент, который видит и сам автор: так называемая «аполитичность» народа, людей, которым часто не интересно участие ни в большой политике, ни даже в местном самоуправлении. Что делать, если апатия приносит больше удовлетворения, чем политическая активность? Ответ состоит в том, что демократию необходимо организовывать, она не возникает спонтанно. Однако есть опасность, что активность окажется пустой и бессмысленной демонстрацией, а не действием с какими-то реальными последствиями. Возможно, она будет также контролируемым и допускаемым «сверху» способом сбросить пар, дать выход напряжению и недовольству и одновременно не дать выхода проявлениям недовольства, которые могут стать разрушительными для режима. Если так, то «демократия как игра» действительно невозможна в странах, где политические противостояния идут всерьез, а не по правилам.

Если же аполитичность граждан можно преодолеть, то откуда начнется этот процесс, кто будет носителем силы, которая подтолкнет людей к объединению и отстаиванию (а сначала — к осознанию) своих интересов? И не будет ли этот кто-то истинным субъектом демократии, которую в очередной раз нельзя будет назвать ни властью народа, ни управлением от имени народа, а только, может быть, властью *ради* народа, *для* него или *без* него? Сейчас такие словосочетания режут слух, однако по логике автора такое переворачивание объекта и субъекта вполне возможно, ведь диалектика не может быть остановлена усилием воли.

Between Demon and Hegemon: On the Hard Fate of the Notion of “Democracy”

Maria Yurlova

Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University
Address: Severnaya Dvina Emb., 17, Arkhangelsk, Russian Federation 163002
E-mail: procurator.minbar@yandex.ru

Review: Artemy Magun, *Demokratija, ili Demon i gegemon* [Democracy; or, Demon and Hegemon] (Saint Petersburg: EUSP Press, 2016) (in Russian).